



Антонио Сикари
ПОРТРЕТЫ СВЯТЫХ

Том V + VI

АНТОНИО СИКАРИ

ПОРТРЕТЫ СВЯТЫХ

АНТОНИО СИКАРИ

ПОРТРЕТЫ СВЯТЫХ

Том пятый и шестой

Христианская Россия

© 1999, Editoriale Jaca Book S.p.A., Milano

Il quinto libro dei RITRATTI DI SANTI

© 2000, Editoriale Jaca Book S.p.A., Milano

Il sesto libro dei RITRATTI DI SANTI

Издано по лицензии издательства «Яка Бук» (Милан),
которому принадлежат все издательские права

Перевод с итальянского — Марина Платонова

На обложке:

мозаика А. Корноухова «Небесный Иерусалим»

(капелла «Redemptoris Mater», Ватикан, 90-е годы XX в.)

© 2006, для русского издания:

издательство «Христианская Россия»

24068, Italy, Seriate (Bergamo), v. Tasca, 36

Книгу можно приобрести в магазине «Primus versus»
по адресу:

Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 1

(станция метро «Чистые пруды»)

тел. (495) 223-58-20

Издание осуществлено при поддержке Епархии
г. Тренто (Италия)

ISBN 5-94270-046-X

ВВЕДЕНИЕ

Сопричастность святых — это, в некотором смысле, прямое общение со стороны нас, христиан, со всеми святыми всех веков... и вместе с тем, возвышенным образом — с Иисусом через молитву и таинства, а также благодатью и заслугами Иисуса Христа и святых; это непосредственное, немедленное, выходящее за пределы времени, вечное обладание.

(...)

Никто больше так не сведущ по части христианства, как грешник. Никто, кроме святого. И в принципе, это все тот же человек... Грешник протягивает руку святому, подает ее святому, так как святой подает руку грешнику. И вместе этот и тот, увлекая за собой друг друга, составляют цепочку, которая восходит ко Христу, цепочку из накрепко преплетенных пальцев.

(...)

Человек является христианином не оттого, что он достиг какого-то морального, интеллектуального и, может быть, духовного уровня. Человек является христианином оттого, что он принадлежит к некоему восходящему роду, к некоему мистическому роду, к некоему духовному и телесному роду, — временному и вечному, — к неким кровным узам.

(Из «Нового теолога» Шарля Пегги)

АНТОНИО СИКАРИ

ПЯТАЯ КНИГА ПОРТРЕТОВ СВЯТЫХ

**АВГУСТИН ИЗ ИППОНЫ, ФРАНСУА ДЕ САЛЬ,
ТЕРЕЗА МАРГЕРИТА РЕДИ,
ЗЕЛІ ГЕРЭН И ЛУИ МАРТЭН, ДАНИЭЛЕ КОМБОНИ,
ВИКТОРИЯ РАЗОАМАНАРИВО, ЛУИДЖИ ОРИОНЕ,
ТИТУС БРАНДСМА**

Блаженный Августин
(354-430гг.)

Он получил крещение в возрасте почти тридцати трех лет, после долгого и многотрудного поиска Истины, которая есть Христос; поиска, который привел его с берегов Африки, где он родился, в Рим, а затем в Милан.

Он уже достиг известности, благодаря своему гениальному уму, чарующему красноречию, широкой научной деятельности: он даже составлял нечто вроде энциклопедии всех свободных искусств того времени (грамматика, диалектика, риторика, музыка, арифметика, геометрия, философия).

И вот теперь, когда он был крещен уже четыре года, он думал, что все науки, взятые сами по себе, — это всего лишь «ребячество», поэтому он основал со своими друзьями нечто вроде «светского монастыря», где можно было бы посвятить себя философским и богословским размышлениям, изучению Священного Писания, глубоким просвещенным беседам и молитве: как бы там ни было, книги были его страстью; самой неотложной задачей для него было — писать и вести беседы для углубления той веры, против которой он когда-то боролся и которая теперь полностью завладела им.

Именно тогда его и буквально заставили стать священником.

Был один из воскресных дней 391 года: престарелый епископ Иппоны — приморского города античной Ну-

мидии — объяснял верующим в соборе, что ему нужен священник, который бы ему помогал; в одиночку он не может противостоять все еще агрессивным язычникам и еретикам, которые создавали против него мощные анти-католические общины.

Народ был взбудоражен, и волнение в храме росло. В толпе находился Августин, молодой человек тридцати семи лет, который пришел в этот город случайно, лишь для того, чтобы повидаться с другом. Но его известность предшествовала ему.

Внезапно его буквально схватили стоящие рядом люди.

Античный биограф рассказывает: «Его схватили и привели к епископу, чтобы тот его рукоположил: все выразили единодушное согласие и желание, чтобы он поступил так; многократно, с великой горячностью и с громкими возгласами. Августин плакал навзрыд... Но в конце концов их желание было исполнено».

«Меня взяли силой и сделали священником», — рассказывал после Августин, добавляя следующую яркую подробность: он плакал, оттого что считал себя недостойным этой обязанности, которая свалилась на него столь внезапно; а его «захватчики» думали, будто он плачет от разочарования, что его делают всего лишь простым священником; поэтому они утешали его, говоря, что путь от священника до епископа недалек, тем более, что их пастыр, Валерий, уже так стар!

«Тогда был такой обычай», — комментирует биограф; и действительно, подобные приключения выпали на долю и других христиан, сделавшихся впоследствии «Отцами Церкви». И Амвросий стал епископом Милана таким же образом.

Возможно, подобный метод принуждения сегодня может показаться не слишком уважительным по отно-

шению к свободе «призванного», но он служит по крайней мере для того, чтобы подчеркнуть, что призвание — это не смутное субъективное ощущение, а также и необходимость Церкви, возвышающая свой голос.

Конечно же, и в то время решение должен был принимать епископ — а не община! — но народ Божий умел в случае необходимости повлиять на своих чад с тем, чтобы они «предложили свои услуги»; и эти чада, принужденные таким образом к святому рукоположению, очень часто становились Отцами, наставниками, святыми.

Они отвечали тем же воодушевлением, которое призывало их, так как чувствовали себя избранными Богом и Церковью не в силу эмоциональных размышлений о себе самих, а в силу очевидности событий.

Как бы там ни было, первой реакцией Августина была подавленность. С одной стороны ему казалось, что его монашеские планы полностью рухнули, а с другой стороны он чувствовал себя неспособным к этой миссии, которую он считал «трудной, тяжелой и опасной», даже если и знал, как всякий добрый христианин, что это «состояние — наиболее угодное в очах Божьих».

Не пройдет и четырех лет, как он будет избран епископом города и сделается известен во всей Церкви того времени и всех времен.

И станет Августин из Иппоны одним из самых великих Святых и Наставников христианского народа.

Но сейчас мы должны вернуться к повествованию о тех первых тридцати трех годах жизни, в течение которых Бог долго готовил его для Себя.

Августин родился в Тагасте, в Нумидии (нынешний Алжир) в 354 году нашей эры. Он был африканец по происхождению и римлянин по культуре; он принадле-

жал к семейству среднего сословия, уважаемому, но небогатому.

Его отец, Патриций, член муниципального совета и мелкий собственник, имел доброе сердце, хотя и был пылок и скор на гнев. Он не был христианином, и его супружеская мораль в изрядной степени оставляла желать лучшего.

С другой стороны, большие города тех мест были в основном языческими. И культ богам являл себя в формах, близких к самым разнузданным вакханалиям.

Хотя христианство и было принято императорами и пользовалось их защитой, язычество мощно передавалось через школы, книги, памятники, на сценах, в амфитеатрах, на аренах как и во всех жизненных понятиях.

И уже (именно в годы детства Августина) начиналось последнее гонение — гонение Юлиана Отступника, который попытался возродить античную религию и подорвать христианство с помощью различных форм экономической и культурной агрессии.

Там, где язычники были в большинстве, христиан еще выдавали за глупых и ни на что не годных людей. В Тагасте в большинстве были христиане, и обстановка была более терпимой.

Во всяком случае, Патриций женился на Монике, нежной и достойной юной христианке: он любил и уважал ее, хотя и не всегда был ей верен.

Августин родился, когда Монике было двадцать три года, и драма этого ребенка сразу заявила о себе.

С одной стороны, он «научился Христу» со слов и примера матери: «Это имя моего Спасителя, Твоего Сына, мое еще нежное сердце набожно впитало с молоком матери и сохранило его в своей глубине», — напишет он в своей знаменитой «Исповеди» (Исп. 3,4,8). Так что

Августин не сможет по-настоящему приобщиться ни к одной доктрине, если не найдет написанным в ней это «дорогое Имя» Иисуса: «в каком бы произведении оно ни отсутствовало, — пусть даже ученом, совершенном и правдивом, — это произведение никогда не могло покори́ть меня совершенно».

С другой стороны, Моника все-таки не окрестила его и предпочла подождать, пока мальчик вырастет. Ее беспокоило отрицательное влияние, которое мог оказать на мальчика отец, а также «языческие» искушения, которые угрожали ему; кроме того она думала, что было бы лучше, если бы мальчик пережил трудный возраст без серьезной ответственности, возлагаемой крещением.

Уже тогда христиане склонны были размышлять больше о собственной нравственности, чем о даре Божьем, не думая, что истинная нравственность может родиться только из этого дара.

Августин впоследствии нежно упрекнет мать в этой ошибке и выразит ей свое сожаление о том, что он не был полностью воспитан как «новое творение». Он писал (и эти страницы должны были бы прочесть те, кто советует откладывать крещение детей, оттого что считает его скорей обязанностью, чем даром): «Со всех сторон слышно: "пусть он делает, что хочет, — он же еще не получил крещение!" Однако же в том, что касается физической жизни, мы не говорим: "Пусть он себя ранит, ведь он еще не выздоровел!"» (Исп. 1,11,18).

Так мальчик рос, субъективно проникнутый верой матери, но объективно не получив ее в дар.

Кроме того у него было некрепкое здоровье, зато — очень острый ум; в особенности он был одержим неукротимой тягой к правде и дружбе.

Он признается: «даже в незначительных мыслях, в незначительных вещах я наслаждался истиной и не хо-

тел быть обманутым... я приходил в умиление от дружбы» (Исп. 1,20,31).

Материнскому воспитанию он воздает самую высокую хвалу, когда говорит, что Моника «стремилась сделать из Тебя, мой Боже, моего Отца вместо него (то есть, вместо земного отца, который оствался язычником), и Ты помогал ей взять верх над мужем, которому она все же угождала, хотя и была лучше его» (Исп. 1,11,18).

Но этого было недостаточно для того, чтобы дать ему ту благодать, которой он был лишен из-за отсутствия крещения.

Его детство прошло достаточно спокойно, но мальчик не мог понять, почему его наказывали — когда ему больше хотелось играть, чем учиться — именно те самые взрослые, которые забавлялись пустяками точно также, как он, сопровождая это такими же точно ссорами и распрями, хотя они и называли «делами» свои забавы и свои конфликты.

Для учебы в лицее он должен был отправиться в Карфаген, который тогда называли «городом Венеры»: студенты славились тем, что предавались всевозможному легкомыслию и распутству.

Наглости и насилия он чуждался по своей природе, но его привлекали рассказы и театральные представления о прославленных историях несчастной любви, участником которых он мечтал быть.

Он не забыл наставлений матери, но почти краснел от них: «Она просила меня воздержаться от интрижек и в особенности от прелюбодеяния с какой бы то ни было женщиной. Но я принимал это за бабские поучения, которых мне было бы стыдно послушаться. Однако, мой Боже, они исходили от Тебя...» (Исп. 2,3,7).

Но, по-своему, юноша послушался. Хотя вокруг него «клокотала пучина греховной любви» (Исп. 3,1,1), и хотя он чувствовал ее неудержимое очарование, он поступил, в общем-то, корректно.

Многие думают, что он вел в высшей степени развратную жизнь, делая выводы из некоторых горестных выражений, которые сам он использует в «Исповеди» («я, сломя голову, неся к пропасти... я погружался в порок... я валялся в грязи»).

Но не надо забывать, что Августин употребляет их, говоря с Богом, ослепленный Его безмерным величием и чистотой, будучи уже опален божественной любовью, в свете которой ему кажется мерзкой и ужасной даже бесполезная кража незрелых груш, совершенная лишь из желания украсть.

Что же касается любви, то в действительности нам известно, что Августин уже в семнадцать лет связал себя с женщиной из более низкого сословия (а закон его времени в этом случае не позволял ему вступить в брак), от которой он имел сына и которой оставался безупречно верен.

Поэтому перед Богом он исповедует, что имел женщину, «найденную среди блуда (моей) безумной страсти» (Исп. 4,2,2), но чтобы читатель не запутался в вульгарных фантазиях, добавляет: «но только одну и которой, сверх того, я был верен как муж».

И в самом деле, он расстанется с ней лишь перед крещением и тогда, после пятнадцати лет совместной жизни скажет: «когда у меня была отнята женщина, с которой я привык спать, мое сердце, частью которого она сделалась, было жестоко истерзано и долго кровоточило. Она вернулась в Африку, дав обет не знать больше другого мужчины и оставив меня с внебрачным сыном, которого я имел от нее» (Исп. 6,15,25).

Как мы видим, речь идет о связи, которая в те времена и для тех мест, да к тому же еще и для «нехристианина» считалась почти столь же достойной, как и брак.

Впрочем, Августин вспоминает о годах своей молодости, исходя из такого света и из такой полноты, что все

прошлое кажется ему лишь достойным сочувствия и прощения.

Например, так он говорит о своей преподавательской деятельности, которую начал совсем молодым: «В те годы я преподавал риторику: (...) то есть, я торговал болтовней, способной выигрывать судебные тяжбы». Но также и спешит уточнить: «тем не менее я предпочитал хороших учеников, в прямом смысле этого слова, и без обмана преподавал им обманы, полезные не для того, чтобы осудить невинного, но для того, чтобы иной раз спасти виновного» (Исп. 4,2,2).

Весь рассказ о молодости Августина должен рассматриваться в этой двойной перспективе: с человеческой стороны зло смешано с добром, и можно связать, что в сущности добро берет верх. Но эта же самая смесь, поставленная перед чистотой и пламенем Бога, оказывается, нуждается в том, чтобы ее бросили в горнило его неопикуемой Любви и очистили в ней.

Он назвал сына Адзода'том (что означает «дар Божий») и всегда держал его при себе. Когда Августин примет крещение, его пятнадцатилетний сын будет крещен в тот же день.

Он умрет два года спустя, и отец смиренно скажет Богу: «Ты хорошо создал его, Господи! Ему было всего пятнадцать лет, а умом он уже превосходил многих важных и ученых мужей (...). Моим в этом мальчике был только грех».

Более того, он сообщит своим читателям очень интересную подробность: «В одной из моих книг, названной «Учитель», со мной беседует как раз мой сын. Ты знаешь, Господи, что в этой книге все мысли, высказанные от лица моего собеседника, принадлежат ему; в тот момент ему было шестнадцать лет... Его ум внушал мне

священный страх; но кто, кроме Тебя мог быть творцом подобных чудес?» (Исп. 9,6,14).

Так, даже этот мальчик был для Августина живым знаком того, как небесный Отец может взять человеческое ничтожество и превратить его в дар: «Ты достаточно могуществен, о Господи Боже мой, чтобы придать форму нашей бесформенности!»

Но однако, для того, чтобы подойти к купели крещения, он еще должен преодолеть длинный путь.

Он живет со своей подругой и с этим новорожденным, которого он принял, потому что «дети, даже когда они рождаются против воли родителей, заставляют себя любить» (Исп. 4,2,2), но он еще только студент.

Важнейший этап его внутреннего развития был отмечен чтением одного из произведений Цицерона, ныне утраченного (более того, все то, что мы знаем о нем, известно из цитат Августина): это «Гортензий», философский диалог, входивший в программу третьего курса риторики, который настраивал на поиск истины и на любовь к премудрости.

«Эта книга, — пишет он, — изменила мои чувства, она изменила даже молитвы, которые я обращал к Тебе, Господи; она возбудила во мне новые стремления и желания, обесценила в моих глазах всякую тщетную надежду и заставила меня с невероятным сердечным пылом жаждать бессмертной премудрости (...). Я начинал подниматься, чтобы возвратиться к Тебе (...). Как я пылал, о мой Боже!.. (Исп. 3,4.7-8).

Книга из учебной программы, — книга, написанная язычником, заставила его возлюбить Бога.

Это яркий пример, насколько верна та истина, что там, где посеяны ростки, опережающие и призывающие явление Сына Божия, все народы и культуры трепещут от неосознанного стремления ко Христу.

Августин, студент университета IV века, еще не будучи христианином, распознавал эти ростки и способен был возлюбить Бога, даже читая языческого автора. Более того, так как он, с помощью своей матери, немного знал также и Христа, то он читал Цицерона уже глазами христианина, так что в результате был почти удивлен, не найдя в «Гортензии» имени Иисуса.

Важно понять то, что произошло: по словам Августина, до того момента книги ему служили лишь чтобы «отточить себе язык», то есть: чтобы научиться говорить и стать хорошим оратором и хорошим адвокатом, — в общем, чтобы уметь убеждать других. На сей же раз диалог Цицерона убеждал его: «его слова возбуждали меня, воспаляли меня, воодушевляли меня любить, преследовать, достичь и с силой заключить в объятия премудрость саму в себе и саму для себя, — там, где она пребывает» (Исп. 3,4,8).

Но, в самом деле, где же была Премудрость?

Он поясняет: «только одно обстоятельство огорчало меня в столь великом пожаре: на этих страницах не было имени Христа».

Вто кто был Августин! Он был способен гореть любовью к женщине и к премудрости; он был способен плакать и страдать в театре из-за несчастий Энея и Дидона и благоговейно воспламениться из-за философского текста; он был язычником и жил как язычник, но никогда не мог ничем увлечься всерьез, если там, в глубине, не было имени Иисуса, которое он впитал в себя с молоком матери.

Тут уж стало ясно, что ему оставалось только одно: заняться изучением Священного Писания. Он попытался и почувствовал отвращение: латынь библейского текста не была столь совершенна, как латынь Цицерона;

стиль казался ему посредственным; повествование было не столь поэтично и чарующе, как повествования греко-римской литературы; да и содержание было ему неясно.

Позже, когда Писание станет для него сладостнейшим хлебом насущным, Августин будет пояснять, что в нем Слово Божие сделалось пищей для детей и грудных младенцев, но это — слово, которое растет и становится возвышенным по мере того, как возрастает верующий. Только таким образом оно ведет человека к сиянию Истины. Следовательно, этот юный и гордый профессор не в состоянии был оценить его: «я гнушался сделаться малым, — скажет он, — и считал себя великим лишь оттого, что был надут спесью» (Исп. 3,5,9).

К тому же, он завел дружеские связи, которые представляли ему католическую веру, как противоречащую здравому смыслу: ум, подобный его уму, мощно и неудержимо стремился к истине, а Церковь, как ему казалось, навязывала безрассудные верования, «бабкины сказки».

В особенности Ветхий Завет, по его мнению, был полон странных и неприличных вещей, а Церковь настаивала на том, что и это — «Слово Божие».

Но также и Новый Завет доставлял ему затруднения: учение о Воплощении Сына казалось ему неприемлемым: Христос, которого он любил — это был «духовный» Христос, не имеющий ничего общего с убожеством мира; Христос, к которому прекрасно было бы восходить, очищаясь от всякой телесной тяжести, как к некоей возвышенной и трансцендентной идее.

И потом, его возмущало существование зла в мире.

Так он сблизился с сектой манихеев. Это позволяло ему полностью избавиться от проблемы зла, поскольку они учили различать и выбирать между богом зла со всем его Ветхим Заветом — который следовало отверг-

нуть — и Богом добра; чьим свидетелем был духовный Христос, которого по-настоящему могли познать лишь некоторые избранные и утонченные души.

Это радикальное, но кажущееся упрощение очаровывало Августина. И все же, он чувствовал себя, — пишет он, — «как тот, кто ест во сне», как человек, которому кажется, что он насыщается именно в тот момент, когда внутри у него возрастает неутолимый голод. И это длилось долгие девять лет.

У него были бесчисленные сомнения, но манихеи, по крайней мере, хвалились тем, что они никому ничего не навязывают, и тем, что они остаются в сфере «чистого и простого разума», в отличие от католиков, которые все основывали на таинстве и на власти.

Это было не совсем так, поскольку манихейские доктрины содержали в себе невероятную массу странностей, но Августин надеялся понять все со временем, а пока был увлечен изучением астрологии и гороскопов.

И даже пытался убедить своих родственников и друзей с тем, чтобы и они присоединились к этим новшествам.

Он предпринял эту попытку и с Моникой, но она, хотя и безмерно любила его, выгнала его из дома, так как не могла жить с сыном, который осмеивал ее веру и старался вовлечь ее в заблуждения.

Но ненадолго. Скоро она вновь приняла его, после того, как ей приснился сон: лучезарный юноша шел ей навстречу, улыбаясь и спрашивая, какова причина ее скорби. Она отвечала, что плачет оттого, что потеряла сына, но ангел сказал ей: «Разве ты не видишь, что и он там же, где ты?»

Тотчас же Моника побежала рассказать ему об этом, и Августин поспешно пояснил ей: этот сон означал, что со временем Моника разделит убеждения своего сына. «Нет, — возразила мать, — он не сказал мне: «ты будешь там же, где он», он сказал: «он будет там же, где ты».

И Августин был потрясен столь решительным и уверенным ответом. Тем временем Моника надоедала епископу города, чтобы он обратил в истинную веру ее сына. Но тот призвал ее к терпению: юноша еще слишком переполнен своими новыми убеждениями и слишком увлекается спорами: «Оставь его там, где он есть, — подсказал он, — только молись за него. Он сам обнаружит свои заблуждения и свое безбожие».

Моника, разумеется, не знала покоя, так что епископ однажды сказал ей почти с досадой: «Да уходи же ты отсюда, не может быть, чтобы сын всех этих слез погиб!» (Исп. 3,11,20). И она приняла это как слова неба.

С тех пор многие христианские матери, страдающие из-за детей, находят утешение и надежду в этом же самом обещании.

Августин довольно скоро начал терять свой энтузиазм в отношении манихейских учений, но не мог найти ничего лучшего.

В 383 году, не вынося больше безалаберных и неистовых студенческих кругов Карфагена, он решил уехать в Рим, так как он слышал, что там школы были серьезнее и спокойнее, и жизнь преподавателей была легче.

Он взошел на корабль, делая вид, что хочет лишь проститься с товарищем, и оставил на берегу остолбеневшую от горя Моника: «Она со стенаниями искала того, кого со стенаниями родила», — рассказывает Августин, который никогда не простит себе этого жестокого обмана.

В Риме его ожидали горькие испытания: сначала болезнь, которая довела его чуть ли не до полусмерти, затем открытие: римские студенты, хотя и не столь неистовые и наглые, как карфагенские, имели, невзирая на это, скверную привычку исчезать в конце курса: когда наступал момент платить профессору за лекции, класс в

полном составе скрывался и поступал на учебу в другое место.

Наш профессор, который еще не был святым, признается, что он их ненавидел.

Тем временем он постепенно отдалялся от манихеев, но решение, к которому он склонялся, было, если это возможно, еще более разочаровывающим: лучше во всем сомневаться; лучше смириться с тем, что истина не может быть познана. Это было приближение к скептицизму. Разумеется, необходимо искать истину, ибо иначе человек не имеет совсем никакого достоинства; но искать, без надежды ее найти. Напротив, он убедился в том, что настоящий философ никогда не должен ничего утверждать с уверенностью. Как мы видим, многие наши современники в эпоху пост-модернизма не пошли далее той черты, к которой Августин приблизился больше тысячи шестисот лет тому назад, до своего обращения.

Тем временем в Милане освободилась кафедра риторики — престижное место, которое позволяло занимающему его вступить в контакт с императорским двором, так как он должен был произносить официальные хвалебные речи (панегирики). Поэтому римский префект, Симмак, — язычник, любыми способами пытавшийся воспрепятствовать подъему христиан, — не нашел ничего лучшего, как отправить в столицу этого молодого и образованного африканского профессора, гордо противостоявшего католикам.

Но в Милане царил великий святой Амвросий, известный своей культурой и своим красноречием, и Августин не смог удержаться от того, чтобы пойти его послушать.

Для него не так важно было содержание речей знаменитого епископа, как форма проповеди, его искусст-

во убеждать, его свободный полет по всем сферам знаний: от греческой и латинской литературы до права, философии, восточных Отцов и Священного Писания.

Итак, молодой африканский ритор искал «прекрасную форму» речи, но не мог воспрепятствовать тому, чтобы содержание проникло в его сердце и, сам того не желая, открывал, насколько ошибочны были его представления о католичестве. Он был особенно очарован тем, как Амвросий интерпретировал Ветхий Завет, полностью проецируя его ко Христу, и тем, как он говорил о Боге: о духовном Боге, который не смешивается с материей, но творит и сохраняет ее.

Слушая его, говорил Августин, «я краснел — но не без радости — при мысли о том, что я столько лет облаивал уже не католическую веру, а призраки, которые я сам себе создал...» (Исп. 6,4,2).

Всего этого было недостаточно, чтобы обратить его, но достаточно для того, чтобы вернуть духовно к первым шагам его многотрудного пути: «я решил оставаться как оглашенный в католической Церкви, которую рекомендовали мне мои родители, в ожидании, чтобы загорелся свет уверенности» (Исп. 5,14,25).

То есть, еще не как христианин, а как тот, кто готовится им стать.

Поэтому он желал бы подолгу беседовать с Амвросием, но ему удавалось только слушать его в церкви по воскресеньям.

Великий епископ был полностью поглощен заботами о верующих, которые прибегали к нему по всякой необходимости: он был отцом и наставником, хранителем и защитником города. То были времена борьбы, когда он должен был противостоять последователям арианской ереси, которые пытались завладеть его Церковью.

В тех редких случаях, когда Августину удавалось подойти к нему достаточно близко и когда он находил его свободным от других посетителей, он видел его настолько погруженным в учение или в молитву как таковые, — как будто бы он старался интенсивно использовать то небольшое свободное время, что ему оставалось, — что не смел прервать его. И уходил, оробев, со всеми своими вопросами, остававшимися без ответа.

Так, для того чтобы обратиться, у Августина не было множества бесед, но зато перед ним была усердная жизнь миланской Церкви.

К нему приехала Моника; она была счастлива видеть его свободным от манихейской ереси и трепетала за то семя веры, что наконец-то готово было прорасти. Она говорила сыну: «Я верую во Христе, что прежде, нежели я уйду из этого мира, я увижу тебя верным католиком» (Исп. 6,1,2). И потому удвоила слезы и молитвы, что обращала к Богу и «ловила каждое слово Амвросия», как если бы она хотела слушать и убеждаться и вместо своего сына.

Был такой святой священник Симплициан, — что когда-то окрестил и самого Амвросия, — который подолгу слушал и увещевал его, рассказывая ему об обращении другого знаменитого ритора, литератора и философа, одного из самых известных в свое время: того Мария Витторина, который долго колебался, утверждая, что он уже убежден, что он уже христианин, но никак не решался войти в церковь, среди других смиренных верующих, потому что ему стыдно было выглядеть таким же в глазах друзей и коллег-язычников.

«Разве стены церкви делают христианами?» — говорил Витторин, чтобы скрыть свою гордыню; но после смиренно предался Христу и публично, со спокойной гордостью исповедал свою веру.

Августин еще пребывал в неуверенности. Философски он приблизился к неоплатоникам и открыл сферы внутреннего, духовного мира, закон причастности сотворенных существ к Существу Бога, понимание зла как развращения добра. Все это были истины, полезные для веры. Но это еще не была христианская вера.

Экзистенциально он ощущал, что им владеют три непобедимые силы: «я алчно искал почестей, доходов и брака, а Ты смеялся над этим», — говорит он, обращаясь к Господу.

То есть, Бог как бы дразнил его такими банальными с виду происшествиями, как то, что случилось 22 ноября 385 года.

При дворе отмечалась десятая годовщина царствования Валентиниана II, четырнадцатилетнего императора. Августин направлялся туда, чтобы произнести официальную хвалебную речь в честь монарха, «речь, начиненную ложью», — говорит он, — но которая принесла бы ему деньги и почести.

И вот, — рассказывает он, — «идя по одному из миланских переулков, я заметил бедного нищего, который напился пьяным и весело шутил» (Исп. 6,6,10).

Вот как Бог насмехался над ним! И наш императорский оратор, вздыхая, подумал, что этот пьяный нищий с такой легкостью добился того же рода временного удовлетворения, которого он искал при дворе, среди сильных мира сего. «Ту цель, которой он достиг, всего лишь выклянчив несколько грошей, — то есть наслаждение временным счастьем, — я преследовал по тяжелейшим извилистым тропам и обрывам».

Об этом он говорил с друзьями, и вместе они мечтали о более настоящей жизни.

Но все это еще было слишком по-философски, слишком интеллектуально. Августин понимал, что почести и

богатства — пусты и ничтожны, но не готов был отказаться от брака.

Единственное, чего он не понимал, например, в жизни Амвросия — это был целибат: ему он казался «бесполезным и тягостным усилием».

Но чего ему действительно не хватало, так это самой сути всего христианства: ему не удавалось уверовать в Воплощение.

Он был обременен античной идеей о том, что тело, плоть, материя — это что-то отрицательное, недостойное любой поистине духовной жизни и еще более недостойное Бога: «для меня Христос был всего лишь необыкновенно мудрым и несравненным человеком. Особенно оттого, что Он чудесным образом родился от Девы (чтобы преподать нам презрение к временным благам, как условие для достижения бессмертия), мне представлялось, что Он приобрел — благодаря заботе Бога о нас — величайший авторитет. Но что касается таинства, заключенного в выражении «Слово стало плотью», то его я был не в состоянии даже вообразить себе» (Исп. 7,19,25).

Его «поиск истины» идеалистически притормозился именно потому, что не вел его к божественной личности Иисуса: «я признавал, что Иисус был совершенным человеком, (...) настоящим человеком, которого следовало предпочесть всем остальным за необыкновенное превосходство его человеческой натуры и за его совершенное участие в премудрости, но не за то, что он — воплощенная Истина» (Исп. 7,19,25).

Проблема была в следующем: Августин понимал Бога как Правду, Красоту, Свет и тянулся к Нему, но не знал пути для того, чтобы Его достичь: он думал, что необходимо к Нему «восходить», и видел во Христе высочайший пример, но он еще не понял, что сам Бог смиренно, милосердно, сострадательно склонился к человеку.

Он признается: «я не имел еще достаточно смирения, чтобы обладать моим Богом, смиренным Иисусом, и не знал еще учения его слабости» (Исп. 7,18,24).

С помощью очень мягкой формулировки он поясняет, что еще не понял самой сердцевины христианской веры: что Слово Божие сделалось плотью для того, чтобы вся премудрость Творца — та самая, посредством которой был сотворен мир — «сделалась молоком для нашего младенчества».

Свет проник в его сердце и тронул его невероятным образом, когда он решил прочесть послания святого Павла и обнаружил, что христианство — это исключительно благодать, данная смиренным и малым, и что эта благодать полностью заключается в единственном Посреднике — воплощенном и распятом Сыне Божьем.

Но что-то все еще удерживало его. Дело уже было не в Христе, а в нем самом: он уже чувствовал, что способен был отказаться от денег и власти, но его мучила мысль о celibате. Женщина, с которой он прожил пятнадцать лет, оставила его. Он обручился с одной миланской девушкой, «красивой, образованной и доброго нрава», но еще слишком юной для брака. А тем временем жил с другой женщиной.

И невзирая на это, он чувствовал в себе призвание к целомудрию, но это было «философское» чувство: из желания полностью посвятить себя учению, размышлениям и молитве. Благородное стремление, которое тем не менее не способно было заложить основы настоящего аскетизма.

Вот тогда он и услышал об Антонии, великом аббате, что умер в самые первые годы его детства; его «Житие», написанное Афанасием, распространялось тогда на Западе и вызывало волны энтузиазма и последователей.

В житии рассказывалось о том, как Антоний всего в пятнадцать лет услышал, что евангельский призыв: «Пойди, продай все, что имеешь и раздай бедным, потом приходи и следуй за Мной», — был как бы обращен к нему лично, и сделался отшельником в Фиваидской пустыне, в Египте. И там победоносно преодолел всевозможные искушения.

Он стал отцом бесчисленной армии монахов, которые жили в одиночестве, бедности и целомудрии ради любви Христовой.

И за стенами Милана также был монастырь, куда удалялись многие, даже ценой отказа от собственных невест. Да и многие девушки «обручались со Христом», с истинной любовью!

Узнав, что в Церкви были такие люди, а он о них даже не слышал, Августин почувствовал душевное потрясение, подобное которому не переживал еще никогда: как будто бы, — говорит он, — до той поры он прятался за своими собственными плечами, а вот теперь, с этой новостью Бог заставил его выйти, встать «перед своим собственным лицом» и посмотреть на себя, не имея больше возможности ничего от себя скрыть в том, что касалось его самого.

Он увидел себя «безобразным, грязным, покрытым пятнами и язвами» (Исп. 8,7,16). «Ужасное видение, — признается он, — но куда мне было бежать от себя?»

Он убежал в сад, чтобы друзья не увидели «горячего спора, который он завязал с самим собой». Он, казалось, обезумел: он хотел посвятить себя Богу и в то же время не хотел.

«Я хотел, и я же не хотел. Это был я и не я», — говорит он, описывая тот момент, когда человек чувствует, как

он разрывается между Богом, что призывает его, обращаясь к нему в глубине души, и всеми соблазнами мира и плоти, которые пробуждаются и как будто бы становятся все горячее и требовательнее во имя привычки, кажушейся непреодолимой.

Самым большим искушением было повторить вновь, так же, как он уже много раз кричал Богу: «Завтра, завтра!». Но какой-то голос настаивал: «почему не сегодня? почему не сейчас?».

Он сидел там, на каменной скамье, в саду, «плача от бесконечной горечи разбитого сердца», как вдруг, вот, — он услышал детский голос, который напевал: «возьми и читай, возьми и читай!» — это было похоже на сладостный припев.

Августин тотчас же попытался вспомнить, слышал ли он уже когда-нибудь эту детскую песенку, но ничего не пришло ему на ум. Зато он вспомнил, что Антоний обратился, случайно услышав фразу из Евангелия и радикальным образом применив ее к самому себе.

Взволнованный, он вернулся к другу, у которого были с собой Послания святого Павла, открыл их наугад и прочел: «Ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рм. 13,13 и ниже).

Достаточно было одного мгновения. Он понял: для того, чтобы избавиться от всякого зла, он должен был позволить, чтобы Христос полностью облек его в Себя. «Как будто бы свет уверенности вошел в мое сердце, и мрак сомнения рассеялся» (Исп. 8,12,29).

В этот момент родился для Церкви тот, кто сделается «учителем благодати», той благодати Христа, что способна сломить своей влекущей силой неподатливость слабого и греховного создания.

Моника первой узнала об обращении и несказанно обрадовалась ему: наконец-то сын пришел туда, где она всегда пребывала, твердая в своей вере.

Августин подготовился к крещению, размышляя о Псалмах. В усердии обращения он «горел желанием прочесть их, если бы это было возможно, целому миру с тем, чтобы сразить гордыню человеческого рода» (Исп. 9, 4,8 и ниже).

Он получил таинство нового рождения от Амвросия в пасхальную ночь 387 года, и с ним были некоторые из его друзей, избравших тот же самый путь, и его пятнадцатилетний сын Адэодат.

Перед лицом божественной предопределенности этой встречи великого миланского епископа и молодого новообращенного африканца, которые впоследствии оба стали почитаемыми Отцами Церкви, традиция полагает, что в ту ночь был составлен гимн «Тебя, Бога хвалим» (лат. *Te Deum*), который два литератора будто бы сочинили в едином порыве, импровизируя каждый по стиху.

Тем временем Августин отказался от преподавания, предупредив жителей Милана, «чтобы они искали себе другого торговца словами для их студентов», и решил вместе с друзьями вернуться в Африку, чтобы основать там монастырь.

Когда в Карфагене он тайком взшел на корабль, направлявшийся в Рим, он с помощью обмана бежал от плачущей матери; теперь он отправился в Рим, чтобы вернуться на родину, как раз в сопровождении Моники, с которой наконец-то мог разделить моменты таинственной близости.

Монике было 56 лет, но с тех пор, как ее сын возродился в купели крещения, она знала, что ее миссия завершена.

В Остии, ожидая посадки на корабль, они оба испытывали полную сопричастность: «она и я, одни, облокотившись на подоконник... вдали от гула толпы мы беседовали с великой нежностью».

Мать и сын говорили о стремлении к небесному Отечеству, которое уже пленяло их больше родины земной.

И Моника сказала: «Сын мой, что я до сей поры здесь делаю? Мои надежды на этой земле уже исполнились. Только одно еще вызывало у меня желание жить здесь: увидеть тебя перед смертью христианином-католиком. Бог щедро удовлетворил мое желание. Что же я до сей поры здесь делаю?»

Не прошло и пяти дней, как она тяжело заболела. Здесь же был и другой ее сын, брат Августина, который сетовал, что она умрет на чужой земле. Все знали, что она уже давно приготовила себе могилу в Тагасте, рядом с могилой мужа и всегда была обеспокоена и встревожена мыслью о своем погребении.

Но теперь все это было для нее неважно. Она сказала: «Похороните это тело, где придется, и не беспокойтесь из-за этого». За несколько дней перед тем она признала: «Ничто не удалено от Бога и не стоит бояться, что в последние времена Он не узнает место, откуда меня воскресить» (Исп. 9,11,28). И это была ее смиренная манера напомнить о том, какой путь Бог дал ей пройти по следам этого беглого и мятежного сына, но лишь затем, чтобы привлечь ее и заставить ее возложить все свои надежды только на Господа.

Вот как умерла та, чье мистическое материнство Августин мог восхвалять более всего: «Она родила меня плотью к этой земной жизни и сердцем — к жизни вечной» (Исп. 9,8,17). И еще: «Она воспитала своих детей, рождая их неоднократно, столько раз, сколько видела, что они отдаляются от Тебя» (Исп. 9,9,22).

Размышляя уже в старости, в свете веры, о своих близких (ибо Монике удалось обратить в свою веру и Патриция, своего гневливого и неверного мужа), Августин просит своих читателей поминать в молитве «тех, что были моими родителями в этом преходящем мире и моими братьями *sub Te Patre in Matre cahtolica*: ибо Ты — Отец в материнском лоне католической Церкви» (Исп. 9,12,37).

Вернувшись в Тагасту, Августин три года жил в маленьком монастыре, составленном из мирян, который он пожелал основать вместе со своими друзьями и сыном. Они роздали бедным свое имущество и жили «размышляя день и ночь о законе Господнем», как говорит его биограф: это размышление состояло из учения, молитвы, духовных бесед и написания книг, полезных для изложения и защиты христианской веры.

В Иппону Августин отправился случайно, чтобы поведаться с другом, который хотел поступить в его монастырь, и там, как мы уже рассказывали, был уловлен для священства.

Но он не отказался от монашеского идеала. Он основал монастырь также и в Иппоне и продолжал жить в общине в то время, как заменял престарелого епископа в деле проповеди народу.

В 395 году, четыре года спустя, он был назначен помощником епископа, а еще через год, после смерти Валерия, стал полномочным епископом. В тот же самый год в Милане умер император Феодосий и начались раздробленность и разложение Римской империи. Еще год спустя умер великий Амвросий.

Августин был епископом почти 35 лет, и история его пастырской деятельности почти что смешивается с его сочинениями, а также с историей тех, кто хотел посягнуть на его паству и распространить заблуждение.

В начале своего служения он, однако же, пожелал написать «письмо Богу»: так сегодня называют его «Исповедь» — одну из самых знаменитых и читаемых книг всех времен.

Многие знали о его беспорядочной жизни в молодости и слышали о его прошлом, а также и том, что он был еретиком до своего обращения, и о крещении, которое он получил всего несколько лет назад.

Но для него не столь важно было защититься или исповедать свои грехи в том смысле, который мы обычно имеем в виду. Для него важно было благодарить Бога, восстановив перед Ним в Его славу пройденный путь: путь блудного сына, ушедшего из отцовского дома, но также — путь милости и любви к Отцу, который властно влечет к себе сердце своего сына и воспламеняет его.

«Amore amoris tui facio istud» (лат.), — говорит он Богу: «я делаю это из любви к Твоей любви» (Исп. 2,1,1).

И для него также было важно, чтобы его читатели (прежде всего те христиане, чьим епископом и пастырем он теперь был) близко познакомились с ним, сделавшись участниками его взволнованного диалога с Богом.

Другие его произведения были непрекращающейся борьбой в защиту христианской истины.

Он должен был бороться прежде всего против манихеев, которые когда-то очаровали его, и он знал, что в борьбе против них он должен был защищать прежде всего две христианские истины: благодать мироздания и рациональность католической веры.

По этому последнему поводу он создал два великолепных выражения, которые переплетаются между собой также, как вера переплетается с разумом. «Ты должен понимать, чтобы верить», — говорил он, но также: «ты должен верить, чтобы понимать».

Верить — означает «думать, говоря "да"». Поэтому «не все те, кто думает, — верят, но все те, кто верит, — думают». Более того, они верят именно потому, что думают благоразумно.

Но этого не довольно: основываясь на вере, затем происходит возрастание разума; открывается более глубокое и широкое мышление, которое является как бы «наградой за веру».

Вспоминая долгие годы, которые он провел, обвиняя Церковь в нерациональности и авторитаризме, Августин содрогался.

Он говорил, что Церковь, — когда она требует веры, — требует от нас полностью применить весь наш интеллект, довести его до крайних пределов и затем позволить свету Божественного Откровения наполнить его и возвеличить его превыше самого себя. И он говорил, что причины для того, чтобы оставаться в лоне Церкви — «многочисленные, величайшие и сладчайшие».

Церковь сделалась его страстью и его мукой: он страдал, видя ее жестоко разделенной.

В Африке почти каждая епархия была истерзана расколом, разделена буквально надвое. С двумя епископами и двумя общинами, яростно противостоявшими друг другу.

Эта история длилась уже больше века, со времен гонения Диоклетиана. Тогда случилось, что некоторые христиане и епископы поддались страху, «предав» язычникам священные книги — которые должны были быть сожжены по приказу императора — и из слабости отказавшись от веры.

Потом они раскаялись и вернулись в лоно Церкви. Но некоторые ригористы (сторонники непреклонности, которых в Африке называли донатистами, по имени епископа Доната) утверждали, что этот грех не должен и не

мог быть прощен. Поэтому они считали недействительными таинства, получаемые из рук тех, кто когда-то сделался отступником: недействительными они считали таинства, к недействительным полагали и рукоположения священников и епископов.

И эта недействительность, по их мнению, передавалась подобно заразе также и тем, кто вступал в какие-либо отношения с «предателем», пусть даже и раскаявшимся.

Так, за один век возникли две параллельные, яростно противостоявшие друг другу церкви. Более того, уже с эпохи Константина проблема сделалась также общественной и политической, с соответствующими перипетиями.

У донатистов даже были вооруженные отряды, которые терроризировали католиков неопишущими пытками, да и католики не всегда были миролюбивы.

С богословской точки зрения были поставлены на карту решающие вопросы: должна ли Церковь быть лишь утопической Церковью «чистых» или же общиной, где добрые и злые жили бы вместе, все предавшись милосердию Божию; зависят ли таинства от святости тех, кто их преподает, или же они объективно гарантируются даже в том случае, если их получают из рук бедного грешника; всякий ли грех может быть прощен или нет.

Августин писал и работал до изнеможения, чтобы восстановить единство. Он объяснял, что Церковь — мать для всех, святых и грешников, более того, она — некоторым образом даже мать всех людей; он объяснял, что совершенная чистота — это дар, который Церковь получит только в конце своего пути; он объяснял, что таинства принадлежат Христу и что они совершаются Им, даже если земные священнослужители грешны; он объяснял, что пребывание в единстве Церкви — необходимое условие пребывания с единым Христом.

Он убеждал своих верных предпринять любые усилия для того, чтобы вновь обрести согласие со всеми и чтобы считать братьями даже донатистов.

Ему удалось организовать крупную конференцию всех епископов: как католиков, так и донатистов (их было почти по триста человек с каждой стороны). Все проблемы должны были обсуждаться, по обычаю тех времен, перед представителями императора. Католические епископы дали письменное обязательство в случае поражения передать епископские обязанности своим братьям донатистам. В том же случае, если бы потерпели поражение епископы-донатисты, католики должны были разделить с ними епископские полномочия.

По мнению Августина, единство веры было столь важно, что католические епископы должны были быть готовы даже отказаться все вместе от своих постов, ради того, чтобы спасти его. И таково было его влияние, что все триста католических епископов, за исключением лишь двух из них, согласились подписать это предложение.

Конференция, к сожалению, не смогла положить конец расколу, но многие епископы и верующие-донатисты возвратились в лоно католической Церкви. Как бы там ни было, после трех дней дебатов — как условились, говорили по семь епископов с каждой стороны, и четыре нотариуса записывали всю дискуссию — не нашлось больше никого, кто был бы в состоянии возражать доводам Августина.

После этого донатизм не прекратил своего существования, но с богословской точки зрения он потерпел поражение. Также и искушение создать гордую «Церковь чистых и совершенных» не раз еще возникнет в истории.

После донатистов явились пелагиане. Они были не раскольники, а еретики, и, к тому же, чрезвычайно ловко скрывали яд своих заблуждений.

Поводом для спора на сей раз была благодать. Пелагий — монах бретонского происхождения (любопытная традиция впоследствии предположила, что он родился в один день с Августином!) — написал труд под названием «Природа»; Августин ответил ему другим, под названием «Природа и благодать».

Первый утверждал, что человеческая природа хороша и для спасения необходимы лишь добрая воля и хорошее поведение. Адам не передал нам в наследство никакого первородного греха, и Христос не заслужил для нас никакого спасения. Самое большое — можно сказать, что первый подал нам плохой пример, а второй — хороший. В любом случае, все в руках человеческих. И значит, именно человек должен спасти человека.

Говорить все это Августину — было все равно что убеждать его закрыть глаза на ужасную драму человеческого сердца, раздираемого между пониманием добра и коренной неспособностью его делать; все равно что убеждать его забыть свою собственную историю, его бесконечные терзания, его обращение. Но еще более это означало попытку убеждать его забыть сердце Христово, сделать напрасным его милосердие к нам, дар его воплощения, его крестные муки, саму его благодать...

Против этой ереси Августин писал одну работу за другой (около двадцати двух!) до самого дня своей смерти, как будто бы он предвидел, что Церковь во все времена будет постоянно подвергаться угрозе столь неуловимого заблуждения: использовать проповедь христианства, чтобы создать блестящую проповедь о человеке, использовать Христа, чтобы создать из Него совершенный и достойный восхищения пример — Его, который, как раз наоборот, является Даром!

Именно за эти книги, написанные против пелагиан всех времен, Августин всемирно известен, как «учитель благодати».

Тем временем весь мир был потрясен новостью, которую многие считали невероятной, и никто никогда не хотел бы услышать: Рим пал, оскверненный ордами короля вестготов. Резня, пожары, разрушение знаменитых памятников, грабежи. Пощадили только христианские храмы по приказу самого короля Алариха, и это спасло жизнь тысячам укрывшихся там людей. Между тем толпы беженцев наводнили берега Африки.

«Рим распят со Христом», — сказал Августин; но другие говорили, что он скорей распят «за Христа».

Язычники утверждали, что это горе было мстью богов за то, что их предали. И как бы там ни было, новая вера не смогла защитить славу Рима. И поносили Христа, который своим миром уничтожил римскую военную мощь! Его, который своим смирением ослабил народ античных героев! Его, который со своим всеобщим братством отказал в привилегиях хозяевам мира!

Тогда Августин начал писать свое самое крупное произведение, над которым он работал около шестнадцати лет: «О Граде Божием». Говорят, что оно представляет собой энциклопедию V века.

Оно начинается широкой полемикой против язычества, которое названо бесполезным, вредным и духовно беспомощным; затем следует обширная доктрина о «двух градах», призванная объяснить смысл истории человечества, в которой бок о бок живут как те, что сделали выбор любить Бога превыше всего, так и те, что превыше всего любят только самих себя: «Две любви построили два города...», — таково знаменитое начало этой огромной фрески.

Итак, есть те, что создают град Божий из любви к нему, и есть те, что строят земной город из любви к самим себе. Но нелегко их отличить друг от друга: два города безнадежно перемешаны друг с другом.

Именно Церковь Христова в последние времена яв-

ляется местом, где встречаются люди из двух городов; и она, как мать, усердствует в том, чтобы помочь им перейти из одного в другой, и беспрестанно рождает их.

Порой ей удается поручить их Богу, порой кажется, что дети бегут от нее, а порой она сама не в состоянии до конца понять, кто же в самом деле ее дети.

Поэтому вся история — это грандиозные, болезненные роды, которые отражаются на страдающем материнском лице Церкви.

Но когда наконец-то «небесный град» будет завершен во всем своем блеске, тогда вся история будет понята в ее непреодолимом течении и в ее слиянии во Христа.

Когда Августин закончил писать это «большое и трудное» произведение, ему было уже семьдесят два года.

В те немногие годы, что ему еще оставались, между тем как он без устали продолжал писать свои новые богословские работы, святой епископ вынужден был стать свидетелем систематического разрушения вандалами всех процветавших африканских церквей. В конце концов Иппона оказалась одной из трех еще устоявших церквей, и город, в котором нашли убежище многие другие епископы, был осажден.

На третий месяц осады Августин почувствовал серьезное недомогание: он провел в своей бедной комнате эти последние «горестнейшие» дни, молясь Богу и принося ему в дар свою жизнь. Он велел написать на больших листах пергамента «покаянные псалмы» и держал их развешенными на стенах, чтобы постоянно их читать.

Он просил прощения за себя и за всех и «все плакал горькими слезами». Он говорил: «Я не боюсь смерти, ибо у нас благой Господь».

Он попросил, чтобы никто не входил больше в его комнату, так как хотел провести свои последние дни наедине с Богом.

Он умер в семьдесят шесть лет, оставив Церкви огромное богатство: свои монастыри и свои книги, полные страстной любви к Пресвятой Троице.

Однажды он сказал: «всякое тело стремится туда, куда влечет его сила тяжести: камень падает вниз, огонь поднимается вверх (...). Моя сила тяжести — любовь (лат. *pondus meum amor meus*). И любовь ведет меня повсюду» (Исп. 13,9,10).

Святой Франсуа де Саль [Франциск Сальский]
(1567-1622гг.)

Был 1567 год. В Аннеси — постоянную резиденцию Жака, герцога Савойского, — должна была прибыть его невеста Анна д'Эсте. По ее настоятельной просьбе, герцог позволил в качестве исключения выставить на поклонение народу самое святое семейное сокровище: ту Плащаницу, что в наши дни хранится в кафедральном соборе Турина.

Среди паломников, которые съехались отовсюду, чтобы увидеть новую принцессу, но прежде всего — чтобы поклониться самой знаменитой реликвии христианства, были господа де Буази из рода де Саль.

Франсуаз де Буази была еще совсем молода и ожидала своего первого ребенка, и вот, простершись перед этим святым полотном, столь красноречиво свидетельствующим о страстях благословенного Сына Божия, она почувствовала волнение при мысли о младенце, которого носила во чреве. Тогда же она пообещала: этот младенец должен навеки принадлежать Христу. Она лишь получит его на попечение, но воспитает дитя для Него и затем Ему подарит.

Это была одна из тех напряженных и полных молитв, какие порой поднимаются из сердца христианских матерей. Они способны рождать святых, если молитва затем без усталости продолжается во времени и становится повседневной педагогией.

Таким образом, маленький Франсуа де Саль жил в привилегированной обстановке: мать дала ему всю ту

святую нежность, в которой ребенок нуждается для того, чтобы безгранично верить в Бога.

Говорят, что первая полная фраза, которую он произнес, была: «Боженька и мама очень любят меня».

«Боженька и мама...», — конечно, это детская фраза, но уже столь гармонично уравновешенная! Верно то, что Франсуа прославится в Церкви как святой, который легче всех других сумеет связать между собой, в жизни и в учении, естественное и сверхъестественное, человеческое и божественное.

Благодаря той же самой восприимчивости, уже в первые годы своей жизни он говорил, что приходская церковь — «самое дорогое место в мире», ибо там, в купели крещения он стал сыном Божиим.

Отец, между тем, делал все, чтобы мальчик рос как дворянин того времени: тщательное обучение, верховая езда, фехтование, танцы... и прежде всего неукоснительная честность.

Наказания были редкими, но решительными: так, однажды его высекли на глазах у всей прислуги лишь за то, что он украл цветной шелковый шнурок из куртки плотника, работавшего в замке.

Более того, именно в детские годы он научился благородству и мягкости манер, которые впоследствии сделали его знаменитым в особенности из-за того, каким образом он их совмещал с редкой силой духа и характера.

Биографы рассказывают, что уже мальчиком он понял смысл того правила, которое затем применял на практике и преподавал другим: «Будьте тем, *кто* вы есть, но желайте быть в совершенстве тем, *кто* вы есть».

Он был воспитан в самых известных школах тех мест, и ему было чуть более одиннадцати лет, когда его вмес-

те с губернатором отправили в Париж, в коллегию Клермон, который содержали отцы иезуиты.

Во время этого длительного путешествия мальчик впервые осознал трагедию своего времени: Лион, Бурж, Орлеан были изранены религиозными войнами: разоренные церкви, соборы без статуй святых, опаленные останки заменитых статуй Богородицы, которые народ когда-то так почитал.

В Париже Франсуа попал в чарующий Латинский квартал, где тогда было не менее ста сорока четырех коллегий и многие тысячи студентов. Он пробудет там около десяти лет, посещая первые три класса «Грамматики», затем курсы «Гуманитарных наук и Риторики», затем «Искусств», — вплоть до получения звания Доктора, которое тогда было необходимо всего лишь для того, чтобы перед ним открылись двери университета.

Это, однако же, было обучение, предусмотренное его семьей, в особенности отцом, который следил за ним издали с бдительной заботой, будучи одержим определенной целью: иметь в семье знаменитого адвоката с тем, чтобы впоследствии он восседал в Сенате Турина.

Что касается Франсуа, то он чувствовал непреодолимое влечение к священным наукам. Во время карнавала 1584 года губернатору, который предложил ему присоединиться к другим студентам на улицах Парижа, он отвечал, повторив слова отрывка из Евангелия, соответствовавшего тому дню: «Господи, сделай так, чтобы мне прозреть», — «Что вы хотите увидеть?» — спросил, недоумевая, Деаж. Франсуа ответил: «Хочу увидеть святое богословие. Только оно просветит меня в том, что Бог хочет сказать моей душе!»

И так как губернатор изучал богословие в Сорбонне, то он обещал дать ему свои конспекты, но тайно, так, чтобы господин де Буази ничего не знал.

Фактически Франсуа стал посещать два цикла лекций, порой даже оставаясь без обеда.

По причине ли изнурявшей его излишней учебы или из-за своего исключительного ума, который не позволял ему удовольствоваться слишком легкими ответами, но уж точно в соответствии с таинственным Божиим замыслом Франсуа впал в духовный кризис, который стал терзать его душу: он не мог больше согласовать между собой два аспекта христианского откровения, — его веры! — казавшиеся ему непримиримыми.

С одной стороны, он видел в христианстве превозношение любви. Именно в те годы он услышал комментарий одного знаменитого толкователя того времени к «Песни песней», составленный в пламенно мистической манере: брачный союз был символом любви, что соединяет Яхве с Его народом, Христа — с Церковью, Бога — с сердцем всякого создания!

С другой стороны была ужасная логика кальвинистов, согласно которой Бог от века предназначает («предопределяет») одних людей к вечному спасению, а других — к вечному проклятию.

Верно, что Франсуа был католиком, а не кальвинистом, но профессора Сорбонны, по крайней мере в том, что касалось этой темы, толковали святого Фому и святого Августина не слишком отличным от вышеупомянутой теории образом.

Что давала любовь к Богу (а Франсуа чувствовал, что любит Его всем сердцем), если Бог от вечности предназначил его к проклятию? если Бог всегда знал — и не мог этого не знать — что он, Франсуа, погубит себя? Кто мог гарантировать ему принадлежность к «малому числу избранных»?

Эти тревоги могут показаться странными тем, кто даже не допускает мысли о своем вечном спасении, или

тем, кто взывает к милосердию Божию с излишним легкомыслием; но они глубоки для тех, кто действительно любит Бога и ощущает все его бесконечное величие и свободу в сравнении с собственным ничтожеством, непостоянством и несостоятельностью.

«Спаси меня, о Боже, ибо воды поглотили мою душу!» В те дни Франсуа неустанно повторял этот призыв псалмопевца и многократно переписывал их в своей тетради конспектов, будучи не в силах освободиться от этого наваждения.

Но Бог между тем преподавал его душе глубокие тайны бескорыстной любви.

Сначала Франсуа начал смиренно молиться: «Господи, дай мне любить Тебя хотя бы в этой жизни, если я не смогу любить Тебя в вечности!» — и его любовь к Богу таким образом освобождалась от всякой заинтересованности, так как не требовала больше никакой награды, не основывалась ни на каком расчете.

Затем он продолжал молиться: «Если бы я знал, что буду осужден на ад (Господи Иисусе, удали от меня это несчастье!) (...), я преклонил бы голову перед этим приговором Всевышнего с любовью и покорностью. Я повторил бы вместе с пророком: «Не будет ли душа моя покорна Богу?» «Да, Отче, оттого что так было Тебе угодно, да будет воля Твоя». И в горечи моей души я повторял бы этот акт беспомощности до тех пор, пока Бог, тронутый моей покорностью, не изменил бы мою печальную судьбу и не сказал бы мне: «Уповай, сын мой, Я не хочу смерти грешника, но чтобы он жил... Я сотворил тебя для Моей славы, как и все другие создания. Я хочу лишь твоей святости и не питаю ненависти ни к чему, что Я сотворил. Отчего печальна душа твоя, отчего она в смятении? Надейся на Бога... Он — твой Бог и твой Спаситель».

Мы не можем обсуждать здесь нелегкую проблему предопределения, заметим лишь, как приходит в движение душа Франсуа.

Его ум одержим тем, что с философской точки зрения он, однако же, должен признать (и о чем в то время велось немало дебатов в богословских «школах»): Бог может сделать все, что хочет; Бог не обязан ни перед кем отчитываться в своих таинственных замыслах; вечная жизнь не может быть «заслужена» человеческими поступками и т.д.

Но сердце (которое также имеет свой разум, более глубокий и более «послушный») отвечает молитвой, созерцанием лика и сердца Бога — такого, каким Он явил себя: щедрого бесконечным милосердием.

Что означало подобное испытание? Франсуа усвоил коренным образом, раз и навсегда, что такое любовь, когда ты приносишь себя в дар без всяких условий, без всяких требований, из одной только чистой любви.

Много лет спустя он напишет для всех христиан «Трактат о Божественной любви», в котором будет объяснять, что настоящая любовь не стремится ничего получить: она лишь отдает себя.

Естественно, что этот кризис, необходимый для подготовки к его будущей миссии, был преодолен у ног Святой Девы. Перед ее алтарем он нашел однажды листок для чтения верующими, на котором была написана «Метогаре» (лат.: «Вспомни...») — та прекрасная древняя молитва, что просит Богоматерь «вспомнить, что никогда еще не был оставлен тот, кто прибегнул к ее защите».

Франсуа со слезами прочел ее и не был оставлен: вдруг он «почувствовал, что боль упала к его ногам, как струпы проказы, отделившиеся от его тела».

Таким образом, в двадцать лет он был подготовлен к ожидавшей его миссии: проповедовать католическую

нежность миру кальвинизма в той ситуации, в которой все — в том числе и католики — теперь уже считали, что следовало предать разрешение богословских конфликтов силе оружия и хитростям политики.

Завершив изучение философии, он, согласно отцовским планам, должен был начать изучение права; Франсуа выбрал Падуанский университет, который тогда насчитывал около двадцати тысяч студентов и был всемирно известен своими Юридическим и Медицинским факультетами.

Здесь он также распределил свое время и силы между изучением права и богословия. Не стоит и говорить о том, что он закончил учебу с отличием.

К падуанскому периоду восходят некоторые, известные нам, эпизоды. Самый значительный — это, конечно же, болезнь, которая довела его едва ли не до смерти: он получил последние таинства и составил завещание. Именно эти «последние волеизъявления» открывают нам особую черту его восприимчивости.

В Падуе тогда разыгрывались сцены, которые сегодня покажутся сколь ужасными, столь и невероятными: студенты медицинского факультета «с оружием в руках ходили откапывать трупы казненных, чтобы сделать их объектом изучения анатомии, — сражаясь при этом с родственниками последних, которые, так же вооружившись, противостояли им, что приводило к кровавым и часто смертельным конфликтам».

«Где вас похоронить? О каких похоронах вы распорядитесь?» — спросил священник умирающего Франсуа. Он отвечал: «Я могу сделать лишь одно завещание: вверить мою душу Богу. А мое тело, прошу вас, отдайте студентам-медикам, — так что, хоть оно и не послужило ни к чему в этой жизни, пусть будет полезным, когда я

умру. Я был бы рад, если бы, поступив так, я мог предотвратить хоть одну ссору и хоть одну резню из тех, что устраивают студенты, когда хотят завладеть трупом для вскрытия».

Он выздоровел, но это последнее решение свидетельствует о необычайной для двадцатичетырехлетнего юноши зрелости — плоде евангельской любви и отрешенности от самого себя — и в то же время о его уважении и стремлении к науке.

Когда он вернулся к себе в Савойю, все было готово к его приему, даже четырнадцатилетняя невеста, «благородная по крови и добродетели»; поместье в Вилларожэ, место в суде Шамбери и членство в высшем Сенате Савойи. Более того, это последнее достоинство было присвоено ему в порядке исключения раньше срока, в двадцать четыре года (обычно его жаловали тем, кому исполнилось хотя бы тридцать лет).

Он отверг невесту, обойдясь с ней безукоризненно учтиво. Отказался он и от титула Сенатора.

Между тем некоторые друзья, знавшие о его желании посвятить себя Богу, — при полном его неведении — добились для него в Риме назначения настоятелем Женевского капитула, фактически самой престижной после епископа должности в той епархии.

Это была возможность для того, чтобы преодолеть сопротивление семьи, и господин де Буази наконец-то сдался, хотя и почувствовал себя жестоко уязвленным во всех тех мечтах, которые он лелеял в отношении любимого сына, и в своей надежде доверить ему ответственность за все семейство.

Франсуа уже имел необходимую подготовку, какая требовалась для принятия священного сана, так как он тайно завершил изучение богословия. За несколько ме-

сяцев он был последовательно возведен во все соответствующие степени.

Свою первую мессу он совершил 21 декабря 1593 года, в двадцать шесть лет. «Во время первой же Бескровной Жертвы, — признается он впоследствии, — Бог завладел моей душой невыразимым образом».

Здесь мы должны остановиться, чтобы рассмотреть странное положение Женевской епархии, к которой Франсуа теперь окончательно принадлежал: епископ и капитул в действительности пребывали в изгнании в Аннеси, так как знаменитый швейцарский город крепко держали в своих руках кальвинисты, сделавшие его своей цитаделью. Едва лишь появившись в Женеве, католический священник рисковал жизнью.

Первая речь, которую произнес Франсуа, вступая в свою престижную должность, была на тему: «Необходимо отвоевать Женеву!»

В то время международное право постановляло, что вера должна была следовать за судьбами политики: фактически всякая область была обязана избрать религию своего государя, — подданный, который не подчинялся, терял гражданские права.

Тот, кто хотел отвоевать какую-либо территорию для католической веры, должен был сделать это с оружием в руках. И в том случае, когда военные судьбы создавали политически нестабильные ситуации, вера граждан делалась неустойчивой и корыстной.

Франсуа, с одной стороны, разделял взгляды юриспруденции того времени, в которой он был специалистом; с другой стороны он, однако же, понимал, что оружие никогда не сможет гарантировать настоящую веру.

В 1596 году, посылая доклад в Рим, он позволит себе пояснить с трезвым реализмом: «Большое число жите-

лей, движимое более лязгом аркебуз, нежели проповедями, которые читали для них по приказу Монсиньора Епископа, вернулись к вере и возвратились в лоно нашей Матери, Святой Церкви; впоследствии же эти края были разорены набегами женевцев и французов, и народ вновь упал в свою грязь».

Итак, в той первой речи он говорил об отвоевании Женевы, — а это была тема, воспалявшая изгнанников, — но добавил без обиняков: «Любовью нужно опрокинуть стены Женевы, любовью нужно захватить ее, любовью нужно отвоевать ее... Я не предлагаю вам ни железа, ни пороха, запах и вкус которого напоминают адское пекло... Наш лагерь да будет лагерем Божиим... Мы должны поразить наших противников не тем голодом и не той жаждой, которые бы мы возложили на них, а тем голодом и той жаждой, что будем терпеть мы сами...».

Новый настоятель продолжал, говоря, что когда осаждают город, то прежде всего перекрывают акведуки, снабжающие его водой. Так вот, акведуки, снабжающие Женеву — это дурной пример плохих священников: поступки, речи, — одним словом, беззаконие всех, но прежде всего служителей Церкви, по вине которых имя Божие поносится ежедневно.

Фактически он говорил им, — ни в коем случае не извиняя еретиков, — что ересь, как бы там ни было, питалась дурным примером католиков, и прежде всего священнослужителей. И дурной пример следовало искоренить прежде всего здесь, в капитуле. Чтобы покорить Женеву, каноники должны начать жить как истинные каноники, — то есть как монахи, подчиняющиеся уставу, и как дети Божьи не только по названию, но и фактически.

В поводах для того, чтобы применить на практике свои слова у него не было недостатка. Именно в те годы

вновь сделалась частью епархии Шабле, область, прилегающая на севере к озеру Леман, а на юге — к горам Фосини, столицей которой является Тонон.

Эта территория только что была отвоевана герцогом Савойским, Шарлем Эммануэлем после того, как в течение почти пятидесяти лет она находилась в руках кальвинистов. Согласно подсчетам, на почти двадцать тысяч жителей области приходилась едва сотня католиков.

В тот момент речь шла о проповеди Евангелия в этой области с помощью средств, к которым призывал Франсуа, даже если это и предполагало риск для жизни.

Когда епископ собрал свое духовенство на ассамблею, чтобы вызвать добровольцев, которые хотели бы отправиться в Шабле «в духе апостолов» (то есть, без опоры на какую-либо военную или церковную организацию), то он натолкнулся на гробовое молчание, пока наконец, растерянный, не обратился в сторону настоятеля, как бы для того, чтобы спросить у него совета. Франсуа встал: «Ваше Преосвященство, — сказал он, — если вы считаете меня способным, то я готов».

Легко предвидимая реакция и запрет господина де Буази последовали незамедлительно. Франсуа тем не менее ответил ему словами Иисуса: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?»

Родитель не уступал, и тогда Франсуа сообщил ему мягко, но очень серьезно, что если он не изменит своего отношения, то там, в родовом замке повторится сцена, участником которой стал когда-то молодой Франциск Ассизский, отказавшийся в присутствии епископа от одежды и от имени затем, чтобы провозгласить в предельной и полной правде: «Отче наш, сущий на небесах... да будет воля Твоя!»

В путь отправились два священника в сопровождении слуги, которого господин де Буази непременно пожелал приставить к сыну.

Они дошли до последней католической крепости — Аленж — и там остановились. Оттуда они отправлялись в апостольские вылазки на территорию нового владения и туда возвращались каждый вечер, чтобы провести там ночь и отслужить утреннюю мессу перед тем, как вновь отправиться в путь.

Действительно, — и это дает нам понять, каково было положение вещей, — политические соглашения, подписанные герцогом Савойским, предусматривали, что, как бы там ни было, но католическую обедню нельзя было служить в Шабле. А иначе религиозная ненависть и насилие возгорелись бы как пожар.

После нескольких десятилетий кальвинистской проповеди деревенские люди считали «папистов» колдунами, посланцами сатаны: «тараканы», «идолопоклонники», «лжепророки» — таковы были самые предвиденные ругательства, часто сопровождаемые засадами, физическим насилием, угрозами смерти и попытками привести их в исполнение.

К этому следует добавить холод, снег, голод, отказ в гостеприимстве: деревня за деревней, где не открывалась ни одна дверь. Как-то ночью, когда они не смогли заблаговременно вернуться в замок, два миссионера вынуждены были забраться на дерево и привязать себя ремнями, так как уснуть — означало свалиться посреди стаи волков, которые были внизу.

Все это похоже на сказку, и тем не менее это была тяжкая повседневная действительность, которая растянулась на многие месяцы.

После того как однажды они спаслись от засады, испуганный слуга бежал и возвратился в замок рассказать все родителям Франсуа. Отец прибег к своей власти, чтобы призвать назад двадцативосьмилетнего сына: он все еще сын, хоть он и каноник собора и миссионер.

Франсуа, делая ставку на дворянскую гордость родителя, написал ему: «Сбежал ваш слуга, а не ваш сын. Если бы Роллан был вашим сыном, он бы не убежал от легкого испуга, подняв такой шум, будто бы речь идет о большой битве!»

Но риск и приключения лишь обрамляют терпеливый и гениальный труд: поскольку его не принимают, и трудно завязать диалог с жителями этой области, Франсуа пишет «Записки». Это еженедельные листки, в которых он поднимает с католической точки зрения определенные истины веры, объясняя их в простой и убедительной манере. Затем он потихоньку подсовывает их под двери домов или расклеивает на стенах улиц.

Но делает он это на полном серьезе, после долгого изучения доктрины Кальвина для того, чтобы глубоко понять ее и дать «правильные» ответы. Когда у него возникают сомнения, он пишет теологу Петеру Канизииусу (тоже святому), который по другую сторону озера, на немецкой территории, проделывает такую же самую работу.

Эта деятельность растянулась на годы и принесла ему звание «покровителя журналистов». Обращения в католичество немногочисленны, но положен конец враждебности, предрассудкам, и рождается любопытство, а затем и симпатия.

Наконец он поселился в Тононе, столице Шабле, где его деятельность быстро расширилась и состояла прежде всего из личных бесед, непрекращающейся благотворительности и безупречного радушия.

Прежде всего Франсуа старался встречаться с нотаблями города, которые были также и ответственными за вопросы религии: многие тайком посещали его проповеди, особенно когда он поднимал самые жгучие проблемы (среди которых, главным образом, — проблему Евхаристии).

И наступил день, когда жители Тонона условились изложить письменно главные пункты их конфессии, чтобы затем обсудить их с ним, и Франсуа даже получил возможность говорить перед толпой в базарный день. Его слушали два часа без перерыва.

Тогда противники, в которых не было недостатка, потребовали открытых дебатов между Франсуа и их уполномоченным во время торжественного публичного заседания в муниципальном дворце.

Но в соответствующий момент, когда все собрание было уже готово и пребывало в возбуждении, кальвинистский пастор нашел жалкое оправдание, чтобы уклониться от дискуссии.

Впечатление было удручающим, и количество обращений возросло.

В 1596 году отрекся от кальвинизма господин д'Авюлли, председатель Консистории, «один из самых высокообразованных и уважаемых кальвинистов» тех мест, и эта новость получила необычайный отклик, ибо он не обратился в католичество в порыве иллюзий: в течение целого года он ежедневно беседовал с Франсуа по два-три часа. Мало того, д'Авюлли представил все пояснения Франсуа пасторам Женевы, «требуя серьезных ответов и обоснованных доказательств», но получил в ответ лишь молчание.

На Рождество того года Франсуа решил положить конец промедлению. Он велел возвести алтарь и отслужил три рождественские мессы: в полночь, утром и среди бела дня.

Не было недостатка в возмущениях и угрозах, в том числе и вооруженных. Франсуа удалось обуздать их «величием лица и мягкостью речей».

Насколько глубоко и далеко он зашел в своем деле проповеди Евангелия, свидетельствует тот факт, что он

смог даже отправиться в Женеву и встретиться с Теодором Безой, преемником Кальвина, и привел его на порог обращения, заставив его признать — с помощью мягких, но непреклонных аргументов — все основные истины католичества.

Точно известно, что уже с первого раза Теодор признал, «что в римской Церкви можно спастись и что, как бы там ни было, она остается Церковью-Матерью». Но он упорствовал в протестантском учении, что «вера спасает и без дел».

Он сказал: «Вы (католики) увлекаете души в бесконечные церемонии и сложности: вы говорите, что добрые дела необходимы для спасения, тогда как они — всего лишь хорошее воспитание».

Франсуа напомнил ему евангельскую сцену Страшного Суда (в которой Иисус говорит о делах милосердия по отношению к бедным, голодным, заключенным и т.д.) и спросил: «Если бы речь шла только о хорошем воспитании, разве были бы мы столь жестоко наказаны за то, что не делали их?»

Будучи не в состоянии ответить, Беза вспыхнул, но при виде сдержанности собеседника овладел собой и попросил извинения. Более того, он заклинал «господина де Саль часто навещать его».

В самом деле, они вновь увиделись и имели еще одну личную беседу, которая продлилась более трех часов. Свидетели утверждают, что в конце они попрощались очень сердечно и что Теодор без конца вздыхал: «Если я не на правильном пути, я каждый день молю Бога, чтобы в своем милосердии Он возвратил меня туда».

Известно, что Франсуа намекнул Папе на неизбежное обращение «женевского патриарха», и со стороны Святого Престола были сделаны конкретные предложения, чтобы гарантировать ему возможность устроиться после обращения.

Была и третья встреча, но точно неизвестно, что между ними произошло. Предполагается, что Теодор, озабоченный политическими и экономическими последствиями своего шага, ограничился выводом, что «не лишен был надежды спастись, оставаясь и в своей Церкви».

Однако же, до самой смерти Беза поддерживал очень сердечные отношения с Франсуа, который стал епископом и охотно принимал его посланников. Более того, предполагают, что он написал ему письмо, в котором выражал надежду «составить ему компанию на небе», хотя и считал себя недостойным даже развязать ему обувь.

Многие замечали, что он изменился: тем, кто вопрошал его о проблемах веры, в последние годы Беза отвечал, что не стоило отделяться от Римской Церкви, хотя сам он и оставался в новой конфессии.

Тем более что его единоверцы, чтобы нейтрализовать его влияние, распространяли слухи, будто его рассудок пошатнулся.

Тем временем почти вся Шабле возвратилась в католическую веру; прибыли другие миссионеры, — не все наделенные деликатностью и уравновешенностью, характерными для Франсуа, — и строились большие планы.

В частности, был один капуцин, полный усердия и фантазии, что решил триумфально совершить торжественное «сорокочасовое богослужение» в местечке близ Женевы с толпами новообращенных, которые прошли бы крестным ходом; с литургиями, проповедями, народными песнопениями и музыкой, стрельбой в воздух. И прежде всего — с исполинским крестом, воздвигнутым прямо против города.

Для кальвинистов все это были идолопоклоннические обряды и символы, и в Женеве был объявлен день публичного покаяния.

Кроме того, была написана брошюра против католического культа креста.

Франсуа ответил «Защитой знамени Креста». Он, однако же, неловко себя чувствовал при виде этих агрессивных методов, которые ему никогда не были свойственны. Другим миссионерам он сказал, что у них были добрые намерения, но что лучше бы они последовали обычаям Страстной Недели, когда с креста постепенно, с почтением снимают покровы в то время, как *прочувствованно* поется: *Ecce lignum crucis, venite adoremus!* (лат.: «Вот древо креста, придите, поклонимся!»).

Кто-то уже говорил, что Франсуа был слишком кроток, слишком уступчив, слишком расположен к диалогу, а он отвечал что «люди добиваются большего любовью и милосердием, чем строгостью и непреклонностью»; и что он «кался всякий раз в тех немногочисленных случаях, когда прибегал к колким репликам».

И объяснял: «Кто проповедует с любовью, тот достаточно проповедует против еретиков, даже если не говорит против них ни слова».

Он уже был известен повсюду, даже в Риме, как миссионер, который «обращал души тысячами».

В 1599 году он получил назначение в качестве Коадьютора Аннеси-Женевы. Фактически он мог действовать от имени старого и больного епископа, хотя и получил епископское рукоположение только после смерти последнего.

Во всяком случае, начинается его деятельность на европейском уровне. Первая дипломатическая миссия разворачивается в Париже, и речь идет о возрождении католического культа на новых землях, завоеванных королем Франции, — в области Жекс. Он пробыл в столице королевства девять месяцев и за это время покорила двор и парижскую знать, в которой светские, религиозные — и даже мистические — настроения соседство-

вали и сталкивались самым неожиданным образом, чисто по-французски.

Он проповедует в Великий Пост 1602 года в Лувре, в часовне королевы перед принцессами и придворными; нет недостатка и в кальвинистах.

Это странный проповедник, полагающийся не на театральность жестов и голоса и не на излишне сложные выражения — согласно моде того времени — а лишь на красоту и сладостность истины.

Так что, в конце проповедей периода Великого Поста — хотя он ничего и не говорил против кальвинистов — в его руки приносит покаяние придворная дама, считавшаяся непоколебимой кальвинисткой, мадам де Падровиль, образованность и культура которой столь высока, что даже самым проницательным теологам королевства никогда не удавалось ее смутить.

Тот, кого считали самым высокообразованным проповедником того времени, будущий кардинал дю Перрон, комментирует: «Если следует убеждать кальвинистов, то я, может быть, и мог бы справиться с этим, но если же следует их обращать в истинную веру, то отправьте к ним монсиньора из Женевы».

Он проповедовал и перед всем двором, кроме того король, лукаво используя официальный титул Франсуа, епископа Женевской епархии, приглашал всех своих друзей-протестантов послушать «их епископа».

Однако, что касается непосредственно его миссии, то король казался глухим; он продолжал откладывать решение и заставлял Франсуа ждать.

Но это не было время бездействия. В Париже, сделавшимся городом-лабораторией нового христианского гуманизма, все оспаривали его друг у друга. Выдающиеся личности высокого интеллектуального и духовного уровня собирались в гостиной блестящей светской дамы

(«красавицы Акари»), которая жила напряженной мистической жизнью, подобно «новой Терезе д'Авила».

В этой изысканной гостиней формировалось духовное возрождение Франции и туда стекались самые новые религиозные движения, берущие свое начало в Испании, в Италии, в Рейнских областях.

Франсуа посещал ее ежедневно. Самым обсуждаемым вопросом было: следовало ли предпочесть северную мистику, проповедовавшую единение с Богом в обход всякого человеческого посредничества (и даже в обход самой человеческой природы Христа), или же новую испанскую мистику, о которой свидетельствовали и которой жили кармелитские монастыри Терезы Авильской (д'Авила)?

Говорят, что в горячих спорах именно благодаря Франциску Сальскому, с авторитетом его учения и его личного опыта, чаша весов склонилась в сторону кармелитов.

«Именно в "Кружке Акари" был открыт путь решению ввести во Франции реформированные кармелитские монастыри святой Терезы Авильской (которая умерла двадцатью годами раньше). На конференции, где обсуждался этот вопрос, Франсуа попросил слова последним, и его благоприятное мнение возобладало. Папа и король дали свое согласие. В 1604 году был основан первый французский кармелитский монастырь... Впоследствии три дочери госпожи Акари поступили в этот орден; сама она, когда умер ее муж, попросила принять ее туда в качестве мирской монахини и умерла там в 1618 году под именем Марии Воплощения» (А. Равье)¹.

Несомненно то, что именно в эти месяцы пребывания в Париже Франсуа определил свой профиль Учителя Церкви посредством совершенно оригинальных подходов.

¹ «Красавица Акари» была провозглашена блаженной Пием VI в 1791 году.

Об Акари, которую он выслушивал на исповеди, он говорил: «Я считал ее не кающейся грешницей, а голосом, через который говорил Святой Дух», — такова была чистота, проступавшая в этой исключительной душе.

Когда «монсиньор из Женевы» вернулся в свою родную Савойю, некто заметил с истинно французской тонкостью, что он «сотворил много добра и много зла: много добра — своими проповедями, и много зла — ибо сделал скучными всех остальных проповедников».

Он был рукоположен в епископы 8 декабря 1602 года. Он начал с реформирования самого себя, решив быть бедным епископом: квартира, взятая внаем, прислуга, сведенная до необходимого минимума, простая пища. Почести, которых он не мог избежать, он считал оказанными Церкви: «в течение дня я буду епископом Женевы, а вечером буду возвращаться домой как Франсуа де Саль».

Проблемы епархии не давали ему вздохнуть, но для себя он приберег особенное служение. Он просил своих священников направлять в его исповедальню прежде всего людей, страдавших заразными болезнями или болезнями, вызывавшими отвращение.

Он опасался, что из-за их отталкивающего состояния они будут отвергнуты духовниками. И если это происходило, то его долг в качестве епископа заключался в том, чтобы восполнить слабость своих священников: «Это любимые овечки, — говорил он, — я хочу их для себя. Мой долг — удовлетворить их материальные и духовные нужды».

Другая привилегия, которой он для себя желал, потому что она ему «доставляла радость», — была привилегия объяснять детям катехизис.

Каждое воскресенье юноша в лиловой тунике, у которого было на груди и на спине по щиту с выгравированными на них именами Иисуса и Марии, обходил по

его приказу улицы города, звоня в колокольчик и провозглашая на каждом углу: «Идите, идите на христианские ученье, где вы научитесь различать дорогу в Рай!»

Тогда собиралось веселое и шумное шествие, которое отправлялось в собор, в гости к епископу. Он учил, задавал вопросы, разъяснял закон Божий с помощью многих и многих примеров, тут же награждал самых прилежных, предлагал им спеть по-французски какой-нибудь гимн (часто из тех, что сочинял он сам) и раздавал написанные его рукой листки с параграфами, которые дети должны были выучить наизусть к следующему разу.

Случалось, однако, что собор наполнялся и взрослыми; кроме того приходила его послушать даже его старая мать.

«Сударыня, — улыбаясь, сказал он ей однажды, — вы отвлекаете меня, когда я вижу вас на катехизисе со всеми моими детьми, потому что именно вы преподали его мне!»

И сразу же он поднял некоторые самые злободневные проблемы.

В Аннеси в день святого Валентина юноши и девушки писали свои имена на листках и складывали их в две урны, затем имена извлекали и соединяли в пары. Так, на целый год все имели своего «валентина» или свою «валентину»; за которыми должны были ухаживать, носить имя партнера или партнерши вышитым на груди или на рукаве, и каждый имел право сопровождать свою красавицу на праздники, танцы, на прогулку, а также имел право на всякие прочие любезности.

На следующий год партнеры менялись. Это не только не имело ничего общего с будущими свадьбами, но в игру вступили и многие взрослые, состоявшие в браке, которые пользовались ею, чтобы получить свободу действий, невозможную в иной ситуации.

Что касается случаев ревности и семейных ссор, — еще до того, как дело доходило до непристойностей и разврата — легко можно было себе это представить.

Франсуа начал недвусмысленно говорить об этом во время своих воскресных проповедей в начале января. Поднялись ропот и недовольство. Франсуа, обычно столь мягкий и снисходительный, опубликовал запретительный эдикт и велел светской власти привести его в исполнение.

Сказал, что отныне он сам будет назначать валентин и валентинов.

В день праздника он велел раздать в каждой семье всем девушкам и молодым людям записки с именами какого-либо святого или святой и с фразой из Священного Писания. Затем тянули жребий. Так каждый получил покровителя, которого должен был почитать весь год, а также должен был следовать норме поведения, которую предписывала ему библейская фраза.

Как мы видим, у нового епископа не было недостатка ни в решительности, ни в фантазии. И молодежь в конце концов полюбила его и последовала за ним.

Франсуа де Саль не был моралистом. В истории Церкви, быть может, ни один другой святой не выражал с такой же свободой свою пылкую эмоциональность.

Его дружеские связи, в том числе и с женщинами, его письма, его заботы иногда, кажется, принадлежат поклоннику, — столь они недвусмысленны и горячи.

И тем не менее никто никогда не мог заподозрить в этом что-либо сомнительное, — столь явной была духовная направленность (что вовсе не означает, что она была «бесплотной») всего его существа.

Но именно поэтому он не был расположен смотреть, как его молодежь играла самым источником своей человеческой сущности и своей ответственности.

В этой традиции «валентинов» речь шла не только о возможных грехах, которым молодые люди безрассудно себя подвергали, но о грехе: речь шла — и этого многие воспитатели в наши дни не хотят понять — о силе зла, обнаруженной там, где оно старается уничтожить самые способности человеческого сердца.

То, что возможно полно любить, даже уважая судьбу и призвание каждого, Франсуа доказал в отношениях с молодой вдовой Франсуаз Фремье де Шанталь.

Они распознали друг друга духовно почти с первого взгляда: Франсуа понял, что она предназначена впитать всю суть его «духовного опыта», а Франсуаз поняла, что нашла все то, чего ее сердце желало в этом мире.

Это была в прямом смысле слова «встреча святости». Но мы должны быть способны дать этим терминам («духовный опыт», «святость») полное значение, которое не исключает из себя ничего из того, что является действительно человеческим.

Франсуа писал ей с большой выразительностью: «Пребывайте всегда в присутствии Божьем, со святой свободой духа, с полной уверенностью в Его милосердии, без излишней разборчивости, без тревоги, без смущения. Вложите ваше сердце в раны нашего Господа — мягко, а не с силой».

Долгие годы он воспитывал ее ввиду одной-единственной цели: чтобы ее сердце воспламенялось желанием, при одном лишь слышании слов «воля Божья», даже когда она еще точно не могла понять, к чему Бог намеревался ее привести.

Если извлечь из их переписки тысячи и тысячи педагогических указаний Франсуа, то мы получим сборник великолепных правил, которые все мы могли бы с пользой применить на практике.

«Все надобно делать из любви, и ничего — по принуждению. Следует любить послушание более, чем мы боимся непослушания».

«Я одобряю, что вы жалуетесь, обращаясь к нашему Господу, если только вы делаете это со смирением, с любовью и без отчаяния и тоски, — так, как это делают дети со своей мамой».

«Предайтесь полностью воле Божьей. Невозможно лучше служить Богу чем так, как этого хочет Он».

«Нет ничего страшного в искушении до тех пор, пока искушение будет вам неприятно».

«Будьте довольны, если вы считаете себя ничтожной, ибо ваше ничтожество необходимо Богу, чтобы Он мог проявить свое милосердие».

«Никогда не страшитесь Бога, потому что Он не хочет сделать вам ничего плохого. Наоборот, любите Его очень сильно, ибо Он желает сделать вам всяческое добро. Не пытайтесь преодолеть искушения насильственно, ибо эти усилия делают их еще настойчивей. Вообразите Распятого Иисуса в ваших объятиях и, целуя Его грудь, разверстую для любви, говорите Ему сотни раз: "Здесь моя надежда, здесь — живой источник моего счастья. Ничто и никогда не разлучит меня с моей любовью. Я обладаю ею и никогда больше не оставляю ее..."»

«Невозможно требовать того, чтобы ни один листок на вашем дереве не колыбался от ветра. Довольно, чтобы он оставался на ветке...»

«Бог сохранил вас до настоящего момента. Держитесь крепко за Его руку... Вы заметите, что там, где вы не можете идти самостоятельно, Он возьмет вас в свои руки и поведет вас».

И Франсуаз признавалась: «Когда я слушала моего святого духовного отца, то мне казалось, будто я слушаю самого Бога, и каждое его слово сходило с его уст в мое

сердце, как слово Божие. Я видела в нем участие божества. Рядом с ним мне казалось, что я живу в присутствии Бога, который жил и говорил в своем слугителе».

Разве удивительно в этом случае, что их переписка была буквально переполнена нежностью?

И наступил день, когда Франсуа попросил ее реализовать мечту, которую носил в своем сердце.

В то время женщинам, которые желали посвятить себя Богу, было доступно лишь затворническо-созерцательное призвание. Но он задумал реализовать в Церкви нечто новое: «община, характерной чертой которой были бы кротость и милосердие Христа».

Так родилась конгрегация (община) монахинь Посещения; они, как говорит их название, должны были нести в мир нежность и участие Святой Девы, которая, будучи беременна Христом, отправилась к престарелой родственнице Елизавете, чтобы дать ей облегчение в ее нуждах.

Церковь тогда еще не была к этому готова (новшество возымеет успех несколько лет спустя, со святым Венсаном де Поль). Было оказано столь сильное давление и другие авторитетные вмешательства, что они привели и это новое заведение в традиционно созерцательное русло.

Но идея осталась. И, конечно же, община «Посещения» сохраняет еще и сегодня нечто от своего изначального облика.

Вот мы уже и достигли последнего десятилетия жизни Франсуа, который умрет в расцвете зрелости, всего лишь в пятьдесят пять лет.

Епископские обязанности день за днем истощали его силы: пастырские визиты в четыреста пятьдесят приходов епархии, в том числе и в самые отдаленные, — высоко в горах, — на лошади, а чаще пешком; заботы о духовенстве,

которое он лично готовил к служению по части проповеди и исповеди; постоянный катехизис для народа; реформа монастырей; дипломатические миссии при дворах Парижа и Турина; отношения со Святым Престолом.

В последние годы он чувствовал себя настолько перегруженным в «путаницу дел», что ему случалось мечтать о пустынной келье, куда бы он хотел удалиться и жить там в молитве.

И невзирая на это, в последние годы Франсуа написал две книги, благодаря которым впоследствии он станет Учителем Церкви, уже после того, как они сделают его самой представительной фигурой того времени.

Итак, он написал «Наставление в благочестивой жизни» и «Трактат о Божественной любви».

Можно сказать, что эти «бедные книжонки», как называл их Франсуа, были одновременно чудом синтеза и новизны: синтеза — потому что они наследовали лучшие духовные традиции прошлого; новизны — потому что передавали их будущему с новыми формулировками и новым дыханием.

Церковь всегда проповедовала верующим призвание и долг святости, но фактически эта святость была возможна лишь для тех, кто оставлял мир и затворялся в монастыре, — некоей элите утонченных душ, отрешенных от превратностей жизни.

С другой стороны, уже за несколько веков до того времени Европа была захвачена дуновением гуманизма, носившего еще не совсем христианский характер: сначала этому препятствовали языческие корни Возрождения, затем мучительные перипетии, связанные с протестантской Реформацией.

Франсуа по природе своей был гуманистом, и он был святым.

То, что произвело на него самое сильное впечатление в его бесконечных контактах с самыми различными кругами — было стремление к святости, которое можно было уловить повсюду.

При самых светских дворах, — таких, как Парижский, — он встречал глубоко мистические души; в гостиницах он видел расцветавшие движения нового христианства; страстную любовь к Богу он находил в детях, в юных обрученных, среди военных, среди бедного и необразованного деревенского люда, в хижинах, затерянных среди самых высоких гор, в убогих мастерских ремесленников.

За несколько лет до того у него возникла идея написать «Жизнь святого Человеколюбия», в которой он хотел отвести скромное место и для некоей Пернетт Бутей, смиренной жительницы долины, вдовы, которая в течение многих лет вынуждена была терпеть отвратительный характер мужа; она держала галантерейную лавочку и жила, полная любви к Богу и человеколюбия по отношению к ближнему.

Франсуа всегда считал ее святой и плакал, когда ему сообщили о смерти «его Пернетт».

«Бога, — писал он, — я встречал среди наших самых неприступных и высоких гор, где многие простые души Его любят и поклоняются Ему в совершенной правде и простоте, и где козулы и серны скачут по крутым ледникам, провозглашая Ему хвалу».

Это — «народная идея», от которой рождается «Трактат о Божественной любви». Что же касается «Наставления в благочестивой жизни», то его Франсуа посвятил одной аристократке, госпоже де Шармуази — «молодой даме в золоте», чтобы научить ее любить Бога всем сердцем и всеми силами, даже среди «условностей» света.

Резонанс этих двух книг был исключительным: при жизни автора «Наставление» в одной только Франции было переиздано сорок раз.

«Благочестивая» жизнь не имеет того значения, которое мы приписываем этому выражению в наши дни. «Благочестие» в языке Франсуа — это ни что иное, как человеколюбие, любовь к Богу, но наблюдаемые в тот момент, когда они страстно мобилизуют все существо и все способности человека в желании соединиться с Ним: благочестие — это как бы «плод дерева любви, блеск драгоценного камня, благоухание дорогого масла».

Но прежде всего оно порождает желание и путь к святости, возможные для всякого христианина в любых обстоятельствах. Надо только иметь не «полумертвое сердце», а сердце, полное желания ответить Богу, используя собственные обычные средства христианского опыта, усердствуя в выполнении своих обязанностей в любом «жизненном статусе», лишь бы они выполнялись «прилежно, пылко и с готовностью».

Франсуа не требует каких-то исключительных жестов или поиска чего-то возвышенного, но только «живой любви», способной на щедрость: это идеал, которого все мы можем достичь, если только позволим себя вести по этому пути надлежащим образом.

В начале того XVII века христианский мир как будто бы вздохнул с облегчением, так как высокий идеал святости был освобожден от всякого осложнения, от всякой надстройки, от всякого морализма и был помещен — в простом, основательном, народном стиле — на доступный для всех уровень.

Кто-то считал, что речь идет о руководстве для посредственных людей, о попытке смягчить серьезные евангельские требования, сделав их жеманными и слащавыми. Впоследствии, действительно, кое-кто воспользуется

этими наставлениями для того, чтобы прийти к не слишком ортодоксальному «квиетизму».

Но Франсуа вовсе не исключал самых высоких мистических вершин, напротив, он считал, что они действительно всем доступны.

В «Трактате о Божественной любви» он откроет всем «игру Бога с человеческим сердцем».

Вначале Бог просит у человека лишь «немного горячей и щедрой любви», но едва человек решится на такой выбор, как тут же начинается бесконечная история: «Довольно, чтобы человек подумал с некоторым вниманием о Божестве, как сейчас же он чувствует в сердце волнение, свидетельствующее о том, что Бог — это Бог человеческого сердца».

Значит, заповедь любить Бога всем сердцем основывается на естественной склонности, дремлющей в глубине нашего существа. Достаточно разбудить ее каким-либо образом, как тут же «естественная изначальная склонность любить Бога, которая была как бы усыплена, сделалась неуловимой, — прсыпается в один миг... как искра, дремлющая под пеплом...»

Франсуа обладал именно таким взглядом на человека: полным спокойного оптимизма, настоящего «гуманизма».

Для того, чтобы эта искра возгорелась, человеку достаточно воспользоваться своей свободой, «дабы примкнуть к тому, что истинно, прекрасно и благо», к тому, что идет ему навстречу, как все более влекущая его Благодать.

С момента этого воссоединения все более отчетливо является ему тот Лик, что единственно и полно достоин любви: гуманизм в своей высшей точке достигает уровня мистической встречи.

Представление об этой высшей точке, которое имеет Франсуа, типично для его взгляда на существование. Это

любовь того, кто чисто и бескорыстно доверяет себя Богу в любых обстоятельствах жизни, даже самых непонятных и скорбных.

Так, он приводит пример дочери отличного врача-хирурга, страдающей от болезни.

Отцу, который спрашивает ее, согласна ли она, чтобы он ее оперировал, девочка отвечает: «Отец мой, я твоя, и не знаю, чего я должна хотеть для того, чтобы выздороветь. Думай об этом ты, делай то, что считаешь необходимым, мне довольно любить тебя всем сердцем, как я это и делаю...» И в то время, как отец оперирует ее, причиняя ей боль (тогда не было анестезии!), девочка, не отрывая глаз от отцовского лица, тихо повторяет: «мой отец меня любит, и я вся ему принадлежу» (L.X, гл.15).

Вот так, как всеми почитаемый человек, навсегда, вместе с тем, оставшийся ребенком в руках Божьих, умер Франсуа. Это случилось в праздник Святых Невинных мучеников 1622 года.

СВЯТАЯ ТЕРЕЗА МАРГАРИТА РЕДИ
(1747-1770гг.)

Даже христиане, хотя они и верят в Воплощение Сына Божия, рискуют жить в одиночестве. Как будто бы Он не существует, как будто бы Он не пришел с тем, чтобы даровать нам свое присутствие, свое общество, свое спасение.

Они говорят о Нем, как об утешительной идее, но лишь как об идее.

Делают Иисуса «ценностью», «опорой и ориентиром» для жизни, но не любят Его всем сердцем, всей душой и всеми силами.

И когда они рассуждают о жизненных проблемах — и даже о проблемах веры — то три Божественных Лица (Отец, воплощенный Сын и Святой Дух) кажутся абстрактными сущностями: их не отрицают, но после вступительной похвалы все внимание сосредоточивается на нашей череде анализов, суждений, решений, планов, направлений деятельности.

Так Церковь становится — в лучшем случае — местом людей, которые, будучи верующими, имеют «больше» ума и последовательности. Часто, однако же, оказывается, что они более, чем кто-либо другой, нас разочаровывают.

Даже самых лучших из христиан — святых — оценивают за то, что они смогли совершить своим учением, активной деятельностью и примером, но самая драгоценная часть их опыта (их взаимоотношения с Божественными Лицами) остается в тени, и ей не придают большого значения.

Многим кажется, что Франциск Ассизский, Игнатий Лойола, Тереза Авила, Камилло де Леллис и многие другие были бы значительными и образцовыми, даже если бы у них не было Христа, которого они любили (если бы они не имели сейчас — так как они живы — Христа, которого они любят); если бы у них не было Христа, который их любит; даже если бы они всегда были и оставались наедине с самими собой.

И так святых лишают их сердца.

Поэтому Бог время от времени дает нам святых, единственная задача которых — позволить Ему любить их, а также — любить Его всем своим существом.

Они не делают ничего значительного в глазах мира, они ничего не говорят. Они лишь горят желанием все более глубокого и полного единения с их Господом.

Тому, кто хочет описать их жизнь, почти нечего рассказать. В ней лишь можно уловить их глубоко личную историю и умилиться, — с надеждой, чтобы хоть немного этот огонь загорелся и в нашем сердце.

Их жизни интересуют лишь тех, кто задается вопросом: что означает быть любимыми Богом и любить Его всем своим существом? Как предаться этой Любви? Как ее защитить, как взрастить ее вне всяких возможных пределов? Каковы законы подобной Любви?

Христианин, который никогда не задавал себе этих вопросов, далек от раскаленного ядра своей веры.

Биографы святой Терезы Маргариты Реди, говоря о ней, используют такое обобществляющее выражение: «Это было создание, буквально поглощенное неумолимой Божьей любовью».

Середина восемнадцатого века. Философия излучает холодное сияние эпохи Просвещения; в религии вера находится под угрозой янсенистской суровости с одной

стороны и рационалистического и гуманистического деизма с другой, в то время как на горизонте появляется атеизм; в области науки это — время первых крупных завоевания техники; в общественной сфере это — время, когда зарождается экономическая наука и готовятся буржуазные революции; в религиозной сфере начинается беспощадная борьба масонства против Церкви.

В Тоскане также спорят о сельском хозяйстве, о торговле, о промышленности, о мелиорации; усовершенствована налоговая система, пытаются создать церковь, независимую от Папы.

В столь беспокойную эпоху, однако, в литературе преобладает поэзия Аркадии: восхваления томной и жеманной любви, пасторальные и идиллические сценки, мелодрама в духе Метастазия (которого Руссо называл «единственным поэтом сердца»); в гостиных прощаются напудренные дамы и галантные кавалеры.

Все это действительно производит впечатление эпохи, в которой равновесие между мозгом и сердцем выглядит весьма недостаточным. Мозг нападает на самого Бога и планирует жизнь с помощью так называемой науки; сердце же теряется в ветрености и в идиллии.

Наша Анна Мария Реди могла бы стать одной из этих дам восемнадцатого века: она была очень красива — блондинка с классическими голубыми глазами — и принадлежала к патрицианской знати Ареццо. Но Бог решил возлюбить ее и побудить любить Себя неизреченным образом.

Для того, чтобы было понятно то, о чем мы рассказываем, не следует забывать даже на миг, что речь идет о Боге, который из любви к нам позволил себя распять. О Боге, который говорил одной мистической душе средневековья: «Помни, что я возлюбит тебя не в шутку».

Анна Мария Реди родилась в 1747 году; она — третья из тринадцати детей благородного аретинского семейст-

ва. Среди ее предков — знаменитый дядя ее отца Франческо Реди, врач, натуралист и поэт, лейб-медик и Государственный советник при дворе эрцгерцога Тосканского, а также веселый автор стихотворения «Бахус в Тоскане», которое, как правило, всегда приводится в антологиях итальянской литературы.

Ее отец, Иньяццо (Игнатий) — балли (то есть глава округа) военного рыцарского Ордена святого Стефана Папы. Мать, Камилла Баллати — аристократка из Сиены.

Отношения между девочкой и ее матерью — спокойные и безмятежные, хотя она и чувствует в матери некоторую излишнюю отчужденность, особенно когда видит ее склонность к легкомысленной жизни гостиных, хотя она и женщина со слабым здоровьем.

Но Анна Мария питает глубокую любовь к отцу, молодому человеку двадцати семи лет, с которым у нее существует настоящая духовная гармония: не только оттого, что он снисходителен к ее играм и заботится о ее воспитании, а прежде всего потому, что всегда отвечает на ее бесконечные вопросы о Боге и мире ангелов.

Святой Фома Аквинский, — один из самых великих учителей Церкви, — утверждает, что едва ребенок достигнет сознательного возраста, ему необходимо помочь как можно раньше сделать недвусмысленный шаг, которым бы он обязался любить Бога «превыше всего, всем сердцем, всей душой и всеми силами», — осознанное подчинение первой и величайшей из заповедей.

Быть может, великая трудность в том, чтобы достичь святости, и крайняя нестойкость веры молодежи зависят именно от непростительной забывчивости и постоянного нерадения — со стороны взрослых и воспитателей — о воспитании в детях навыка выполнения этого изначального и наивысшего долга.

Об Анне Марии нам сообщают: «Как только она смогла лишь смутно понять, что Бог — наш верховный Господь и Создатель, она вся обратилась к Нему с пламенной любовью... полностью посвятив себя Ему и проникнувшись этой твердой решимостью, которую она всегда сохраняла в своем уме, в сердце и на устах: никогда не желать ни внутри, ни вне себя не только ничего такого, что было бы не угодно Богу, но также и того, что было бы Ему не совсем угодно, или что бы не соответствовало Его славе и Его пресвятой воле».

Это не означает, что девочка уже сразу была святой; это означает, что отец преподавал ей с любовью и воодушевлением самую суть веры. Это он научил ее молиться, внимать закону Божию, с любовью приступать к таинствам, любить природу и воспринимать то, что она нам может поведать.

Было и нечто большее. В доме Иньяццо начала приживаться благочестивая практика, в то время спорная и встречавшая противодействие даже в самой Церкви: почитание Святейшего Сердца, ставшее известным за несколько десятилетий до этого, благодаря монахине ордена Посещения Маргарите Марии Алякок, утверждавшей, что оно было передано ей в частном откровении.

Церковь тогда еще не сделала своего заключения по этому поводу (монахиня ордена Посещения была провозглашена блаженной столетие спустя), и лишь через целый век народы, епархии и семьи станут посвящать себя святому сердцу Иисуса. Праздник, который теперь отмечается с такой любовью, распространится по всему миру лишь в 1856 году.

Итак, в то время эта благочестивая практика оставалась спорной. Ее противники утверждали, что это было изобретение иезуитов (этот орден вскоре был упразднен) для защиты их нравственной вседозволенности, и

прежде всего в нее бросали камни янсенисты — отличающееся крайним ригоризмом течение, леденившее Церковь.

Именно в Тоскане — итальянской области, которая была наиболее подвержена влиянию янсенистской ереси, — в 1781 году (десять лет спустя после преждевременной смерти нашей святой) состоится знаменитый Пистойский синод, на котором культ Святейшего Сердца будет назван «ложной догмой», «ошибочной или по меньшей мере вредной практикой», и получат распространение книги, содержащие жестокую иронию и поношения в адрес тех, кто почитает Святейшее Сердце.

Дело в том, что это почитание смущало как «холодное усердие тех, кто ничего не понимал в Божественной любви» (так Пий XI охарактеризовал впоследствии позицию янсенистов), так и всю философскую культуру того времени, которая склонялась к самому абстрактному деизму.

И даже защитники веры и преподаватели катехизиса в попытке приспособиться к жесткому рационализму Просвещения в конце концов являли себя растерянными, отвлеченными и заумными.

В доме же Иньяццо Реди Сердце Иисуса царило не столько потому, что о нем упоминали очень часто, сколько оттого, что там никогда не говорили о Боге или о духовных предметах, не говоря при этом о Его живой, воплощенной, страстной любви и о сладостном долге воздаяния Ему «любовью за любовь».

Если подумать о том, сколько детей вырастает в наших семьях и в наших приходах без настоящего внимания, уделяемого этой теме воспитателями, — то есть, не зная Божией любви, а получая лишь смутные представления о Нем, лишенные интереса, то можно понять из этого контраста, какой пылкий опыт получила маленькая Анна Мария.

Ее детское сердце было переполнено любовью к отцу, а тот говорил ей, что сердце Бога — еще более отеческое и еще более любящее, чем его собственное, и помогал ей испытывать это на себе.

«Иисус хорошо знает, — скажет позже Анна Мария своему духовнику, — что я с детства не хотела ничего другого, как только быть Ему угодной и стать святой».

В девять лет, по обычаю того времени, ее поручили монастырю бенедиктинок для того, чтобы она получила образование, соответствующее ее положению: таким образом, в тот век, когда почти все девочки были неграмотны, она изучала латынь, сочиняла стихи, умела считать, прекрасно владела искусством вышивания и училась хорошим, благородным манерам.

Но духовником монастыря был священник с янсенистскими симпатиями, один из тех, кто отрицательно смотрели на почитание Святейшего Сердца и сурово судили даже веру детей.

Этому священнику Аннина (так называли маленькую Реди) не нравилась. Отвечая на вопросы о ней годы спустя, когда распространится слава о ее святости, он покажется раздосадованным: «Это была дерзкая девчонка, как и все остальные», — будет его резкий приговор.

Но это было провиденциальное обстоятельство, так как девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет выберет в качестве духовного наставника своего отца, с которым заключит духовный союз, поддерживая с ним живую переписку. Иньяццо впоследствии будет рассказывать о том удивлении, которое он испытал, видя, «как глубоко Святой Дух сообщал Себя душе, находившейся еще в столь нежном возрасте».

Когда ему придется свидетельствовать на каноническом процессе по провозглашению блаженной этой своей любимой дочери, умершей всего в двадцать два года,

он скажет: «Краснею, ибо я, грешник, посмел учить настоящую святую». Биограф комментирует: «Возможно, это единственный случай в христианской агиографии, когда девушка имела в качестве духовного наставника собственного отца».

Этот даже не редкий, а единственный в своем роде опыт будет иметь для Анны Марии вдвойне благоприятные последствия: с одной стороны, ее отец станет для нее «отцом вдвойне», реализовав полностью свою функцию символа божественного отцовства; а с другой девушке теперь уже будет совсем нетрудно считать своими истинными отцами священников, которым впоследствии она будет поручать себя в таинстве исповеди и для наставления своей души.

Иньяццо также пережил завидный для всякого отца опыт: иметь не только дочь по крови, но — как он великолепно выражался — «дочь души».

Письма, которые он ей посылал, неизменно заканчивались напоминанием об их величайшей тайне: «С самым сердечным благословением оставляю вас в сердце Иисуса и Марии...»

Когда Анна Мария достигает шестнадцатилетнего возраста, имеет место единственный в ее жизни эпизод, в котором есть нечто необычайное. В комнату для свиданий бенедиктинского монастыря является девушка из Ареццо: она пришла попрощаться с монахинями, которые воспитали ее, так как она решила поступить в монастырь кармелиток во Флоренции.

В течение нескольких минут все в комнате говорят о монастыре кармелиток, и вот, Анна Мария ясно слышит внутри себя голос, как бы говорящий ей: «Я Тереза Иисуса и говорю тебе: я хочу, чтобы ты была среди моих дочерей». Взволнованная, она убегает прочь и спешит броситься на колени перед дарохранительницей, тогда

как внутренний голос повторяет ей все с большей силой: «Я Тереза Иисуса и говорю тебе: я хочу, чтобы ты была среди моих дочерей».

Впоследствии Анна Мария будет рассказывать, что она почувствовала себя «так, как будто бы ее сердце пылко сжали в объятиях» и что «ей казалось, что она с ума сошла от радости...»

Она вернулась в семью и с ласковым повиновением ждала, пока ей исполнится семнадцать лет. Отец ей сказал, что до того времени он не хочет обсуждать с ней планы, касающиеся ее призвания. Оставшиеся месяцы она должна была провести с пользой: в молитве, размышлениях, а также предав Богу свой путь.

Анна Мария молча пытается жить уже как кармелитка. Она точно знает, что должна будет пожертвовать всем, поэтому включает в течение своих дней и в привычки, свойственные благородной девушке ее времени, признаки принадлежности Распятому Жениху. Это большие и маленькие жертвы, по ходу дела сопровождавшие нормальное течение событий; какое-нибудь страдание, которого она нарочно ищет; и постоянный контроль над своими инстинктивными порывами.

В те времена сложные и затейливые прически были для женщин «проблемой века», как замечает биограф.

Но парикмахер, который часто причесывает женщин из дома Реди, с изумлением наблюдает, как эта девушка в конце его долгой работы отказывается от зеркала, которое он, гордый своим произведением, предлагает ей, чтобы она могла полюбоваться собой и испытать удовольствие. «Спасибо, это не имеет значения», — отвечает Аннина. Это маленькая жертва, но добрый парикмахер Саккетти с тех пор, как он занимается этим столь высоко ценящимся ремеслом, никогда еще не встречал девушки, которая тут же не схватила бы зеркало и не

поворачивала бы его во все стороны и не требовала бы еще какой-нибудь мудреной поправки.

Наконец Анна Мария может распорядиться своей жизнью, но отец требует, чтобы сначала ее проэкзаменовали три ученых и святых служителя церкви, среди которых Настоятель Провинции Кармелитов. Он описал ей всю суровость кармелитской жизни в столь сгущенных красках, что это ужаснуло бы кого угодно. Однако, казалось, что Анна Мария желала именно этого радикального самоотречения. Монахиням настоятель Провинции сообщил, что никогда еще он не встречал такой девушки. Казалось, святая Тереза Авильская подготовила ее для себя собственными руками.

В письме, которое Аннина написала в монастырь кармелиток и в котором просила принять ее в качестве послушницы, она использовала выражения, как бы опережавшие особенность ее миссии. Она писала, что хочет «состояться с этими добрыми монахинями в любви к Богу».

«Состязание любви» — так она поняла и реализовала смысл и цель своей жизни.

Нередко в наши дни находятся христиане, не понимающие призвания монахинь-затворниц. Они говорят, что могут понять выбор девушки, которая решает посвятить себя бедным, больным или воспитанию детей. Но зачем нужна жизнь, проведенная в молитве и вдали от мира? Другие добавляют к этому новые возражения, утверждая, что жизнь такого типа обязана своим существованием старому подозрительному антифеминизму, который нелегко искоренить.

Это типичные возражения тех, кто не думает, что Иисус — живая и реальная личность, которая заслуживает того, чтобы мы посвятили ей все наше время и все наши силы.

И, следовательно, это возражение тех, кто не понимает, что у Церкви, как Тела Христова, — по словам святой Терезы из Лизье — есть не только страдающие члены, которым необходимо служить, но и сердце, которое должно научиться любить и страдать за всех и вместо всех.

Но кармелитскому призванию Анны Марии Реди не могут возразить даже те, кто предпочитает призвание, посвященное уходу за больными.

В самом деле, в монастыре, куда девушка просит ее принять, живет в то время «физически немощная» община. С духовной точки зрения это одна из лучших общин, которую только можно себе представить. Оставшиеся нам в наследие биографические очерки описывают создания, богатые верой и благодатью (Анна Мария всегда будет говорить сестрам, что все они — «ангелы» и что она недостойна им служить).

Но как бы там ни было, это была очень престарелая община, в которую вот уже более двадцати лет не поступали послушницы.

Когда Анна Мария предстанет перед дверями монастыря, настоятельнице и четверем ее советницам — всем уже более семидесяти двух лет. Практически, десять монахинь уже очень стары и очень больны, а из четырех монахинь молодого возраста (около тридцати лет) все вот-вот заболеют одна тяжелее другой. Еще четвере — послушницы, ровесницы нашей святой.

Попадавший в ту обстановку понимал с первого взгляда, что все тяготы жизни общины (а каждый кармелитский монастырь — это маленький мир, который должен быть во всем самодостаточным) ложились на плечи двух или трех сестер и что положение все более усложнилось бы с течением лет.

Этого было бы достаточно, чтобы за два-три дня потерять всякие иллюзии той, что мечтала об этом монастыре как о безмятежном и прятном созерцательном убежище. И этого достаточно, чтобы избавить нас от представления о том, будто бы Анна Мария была томной, мечтательной девицей, стремившейся в монастырь затем, чтобы предаться возвышенным поэтическим размышлениям.

То, что в этой обстановке «состязание любви» должно было выражаться в самых тяжких и утомительных повседневных заботах о ближнем, — было неопровержимой очевидностью.

То, что созерцательность там должна была стать одним целым с действием, — было необходимостью, которая бросалась в глаза, сколь ни была она парадоксальна.

То, что радость любви должна была питаться ежедневной и горестной крестной мукой, — было совершенно ясно.

В общем, в том монастыре созерцательная молитва в духе Терезы Авильской и почитание Сердца Иисусова, охваченного пламенем и терниями, должны были поистине сделаться одним целым.

И она поняла это столь хорошо, что захотела взять имя Терезы Маргариты Святейшего Сердца Иисусова: Тереза — как созерцательница из Авилы; Маргарита — как монахиня ордена Посещения, которая просила христиан воздать «любовью за любовь» пронзенному сердцу Сына Божьего.

Когда Анна Мария Реди впервые перешагнула порог, за которым ее встретили затворницы, и обняла одну за другой этих своих новых сестер, таких добрых, но таких старых и больных. Она знала, Кого она хотела обнять.

И потому сразу сказала с полнейшей серьезностью, что «не променяла бы своего положения на самую счастливую жизнь на свете, потому что оказалась в Раю», и

добавила, что «для нее было милостью Божьей, что она пришла сюда, чтобы быть служанкой этих ангелов».

И когда с течением месяцев община периодически собиралась, чтобы вынести свое суждение о ее призвании, то она с волнением ждала ответа у подножия иконы Богоматери, умолая, чтобы ее сочли достойной остаться. Она, такая жалкая и бесполезная, не могла представить себе, чтобы эти «ангелы» приняли ее в свою семью, и каждый положительный ответ казался ей незаслуженной наградой.

Прежде всего она старалась укрыться в смирении: как ни была она молода, но она понимала, что даже в узком и конфиденциальном кругу монастыря можно важничать, красоваться, пытаться привлечь внимание, симпатию и привязанность ближнего.

«Мы столь самонадеянны, — говорил Паскаль, — что хотим быть известны всему миру; и столь легкомысленны и пусты, что уважение пяти или шести человек, нас окружающих, доставляет нам радость и удовлетворение».

Не следует также забывать, что это происходило в самой середине восемнадцатого века — века, который «весь звенел высокопарными титулами, лишенными смысла».

Но Тереза Маргарита не для того оставила свое высокое общественное положение, чтобы затем позволить себе в монастыре, пусть даже и в одухотворенной форме, питать инстинкты тщеславия.

Поэтому она хотела скрыться от всех глаз, чтобы ее мог смотреть лишь ее Божественный Жених, и трепетала от радости в ответ на наставление святого Павла, который говорил первым христианам: «Ваша жизнь сокрыта со Христом, в Боге».

В одном из немногих текстов, которые она оставила, мы читаем: «Мой Боже... отныне и навсегда я хочу скрыть себя в твоём сладчайшем сердце, как в пустыне, чтобы

вести там с Тобой, для Тебя и в Тебе тайную жизнь любви и самопожертвования».

Когда она думала об Иисусе, она, конечно же, помнила все то, чему учил Божественный Учитель и что Он совершил, но прежде всего она была изумлена и расстрогана тем, как долго Он пожелал оставаться неизвестным среди нас.

В этом мире столько всего надо было бы сказать и сделать, и тем не менее Сын Божий, ставший человеком, предпочел многие годы безвестности в Назарете, где жил в полной безвестности. И даже когда Он начал учить и действовать, божественная глубина его «я» оставалась по большей части неизвестна людям.

Иисус жил в мире, совершенствуя единственную в своем роде душевную и тайную связь с небесным Отцом, и именно эта связь спасла нас. Его притчи и проповеди, в сущности, говорили лишь об этой связи; его чудеса черпали свою силу в этом единении; его деятельность стремилась вовлечь и нас в связь любви, которая соединяет Слово Божие с его небесным Отцом, во Святом Духе.

Поэтому Тереза Маргарита в молитве просила, чтобы ей войти «в Сердце Иисусово», как во врата любви, и таким образом достичь сердца Пресвятой Троицы.

Ей было всего восемнадцать лет, и она была очарована этим таинством; она хотела проникнуть в него всем своим существом.

Поэтому ей нравилось быть незаметной в лоне своей бедной и прекрасной общины, сердцем которой она хотела быть, — сердцем, что дает любовь и жизнь телу, хотя само оно всегда остается невидимым.

Впрочем, этот монастырь имел долгую традицию и длительный опыт в принятии и сохранении таких беззаветных жертв. Кармелитское затворничество — когда

его понимают и любят — основано именно для этого. Чтобы это постичь, достаточно пронаблюдать, каким образом Тереза Маргарита была воспитана во время своего послушничества.

Если бы ситуация была нормальной, то у нее была бы наставница, которая терпеливо и мудро ввела бы ее в понимание монашеской жизни, и девушка смогла бы на живом примере познать всю сущность кармелитского призвания и все правила, в которых оно выражается.

Во Флорентийском монастыре наставнице послушниц было семьдесят восемь лет: великолепный педагог, она была одарена высокой духовностью и известна своей строгостью, но кроме того, что она была старой, она была еще и очень больна.

Попытаемся вообразить себе эту ситуацию: наставница должна во всем сформировать эту девушку, которая просит, чтобы ее сделали настоящей кармелиткой, но с другой стороны именно она, педагог, нуждается во всем: ее необходимо поддерживать, когда она поднимается или спускается по лестнице; надо каждый день перевязывать ее покрытые язвами ноги; она нуждается в помощи утром, вечером и даже в ночные часы для удовлетворения самых смиренных и деликатных нужд.

Поэтому настоятельница поручает Терезе Маргарите ухаживать за наставницей в качестве сиделки; это было самое простое решение, так как, согласно Уставу, они должны были проводить много времени вместе, — но также и самое опасное.

Все мы знаем, насколько легко старые и больные люди могут попасть под влияние тех, кто за ними ухаживает, и насколько легко сиделка может подчинить себе того, кто нуждается во всем.

Но там, в кармелитском монастыре, встретились две исключительные души: наставница (Мария Тереза Гуадани, сестра знаменитого в те годы кардинала) понима-

ла, что от этой юной и пылкой девушки следовало требовать многого, — всего. А Тереза Маргарита Реди хотела все отдать.

Следовательно, наставница, хотя она и чувствовала бесконечную нежность к своей великодушной послушнице-сиделке, не давала ей поблажки ровно ни в чем: не пропускала незамеченной ни одной ее ошибки, невнимательности, неосторожности. Все замечали, что она нарочно искала поводов, чтобы ее поправить и что она действительно была слишком требовательна.

Тереза Маргарита умножала свои заботы и свою предупредительность, сохраняя в сердце и на устах благоговейное восклицание, которому научилась из древних традиций кармелитского ордена: «*Hic est Christus meus*» — (лат.) «Это мой Христос» говорит со мной, поправляет меня, увещевает меня, это Он требователен к моей любви.

В результате она была способна предупредить каждую просьбу наставницы еще прежде, чем та ее высказывала; помочь — прежде, чем ее просили о помощи и просить прощения прежде, чем ошибка была замечена.

Иногда какая-нибудь из сестер говорила наставнице, что эта ее строгость была излишней, но старая воспитательница отвечала: «Я бы так не поступала, если бы не была уверена в ней».

Иногда она признавалась самым пожилым сестрам: «У меня четыре послушницы, и я знаю сердце каждой, но если бы я хотела просить чуда у нашего Господа, то прибегла бы к сестре Терезе Маргарите, ибо она одарена такой редкой невинностью, что это приводит меня в изумление».

Так Тереза Маргарита и провела все то время, что была послушницей: с одной стороны она впитывала в себя нормальный ритм монашеской жизни, с другой — училась познавать Бога, Его любовь, Его волю, духовные

уроки в этой возвышенной встрече двух великих душ, ни в чем себя не щадивших.

В намерениях Бога эта столь необычайная ситуация должна была подготовить молодую монахиню к особенному призванию.

Действительно, в кармелитской традиции Тереза Маргарита останется как «святая сиделка», — это не совсем характерное звание для ордена, посвященного исключительно созерцательной жизни. Но эта оригинальность должна была служить двойной цели:

— с одной стороны, она должна была дать Церкви пример того, как могут быть совмещены самый всеобъемлющий созерцательный опыт и самое изнурительное служение страдающим членам Христа;

— с другой стороны, она должна была погрузиться в мистическую драму, неслыханную глубину которой мы вскоре увидим.

Прежде всего Тереза Маргарита была добровольной сиделкой: она поступила в монастырь, чтобы искать только Бога; поняла, что Бог желал явиться ей в этих престарелых сестрах, которые заболели одна за другой, и она по своей инициативе просила, чтобы ей позволили ухаживать за ними.

Кармелитский монастырь, в котором не насчитывается и двадцати монахинь, — это, повторим, маленький мир, где ответственность и обязанности аккуратно распределяются таким образом, чтобы все функционировало гармонично и эффективно. Время мудро распределено между молитвой и работой всех монахинь.

Если одна из них заболела, то другие должны взять на себя не только тяготы необходимого ухода за ней, но также и обязанности, которые больная пока что не в состоянии выполнять. Часто лишь необыкновенные душевные силы и самопожертвование позволяют делать

это с радостью, не причинив ущерба тому первенству, которое должно оставаться за молитвой и внутренним молчанием.

Поэтому нетрудно себе представить, что происходило в монастыре Терезы Маргариты в тот год, когда одновременно более десяти монахинь серьезно заболели: она взяла на себя уход за всеми больными с такой естественностью, что остальные в конце концов сочли этот необыкновенный поступок чем-то совершенно нормальным.

Фактически для нее это означало отказ от единого мгновения свободного времени.

Была, например, восьмидесятилетняя старушка, которую болезнь сделала обидчивой и раздражительной, да к тому же еще и несносной из-за ее бесконечных мелочных требований. И так как она была монахиней, то у нее были не только физические, но еще и духовные потребности: например, она требовала не только ухода за ее старым телом, но прежде всего внимания к ее утомленному духу. Поэтому она считала нормальным, чтобы сиделка занимала ее духовным чтением, поскольку сама она плохо видела, и чтобы та помогала ей молиться.

Тереза Маргарита ухаживала за ней с таким самозабвением, что старушка была очень довольна и говорила, что никогда еще не встречала другой такой сиделки. В общине заметили, что больная сделалась «так весела, как будто бы полностью переменялась ее натура...» И когда наставница спросила у девушки, как ей это удалось, та просто ответила, что, зная, насколько больная взыскательна, «она предала ее в руки Божьи, а всю заботу о ней — Пресвятой Деве Марии».

Примеры можно было бы приводить без конца, и не было недостатка в эпизодах, похожих по духу на францисканские благочестивые поступки.

Однажды в опустевшей трапезной осталась страдающая монахиня, которая переминает во рту свою убогую пищу и не может ее разжевать из-за мучающей ее сильной зубной боли. Это наследственная болезнь, которой она страдает с детства. Сейчас боль так обострилась, что уже несколько дней она почти не в состоянии есть и плачет от огорчения. Тереза Маргерита, которая прислуживала за столом и последней осталась в трапезной, подходит к ней, смотрит на нее с сочувствием; разумеется, у нее нет лекарства, чтобы дать больной, и она не знает, что сказать; напротив, она и не должна говорить, так как в кармелитанском монастыре действует правило молчания. Но, кажется, она забыла о нем: «Бедная, — говорит она, — вам очень больно, и потому вы не можете есть». Потом вдруг наклоняется и целует ее в больную щеку. Бедняжка чувствует ужасную боль, которая, однако, тут же проходит — навсегда. Она проживет еще долгие годы, но никогда больше не будет страдать от зубной боли.

Этот случай наделал столько шума, что о нем говорят даже за пределами монастыря, но Тереза Маргарита сконфужена, ибо она дважды нарушила Устав: говоря в то время, когда правила предписывают соблюдать молчание, и позволив себе проявление сердечности, несвойственное для затворниц; поэтому она просит прощения у настоятельницы.

Всем известно, что другая больная старушка изрядно глуха и что у нее очень слабый голос. Как и другие, она хочет, чтобы за ней ухаживала только сестра Тереза Маргерита, хотя та и обременена уже столькими обязанностями. Настоятельница вынуждена уступить, — хоть и скрепя сердце, сознавая, что перегружает эту несчастную сиделку. Но вот вся община, затаив дыхание, следит за тем, что происходит.

Старая монахиня так глуха, что ей не удается добиться взаимопонимания даже с духовником, и на исповеди

она пользуется слуховым рожком. А с сиделкой спокойно разговаривает безо всякого инструмента. Мало того — когда Тереза Маргарита находится от нее на расстоянии, ухаживая за другими больными, подопечная слабо зовет ее, та слышит и издалека, не повышая голоса, отвечает ей. Несчастная глухая внимает и успокаивается.

Когда подходит ее очередь, она позволяет обслужить себя во всех своих нуждах. После того, как ее привели в порядок и приподняли на подушках, довольная, она говорит: «А теперь расскажите мне про Иисуса!»

Однажды тайно от обеих монахинь в комнате по соседству находился священник, который пришел причастить больную. Более того, его нарочно заставили ждать, чтобы он мог все это услышать: Тереза Маргарита подсказывала больной слова актов веры и предания себя Богу, увещевала ее представить Ему все свои страдания и прежде всего побудила ее повторить акты любви и надежды.

«Я должен был сдерживаться, чтобы не заплакать», — рассказывал после священник и добавлял, что многие цекровнослужители должны были бы поучиться у Реди, как нужно наставлять больных и умирающих.

Затем была сестра, больная глазами, которые следовало лечить с бесконечным терпением; другая, страдавшая припадками судорог, которую надо было с нежностью успокаивать; та, что ждала, пока ей разведут огонь в келье, и та, которой необходимо было каждый вечер растирать онемевшие сутавы.

Монахиня-сиделка маленького лазарета: все то не-мное время, что ей оставалось, было посвящено молитве и личному общению с Богом.

До этого момента впечатление, оставляемое нашим рассказом — это героическое самопожертвование ради ближнего и Бога в едином порыве человеколюбия.

Но все это скрывало, как мы уже говорили, мистическую драму, глубина которой будет все время от нас ускользать.

Мы можем только слегка коснуться ее, попытавшись дать здесь хотя бы некоторые пояснения.

Речь идет вот о чем: Тереза Маргарита извлекла из своего почитания Святейшего Сердца христианскую норму поведения, которую она пылко формулировала таким образом: «надо воздать любовью за любовь».

И поскольку Иисус нас возлюбил, страдая за нас, то мы должны страдать за Него.

Не нужно было ничего изобретать: больные ее общины для нее воплощали собой эти два движения любви и крестной муки: они были для нее образом Христа, который страдал, а она, чтобы любить Его, должна была с радостью принять на себя тяжкое бремя служения.

Она говорила: «Он на кресте за меня, а я на кресте за Него».

Это был идеал, которому она навсегда посвятила себя. И заключила с другой послушницей договор взаимной помощи в этом «состязании любви»: каждая должна была указывать другой, когда замечала какой-нибудь недостаток любви, и если еще оставалось место и способы, в которых любовь могла быть проявлена, и если оставалось еще что-то, что в любви могло быть «более совершенно».

Духовник Терезы видел, как она возрастала в этой божественной любви, как будто бы ее сжигал внутренний пожар, до такой степени, что казалось, будто бы она коснулась глубинной сущности этого пламени.

Девушке было всего двадцать лет. В то воскресенье в хоре во время литургии часов прозвучали латинские слова: *Deus Caritas est, et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo* («Бог есть любовь. Кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем»). Несом-

ненно, Тереза Маргарита часто слышала их, но на этот раз казалось одержимой: несколько дней она была как в бреду, окружающие видели, как она шевелила губами, и понимали, что она повторяла те слова, как бы без конца смакуя их. Ничто не могло ее отвлечь. Позвали духовника, опасаясь, что речь идет об истерическом припадке. После того, как он долго слушал ее в тиши исповедальни, он лишь сказал монахиням: «Я бы хотел, чтобы вы все были больны той болезнью, которую я нашел у сестры Терезы Маргариты».

Когда она смогла объясниться, то рассказала, что мысль «жить в жизни Божьей» и что «Бог живет в ней», и что «есть единая жизнь, единая любовь, единый Бог!» — эта мысль! — преполнила ее невыразимой радостью, — такой радостью, что не было больше места для чего-либо другого.

И здесь начинается драма: с этого момента, когда она, казалось, приблизилась к самому сердцу Божества, Бог отнимает у нее всякое «ощущение любви». Она еще чувствует безграничное желание любить Бога, но эта любовь кажется ей чем-то таким, чего она совершенно лишена. Она чувствует себя бесконечно далекой от всего того, что есть любовь, бесконечно недостойной. Она не любит Бога, она никогда его не любила! И это — безудержный плач, как будто бы вся ее жизнь обратилась в тоску оттого, что она лишена Бога.

Люди, сведущие в «мистической жизни», знают, о чем идет речь. Допуская это ужасное испытание, Бог ставит перед собой две цели высочайшей любви.

— С одной стороны он отнимает у своего создания малейшую тень эгоизма. «Многие, — поясняет святой Франциск Сальский, — вместо того, чтобы любить Бога с тем, чтобы доставить Ему радость, любят Его за утешения, которые испытывают в Его святой Любви... Вместо

того, чтобы любить Бога, они любят любовь, которую чувствуют к Нему...»

Церковь не стала дожидаться современных психоаналитиков, чтобы исследовать глубины сознания и обнаружить в них эгоизм, который таится за всякой любовью, — какой бы святой она ни казалась, — и всегда предупреждала истинно любящих Бога, что мистический путь ведет вглубь самой темной ночи, ибо лишь там возможно увидеть восход Солнца во всем его сияющем бескорыстии.

— С другой стороны — так Бог желает объяснить душам, которые больше других Его любят (и которые Он любит больше всех прочих), одну из самых глубоких Своих тайн: что Он никогда не забывает людей, которые, кажется, погибли в не-любви, в самой страшной отдаленности от Него, во власти неверия и смерти: и потому Он не бережет своих избранных, не щадит их, «отдает их», — как Он поступил и со своим Сыном, — чтобы они дошли до погибших, разделили их тоску и даже обогнали их (чтобы затем их ждать!): сделавшись во всем им подобными, кроме греха. Таким образом, они бесконечно любят тогда, когда, кажется, наиболее безнадежно лишены любви: в том числе и за тех, кто лишен ее в самом деле.

Как приняла подобное испытание эта двадцатилетняя девушка, которая могла бы стать всего лишь грациозной дамой восемнадцатого века, если бы пламя Божие не охватило ее?

Тереза Маргарита решила броситься с головой в ту единственную любовь, что была ей доступна: зная из своей веры, что Бог соединил вместе две великие заповеди (любовь к Нему и любовь к ближнему), она решила любить ближнего — тех больных, что были там, перед ней и требовали, чтобы их любили, — и любить их божественно.

По всеобщему признанию, она уже делала больше, чем можно было ожидать от молодой девушки. Она прибавила к этому полную готовность. Она ни от чего больше не уклонялась.

Она хотела быть уверена в том, что любит, никогда не выходить из повиновения любви. У нее не было другой возможности, поскольку сам Бог, казалось, скрывался за лицами ее больных!

И так как Он действительно отвечает, когда создание приносит себя Ему в жертву, то на ее долю выпало последнее, мучительное испытание, когда одна из более молодых сестер заболела шизофренией с периодическими буйными припадками.

Уход за ней был повседневной мукой прежде всего потому, что ее никогда невозможно было понять; Тереза Маргарита могла бы избавить себя от этой дополнительной трудности, поскольку уже была сиделка, которой было поручено за ней ухаживать.

Но она добровольно предложила свои услуги, вначале попросив разрешения помогать в самые трудные моменты. До тех пор, пока постепенно и это тяжелое бремя не легло на ее плечи.

Самый беспокойный момент наступал, когда надо было комить больную. У бедняжки была странная манера: она требовала блюда, приготовленные определенным образом, но затем, когда все было с великим трудом приготовлено и принесено в ее комнату, она уже забывала свои прежние требования и выдвигала другие. Иногда тарелки летели в бедную сиделку. Надо было начинать все с начала. Как правило, требовалось не менее трех часов в день, чтобы покормить ее.

Затем были бесконечные стенания и припадки: чтобы успокоить ее, надо было долго беседовать с ней и рассказывать ей что-нибудь веселое и безмятежное. Каждый раз были новые страхи, поскольку никогда не было изве-

стно, как реагирует душевнобольная. Кроме того, следовало считаться и с другими сестрами, которые не всегда одобряли то, как с ней обращались: одни настаивали на твердости, а другие рекомендовали снисходительность.

Перед тем, как войти в келью больной, Тереза Маргарита ненадолго преклоняла колена перед изображением Святой Девы, моля послать ей мужество и уверенность. После этого она готова была все принять: от грубых и яростных оскорблений до «необходимости бегать туда-сюда, почти не преводя дыхания, чтобы попытаться удовлетворить больную в той мере, в которой это от нее зависело... и никогда не проявляла ни малейшей усталости или досады». Таково авторитетное свидетельство, которое оставил для канонического процесса духовник Терезы Маргариты, добавив: «она никогда никому не пожаловалась, даже мне», — хотя он, зная ситуацию, сложившуюся в общине, — расспрашивал ее об этом.

Сказать по правде, однажды ей пришлось поспешно убежать, так как сумасшедшая пыталась побить ее. Вся дрожа, она спряталась в келье одной из сестер и не сдержалась: «Не могу больше!». Вечером она просила прощения у всей общины за скандал, устроенный помешанной, как будто бы она тяжело согрешила.

И поскольку в те дни больная была особенно сильно напугана и не хотела оставаться одна, то она перенесла свою кровать в ее келью и провела там более десяти ночей.

Тем, кто спрашивал, не было ли ей страшно так часто оставаться с ней недине, она отвечала, что когда та впадала в буйство, ей достаточно было «мысленно призвать двух ангелов-хранителей, — своего и ангела душевнобольной, и та тотчас же отступала, по крайней мере, от самых опасных угроз».

Правы были ее подруги-послушницы, которые видели ее всегда сдержанной и спокойной, и даже сосредоточенной, невзирая на суматоху, в которую она была погру-

жена, и говорили, что Бита (ей дали это ласковое тосканское прозвище) «всегда занята беседой с ангелочками».

Кое-кто даже увещевал ее не заботиться так об этой сумасшедшей, которая того не стоила; но она отвечала: «Послушание доверило ее мне, и я не могу отступить».

Ее человеколюбие по отношению к несчастной было столь безгранично, что она решила «никогда не вступать в разговоры о ней».

В самом деле, все будут единодушны, свидетельствуя, что никогда не слышали из ее уст ни одного слова, ни одного замечания, ни одного рассказа, которые не были бы полны любви, сочувствия и даже уважения по отношению к этой сестре, столь тяжело пораженной в рассудке.

«Она избегала любого случая, когда мы могли бы ей посочувствовать», — говорили впоследствии сестры. И вот свидетельство одной из них: «Она обладала великодушием в самом высоком значении этого слова... и никогда ни я, ни другие не замечали за ней ни одного слова, ни одного жеста, противоположных этой святой добродетели».

И однако же, все знали, что у нее был «живой и пылкий характер», и в начале ее монашеской жизни часто видели, как она сильно краснела, пытаясь овладеть собой перед лицом какой-нибудь неприятности.

Но теперь она внутренне горела от любви, которую любой ценой хотела выразить своему Богу, — а Он, казалось, прятался и все же так явно присутствовал в доведенных до крайности страданиях сестры, лишенной рассудка.

Ей было всего двадцать два года. Хотя она и вела жизнь, полную тяжелого труда и самопожертвования, казалось, что ее здоровье не страдало от этого. Но раз, вечером, когда она, как обычно, обходила больных, силь-

ный приступ колита согнул ее почти до земли. Прибежали сестры и помогли ей лечь на соломенный тюфяк. Пока ждали врача, Тереза Маргерита попросила, чтобы все прочли вместе с ней пять раз «Gloria Patri» (лат.: *Слава Отцу...*) в честь Пресвятого Сердца. Врач не придавал большого значения происшедшему; он прописал кое-какие лекарства и сказал, что придет еще. Боль была нестерпима, но и на следующий день врач повторял, что «это неопасная болезнь».

В действительности это — перитонит и уже начавшаяся гангрена.

Она лежит на своей постели. Пытается, как и всегда во время отдыха, лежать, повернувшись в сторону часовни, где находятся Святые Дары. Она молится, обратившись к изображению Святейшего Сердца и прижимает его к груди. Потом возвращает его назад, из опасения измять его. Сжимает в руках Распятие и подолгу целует его с невыразимой нежностью. Никто не отдает себе отчета в том, что она умирает. После обеда наступает внезапный обморок. Удастся напутствовать ее таинствами в последний момент, когда она, возможно, уже мертва.

Она была самой молодой, самой сильной, самой здоровой, — той, что ухаживала за старыми и больными телами стольких сестер. Ее монашеская жизнь продлилась всего пять лет.

И вот, она лежит: ее тело измождено и потемнело, так что кажется, будто оно уже начало разлагаться. Многим монахиням делается дурно от горя.

На следующий день должны были состояться похороны. Ночью ее тело отнесли в монастырское подземелье для скорого погребения.

Там было сыро и печально. Но вдруг тело, вопреки всем ожиданиям, вдруг вновь сделалось красивым, мо-

лодым, как живое. Погребение отложили в ожидании, чтобы архиепископ решил, как поступить. А тем временем в подземелье распространился необыкновенный аромат, который ощущали все, кто туда входил.

Когда шестнадцать дней спустя приехал архиепископ в сопровождении четырех врачей, то он нашел «тело гибким, глаза влажными, цвет кожи совершенно здоровым, в том числе и подошвы ног — розовыми, как будто бы она много ходила до того самого момента, — в общем, кажется, что она спит...»

«Как будто бы она много ходила...»; в самом деле, это была созерцательница, которая всегда находилась в пути: она шла по длинным коридорам монастыря, чтобы поспешить на помощь своим больным. Именно этой милости она просила у Бога: «умереть сиделкой».

Это тело нетленно и в наши дни. А монахини, начиная с первого заупокойного богослужения, почти не отдавая себе в этом отчета, пели не «Часы по усопшим», а «Литургию о Святых Девах».

В доме Реди ее отец Иньяццо получил на память Распятие, которое дочь, умирая, сжимала в руках. И от этого Распятия, точнее от раны в груди Распятого, исходил тот же сильный аромат, который чувствовали монахини. И он ощутил аромат впервые, ибо всю жизнь до того момента был лишен обоняния.

Это было маленькое чудо, — маленький дар, который Аннина сделала тому, кто воспитал ее в вере.

Зели Герэн

[мать Святой Терезы Младенца Иисуса]

(1831-1877гг.)

Зели Герэн и Луи Мартэн¹ — родители святой Терезы Младенца Иисуса, — той, которую восторженно называют «самой любимой девушкой в мире» и «самой великой святой современности».

Тереза умерла в 1897 году и была канонизирована в 1925 году. Узнав и полюбив ее, христианский мир узнал и полюбил также и ее семью, особенно ее отца и мать.

Это случилось не только по причине их родства, но более из-за того послания, которое принесла в мир молодая кармелитка.

Тереза говорила миру о «церковном детстве». Это выражение следует предпочесть традиционной формулировке «духовное детство», так как оно точнее передает детство всей Церкви, рождающейся через Христа, — и предназначенной для Него, как была предназначена для Него Дева Мария, зачатая непорочной, — и детство отдельной «христианской души», сотворенной небесным

¹ Хотя мы и посвящаем два разных биографических очерка Зели Герэн и Луи Мартэну, события их молодости и их семейной жизни рассказаны здесь. Затем повествование будет касаться одной Зели, которая умерла на четырнадцать лет раньше мужа. Биографический очерк, посвященный Луи Мартэну уделит особое внимание его отношениям с Терезой и с другими дочерьми после смерти жены.

Отцом, и от вечности предназначенной для божественного Сына, воплотившегося из любви к нам.

Эту истину «маленькая Тереза» осознала и испытала на себе в своей семье и в своем детстве, в которых она жила и которые воспринимала на уровне таинства.

«История одной души» (таково название автобиографии, благодаря которой она стала известна во всем мире) — это, по большей части, собрание ее детских воспоминаний.

Поражает то, что эти воспоминания еще и в наши дни исследуют — с разной степенью восприимчивости — богословы, духовные писатели, романисты, режиссеры, психоаналитики, пытаясь понять их тайну, продолжаящую очаровывать.

Вследствие этого Луи и Зели Мартэн также тысячи и тысячи раз подверглись изучению, и по отношению к ним не было недостатка в, порой уничижительном и безжалостном, анализе. Церковь же пришла к выводу, что необходимо признать также святость их жизни.

Канонические процессы, касающиеся их жизни, еще не завершены, но уже признано самое главное: они героически воплотили в жизнь свою веру, то есть — с полной и глубокой щедростью, которая может быть предложена христианам в качестве примера для подражания.

Любое суждение, вынесенное о Луи и Зели Мартэн, все же некоторым образом авторитетно предваряется тем, что о них писала их святая дочь:

«Господь дал мне отца и мать, достойных больше неба, чем земли. Я имела счастье принадлежать несравненным родителям». «Бог дал мне родиться на святой земле».

Мы еще вернемся к суждениям Терезы, теперь же подчеркнем только этот кажущийся парадокс: Тереза никогда не чувствовала себя святой, но она всегда чувствовала себя дочерью святых. Ее учение о «церковном детстве» уходит своими корнями и в это сознание.

С другой стороны, это суждение разделяли и родственники, хотя, как известно, родственники часто бывают критичнее, чем кто-либо другой. Невестка Зели и Луи Мартэнов несколько лет спустя напишет племяннице, уже поступившей в монастырь кармелиток: «Правда то, моя маленькая Тереза, что твои родители — из тех, кого можно назвать святыми и кто заслуживает того, чтобы порождать святых». (Письмо от 16 ноября 1891 года).

История этих двух супругов — странная во многих отношениях. Или, лучше сказать, она до такой степени нормальна в христианском смысле, что кажется странной всем тем, кто считает веру второстепенным фактором своего существования.

Действующие лица, события, сделанный выбор непременно покажутся «странными» тому, кто не привык повседневно рассуждать, исходя из позиций веры.

Начиная рассказ, мы не опасаемся признать тот факт, что супруги Мартэн были детьми своего времени, — детьми того XIX века, о котором часто высказывалось неблагоприятное мнение. Кто-то назвал его «глупым веком»; еще кто-то сказал, что для христианства это было «время духовного сна и морализирующего вырождения», из которых Тереза вырвалась силой.

Действительность, как всегда, намного сложнее.

Если с одной стороны религиозность того времени, и прежде всего во Франции, была пронизана янсенизмом и морализмом, и если справедливо утверждение, что верующие стремились укрыться в крепости своей веры и жить «защищаясь», то с другой стороны не следует забывать, что Церковь во Франции подверглась тогда одному из самых неистовых за всю свою историю нападений.

Антиклерикализм поставил себе целью полную профанацию жизни и мира. В этой связи программируется отрыв Церкви от структур общества; самоутверждается вездесущая власть международного масонства, которое

считает себя анти-церковью и действует в этом качестве; разворачивается систематическая и глумливая борьба против всякого католического учения и всякого католического предписания; распространяется повседневная антирелигиозность, которая прежде всего разлагает семьи; мир становится свидетелем все более решительного наступления воинствующего атеизма.

«Организовать мир без Бога» — вот цель, которая преследуется в середине XIX века, именно в тот момент, когда создается впечатление, что «Наука» в конце концов предлагает себя в качестве замены любой возможной религии.

Самые серьезные проблемы нашего XX века, вплоть до наших дней, берут свои горькие корни оттуда.

Все это необходимо иметь ввиду, прежде чем оценивать некоторые аспекты религиозной жизни того времени, которые, как сегодня кому-то может показаться, отдают «мелкобуржуазной замкнутостью», «сентиментальным перегревом», «уходом в мистику», «бесплотностью» и «безропотной покорностью».

Все это может быть внешней оболочкой, но за ней иногда стоит решение бороться, желание полноты и обостренная восприимчивость к «духовным» и вечным ценностям. Это предпосылка, из которой рождаются святые того времени, в которых, слава Богу, нет недостатка.

С другой стороны любой христианин должен стать святым в «своем времени».

От кого-то Бог требует опередить будущие времена и подготовить их: в этом состоит миссия Терезы из Лизье. С этой точки зрения верно то, что по своей восприимчивости она явно отличается от членов своей собственной семьи.

Но от ее родителей Бог потребовал подготовить для нее — для девочки и ее нового послания — домашний очаг, способный сохранить ростки этой новизны.

Поэтому нет смысла тратить время на поиск несуществующих психологических и духовных конфликтов между дочерью и родителями.

Той задаче, которую доверило им Провидение, родители посвятили себя в соответствии со своими возможностями, создав для девочки полностью христианский мир — оазис, если хотите — именно в тот момент, когда XIX век входил в свою последнюю четверть, — период, наиболее сильно проникнутый горделивой наукой, и как никогда больной надменным антиклерикализмом.

Итак, вернемся к объяснению того, почему история супругов Мартэн должна была тогда — и еще более сейчас — казаться странной.

Прежде всего оба они в молодости почувствовали желание посвятить себя Господу и остались отмечены этим желанием на всю жизнь. Более того, оно наполнило все их существование, как и созданную ими семью чем-то таким, что Тереза называла «девственным благоуханием».

Луи Мартэн — человек задумчивый и идеалист, который тем не менее в одинаковой степени любит тишину и приключения, созерцательное удаление от мира и путешествия в незнакомые страны, математическую точность и романтическую литературу. В двадцать два года он поднимается на Гран Сен-Бернар, что в Швейцарских Альпах, и просит принять его в число монахов, которые проводят жизнь, вознося хвалу Богу и помогая путешественникам, попавшим в беду.

Зели Герэн — напротив, девушка порывистая и увлеченная работой: в девятнадцать лет она просит принять ее в Отель-Дё в Алансоне, в число «дочерей Милосердия», чтобы посвятить себя Богу, занимаясь уходом за больными.

Обоим отказано: Луи — потому, что он не знает латыни, которую тогда считали основополагающей для

вступления в монашескую жизнь; Зели — оттого что у нее слабое здоровье.

Так Луи выбирает профессию часовщика, занимаясь которой, он проводит долгие часы в своей мастерской точности, а также становится владельцем ювелирного магазинчика; а Зели делается мастерицей по изготовлению знаменитых «алансонских кружев», которые тогда пользовались большим спросом, так что ей удалось организовать собственную мелкую торговлю.

Они знакомятся, когда Луи уже тридцать пять лет, а Зели — двадцать семь, и оба убеждены, что должны провести свою жизнь в безмолвном и личном посвящении Богу в мире.

Однако, с первой встречи они почувствовали, что предназначены друг для друга. Зели будет рассказывать дочерям, что, встретив на мосту Сен-Леонар этого изысканного господина, которому суждено было стать их отцом, она услышала в своем сердце голос, говоривший ей: «Вот тот, кого я приготовила для тебя». И рассказывала это, будучи убеждена, что слышала голос Богоматери. И это было не впервые...

Они поженились три месяца спустя в полночь, — по обычаю тех, кто желал церемонии в тесном кругу, погруженной в молитву.

Соединив свои жизни, они объединили и свои мастерские, которые обе в одинаковой степени требовали фантазии и бесконечного терпения.

Зели вышла замуж с желанием иметь «много детей», но — как случалось тогда почти со всеми девушками из буржуазных семей, — она вступила в брак, полностью лишенная какого бы то ни было сексуального воспитания. Перед лицом открывавшейся перед ней сексуальности стремление к жизни, посвященной Богу, вновь дало о себе знать непреодолимым образом.

Луи со своей стороны тщательно подготовился к таинству, которое он должен был принять. Среди его бумаг была найдена запись, в которой подчеркивается особенный аспект учения Церкви: брак, в котором хотят сексуальной активности, но не хотят детей — недействителен; напротив, является настоящим браком тот, в котором оба супруга приходят к соглашению «культивировать близость сердец и духа, отказываясь при этом от физического союза, который тем не менее был бы для них позволительным».

В этом смысле брак Богоматери и святого Иосифа был настоящим браком, в этом же смысле в истории Церкви были некоторые святые супруги, которые почувствовали себя призванными к этой совершенно особенной форме брачного союза. Таким был, например, в нашем веке брак между Жаком и Райсой Маритэн, человеческое и духовное величие которых общепризнано.

Конечно же, это не тот опыт, который можно советовать кому угодно, и, возможно, он даже не должен быть рекомендован. Но он не невозможен и не лишен смысла. Тем более, что брачный союз Луи и Зели Мартэн привился на предшествовавшем ему общем для обоих девственном призвании.

Луи со своей стороны уже думал о такой возможности и посчитал знаком крайнее затруднение Зели. Поэтому они решили жить как брат и сестра.

Что речь здесь шла не об эгоизме, доказывает тот факт, что они тут же поспешили принять на постоянное жительство в свой дом ребенка из многодетной семьи, оставшейся без матери.

Прошло много месяцев; затем их духовник вмешался своими мудрыми советами. Он помог Зели понять, что таинство брака простирается так далеко, что освящает и сексуальность, и что ее желание иметь детей требует здоровой и естественной сексуальной встречи.

Нам нет необходимости строить предположения для того, чтобы проследить за этой столь деликатной духовной историей. Перед нами то, что рассказала сама Зели в обстановке особой доверительности.

4 марта 1877 года. Зели, которая уже очень больна, остается не более шести месяцев жизни. В письме к своей любимой дочери Полин она рассказывает о том первом дне свадьбы так, как будто в конце своей земной истории она обернулась назад, будучи теперь, издалека, способной разглядеть священную тайну, заключенную в ней.

«В тот день, — пишет она, — я выплакала все слезы, я плакала больше, чем когда-либо прежде и больше, чем когда-либо еще буду плакать. Та бедная сестра не знала, как меня утешить. Не то чтобы мне было неприятно видеть ее там, в монастыре, — как раз напротив: я бы тоже хотела там быть; я сравнивала мою жизнь с ее, и слезы лились еще сильнее... Я чувствовала себя такой несчастной оттого, что жила в миру; я бы хотела скрыть мою жизнь вместе с ее жизнью.

Ты, что так любишь твоего отца, моя дорогая Полин, — подумаешь, что я причиняла ему огорчение и что я причиняла его ему в день моей свадьбы. Но нет: он понимал меня и утешал, как мог, потому что у него были такие же вкусы, как и у меня; я даже думаю, что наша взаимная привязанность именно таким образом возросла, и наши чувства всегда звучали в унисон, и он всегда был для меня утешителем и опорой.

Но когда у нас появились наши детки, наши идеи немного изменились; мы жили теперь только для них, это было наше счастье, и мы всегда находили его только в них. В общем, все нам очень легко удавалось, мир больше не был для нас обузой. Для меня это была большая награда, поэтому я хотела иметь их много, чтобы растить их для Неба».

Этот рассказ заслуживает того, чтобы надолго призадуматься над ним. Тот факт, что он кажется далеким от обычного опыта наших молодых семей, не должен вводить нас в заблуждение.

В действительности речь идет об образцовом опыте, в котором тотчас же, с впечатляющей яркостью проявляются те аспекты супружеской жизни, которые для многих остаются и всегда будут оставаться туманными. Но многие семьи, сами того не зная, страдают именно из-за этой никогда не рассеивающейся туманности.

Все должно бы начинаться в юные годы, с того открытия, что человеческое сердце создано для абсолюта, и ничто никогда не сможет насытить его, кроме одного только Бога: существует в душе бесконечное одиночество, которое никогда не может быть заполнено сотворенными существами, даже самыми любимыми. И это — первоначальное «призвание к целомудрию», которое все рано или поздно должны ощутить, а иначе они вечно будут блуждать на поверхности собственного существа.

Тот, кто затем узнает и полюбит Сына Божьего, ставшего человеком, с томлением поймет, что это первоначальное целомудрие должно с любовью и конкретным образом обратиться к Нему: только тогда рождается «христианин».

Это изначальное христианское призвание обычно прививается в благословленном Церковью браке, но иногда оно стремится реализоваться — именно как целомудрие — в конкретных формах жизни, которые Церковь признает и освящает. В них непосредственная направленность сердца ко Христу становится также «видимой историей»: время, обстановка, силы, мысли, привязанности и деятельность, — все в них организовано «для Него и для того, что Ему принадлежит».

В этом смысле монастырь всегда, для любого христианина достоин «слез желания», даже когда призвание не ведет нас на эту священную территорию.

Супруги не должны избегать этого изначального желания.

Святые братские отношения между Луи и Зели — хотя и обусловленные некоторыми страхами и непониманием — таким образом обладали идеальностью и истинностью, которые рано или поздно вновь предстают перед всеми христианскими супругами по мере того, как освященное единение являет свою силу и свое святое происхождение.

Не лишено значения то, о чем так пронизательно свидетельствует Зели: даже в самой этой первой незавершенности они увидели, как их любовь возросла до созвучия их сердец. Это то, чего многие пары никогда не испытывают, даже многократно повторяя физические жесты, предназначение которых — сделать их «одной плотью».

Но теперь наше повествование должно сосредоточиться почти исключительно на личности матери, которую Тереза знала только в самые первые годы своей жизни.

«Господь Бог дал мне благодать очень рано проявить мои мыслительные способности... Конечно же, Он хотел, в своей любви, дать мне возможность узнать ту несравненную мать, которой он меня наделил, но которую Его божественная рука спешила увенчать на небесах!..»

Именно по отношению к детям супруги Мартэн реализовали свое собственное целомудрие: именно потому, что дети были для них повседневно и во всей полноте «сферой счастья и боли», они были признаны в их окончательной принадлежности Богу Отцу и любимы ради их окончательной судьбы.

Зели и Луи Мартэны имели девятерых детей: двух мальчиков и семь девочек. Тереза была последней; она родилась, когда ее мать уже знала, что страдает опухолью груди.

Ту истину, что дети принадлежат Богу, супруги Мартэн испытывали на себе день за днем, учась смиряться с тем жестоким чередованием рождений и смертей, болезней и выздоровлений, рецидивов и улучшений, которые тогда были уделом детства.

В наши дни семьи знакомы с неизбежным рядом болезней, которым подвержены их дети, но в их распоряжении есть врачи и всевозможные лекарства, и эта битва почти всегда заканчивается победой.

Совсем иначе было в прошлом веке, когда сами роды уже были большим риском и оставляли детей обессиленными, а многочисленные болезни невозможно было даже распознать: против кишечных болезней были только домашние средства; бронхиты затягивались на месяцы, и их лечили, накладывая пластыри на спину; рожистое воспаление было очень опасно, и достаточно было какой-нибудь краснухи, чтобы умерло пол-квартала. И чаще других был диагноз «болезнь от упадка сил», который ничего не означал кроме того, что ребенок умирал по неизвестной причине.

У Зели умерли два мальчика и девочка: все на первом году жизни.

Еще одна девочка, самая любимая, умерла в пять лет. Выжили пять девочек. Тереза в младенчестве не раз бывала при смерти, но проявила невероятную волю к жизни.

Те, кого это интересует, в наши дни имеют в своем распоряжении «Переписку» Зели для того, чтобы, почти что слушая ее, отдать себе отчет в том, как эта мать пережила рождение и рост своих малышей: среди неопишуемых радостей и невыразимых мук, заботясь о вос-

питании и лелея склонности каждого, по-прежнему руководя при этом кружевной мастерской, которая держала ее на ногах с четырех часов утра до одиннадцати вечера.

Это страницы муки и нежности, в которых проступает все то же «целомудрие» (то есть вера, направленность сердца к Богу, ожидание Неба), о котором мы уже говорили.

Мы должны сделать выбор прежде всего из страниц муки.

Вот ее рассказ о смерти маленькой Элен, пяти лет.

«Что меня больше всего терзает и в чем я не могу утешиться, так это то, что я не смогла лучше понять ее состояния... Я позвала врача. Он сказал, что не нашел никакой явной болезни и что не видит надобности приходить еще, разве только в том случае, если ей станет хуже...

В воскресенье вечером она впала в подавленное состояние, и я тут же послала за врачом. Но его не было дома, и он пришел только в понедельник утром. Он сказал, что у девочки катаральная лихорадка, и поражено легкое, что она в большой опасности, и что надо давать ей только бульон... После того, как он ушел, я с грустью смотрела на нее: ее глазки затуманились, в них больше не было жизни, и я заплакала.

Тогда она обхватила меня ручками и утешала меня, как могла; весь день она говорила мне лишь одно: «моя бедная мама плакала!» Я провела ночь возле нее, ужасную ночь. Утром мы спросили у нее, хочет ли она скушать свой бульон: она сказала да, но не могла его проглотить. И все же сделала большое усилие, спросив меня: «Если я его скушаю, ты будешь меня больше любить?» Тогда она взяла его, но страдала ужасно и не знала, что делать. Она смотрела на бутылку с порцией, которую ей прописал доктор, и хотела выпить ее, говоря, что когда

она всю ее выпьет, то выздоровеет. Потом, примерно без четверти десять она сказала мне: «Да, скоро я выздоровею, да, сейчас...» В тот же момент, тогда как я ее поддерживала, ее головка упала мне на плечо, глазки закрылись, и через пять минут она была мертва...

Это произвело на меня впечатление, которого я никогда не забуду; я не ожидала такого внезапного конца, и мой муж также. Когда он вошел и увидел свою маленькую дочку мертвой, он зарыдал, восклицая: «Моя маленькая Элен, моя маленькая Элен!» Потом мы вместе предали ее Господу». (Письмо от 24 февраля 1870 года).

«Вместе предали ее Господу». Видеть, как умирает твой ребенок — это, конечно же, трагедия, но супруги Мартэн разделили ее почти со всеми семьями их времени и их среды. Да и в наши дни нет недостатка в многочисленных парах, на долю которых выпадает столь нечеловеческая скорбь.

Но что сделало их «образцовыми», — то есть примером для христианской жизни, — так это именно это «предание», это сознательное совершение таинства: поскольку они дали жизнь во имя Творца (таково точное значение глагола «воспроизводить»), то они вновь доверили ее в Его руки, а не одной лишь темной и насмешливой случайности.

Это, конечно, не означало забыть или страдать менее жестоко, но означало — продолжать верить в жизнь, подаренную детям, сохранить связь с ними, по-прежнему ждать их.

Через месяц после смерти маленькой Элен Зели писала: «С тех пор, как я потеряла эту девочку, испытываю горячее желание вновь увидеть ее... Не проходит и минуты, чтобы я не думала о ней» (П.27 марта 1870 г.).

И она продолжала вспоминать день рождения дочки: «Вчера было одиннадцать лет со дня рождения маленькой Элен, и я много думала о ней, я буду так рада вновь увидеть ее в ином мире» (П.14 октября 1875 г.).

Она всегда продолжала беседовать со своими малышами в тайне самой глубокой своей молитвы.

Брату, который также потерял ребенка, она писала: «Да, это очень тяжело, и все же, дорогой мой, не надо роптать. Бог — Хозяин, для нашего же блага Он может дать нам огромное страдание, и даже более того, но в Его помощи и в Его милости у нас никогда не будет недостатка... Скажи мне прежде всего, был ли ребенок жив в момент крещения. Врач должен был бы крестить его до рождения. Когда видят, что дитя в опасности, именно с этого надо начинать...» (П.17 октября 1871 г.).

С золовкой, в таких же обстоятельствах, она нежно делилась своим не раз повторившимся скорбным опытом: «Да пошлет вам Господь Бог покорности Его святой воле. Ваш дорогой ребеночек у Него, он видит вас, любит вас, и когда-нибудь вы с ним встретитесь. Это — большое утешение, которое я испытала и которое все еще испытываю. Когда я закрывала глазки моим милым деткам и хоронила их, я испытывала сильную скорбь, но моя скорбь всегда была покорной. Я не жаловалась на страдания и тревоги, которые перенесла ради них. Многие мне говорили: «Было бы лучше, если бы у вас никогда их не было». Я не могла выносить подобных речей. Я не верю, что страдания и тревоги матери могут быть положены на те же самые весы, что и вечное счастье моих детей. К тому же, они не навсегда потеряны: жизнь коротка и полна горя, я встречу их на небесах!» (П. 17 октября 1871 г.)

И маленькая Тереза — наша святая — также едва не умерла в первые месяцы жизни.

«Вчера, когда я шла к моей маленькой Терезе, вся в скорби, я говорила себе: (...) мы будем счастливы только когда все — мы и наши дети — будем вместе на небесах. И предавала Богу мою девочку...

Я сделала все, что было в моей власти, чтобы спасти жизнь моей Терезы; теперь, если Богу угодно распорядиться иначе, я постараюсь перенести это испытание с тем терпением, на которое только буду способна. Я в самом деле нуждаюсь в том, чтобы вернуть себе мужество; я уже много страдала в жизни» (П. 30 марта 1873г.).

С самого начала Зели знала, что ее задачей было «воспитывать детей для Неба». Это прежде всего означало долгий, терпеливый и радостный труд, заключавшийся в том, чтобы растить их, воспитывая их в вере, для вечной и счастливой судьбы; но эти планы не были расстроены только оттого, что Бог принимал их на Небо еще такими маленькими.

Некто, хвастаясь своим знанием психоанализа, написал целые тома, чтобы доказать «болезненность» подобного смирения перед лицом смерти.

Но, в самом деле, странная эта наука, считающая нормальным, чтобы мать покорилась абсурду и бессмыслице, — довольствуясь долгим страданием, чтобы потом «выздороветь» с помощью забвения, — и негативным и болезненным поведением того, кто находит в своей вере простор для жизни и даже нетерпение ожидания.

«Эти два чувства, скорбь и радость (скорбь «оттого, что я потеряла милое дитя на земле», но радость «при мысли, что я обрела ангела на небесах») часто смешиваются во мне: известно, что жизнь коротка, и скоро мы вновь увидимся» (П.5 ноября 1871 г.).

Когда же детям удавалось преодолеть неизбежные кризисы детства, они все еще требовали и заслуживали всех сил сердца и ума, чтобы благоприятно возрастать телом и духом. И это был праздник, невзирая на повседневный тяжкий труд.

«Это такая легкая работа — заниматься своими детками! Если бы я должна была делать только это, я была

бы счастливейшей из женщин. Но я и их отец непременно должны работать, чтобы собрать им приданое, а иначе, когда они вырастут, они будут недовольны нами!» (П.14 апреля 1868 г.).

Истинно, что Зели Герэн воспринимала каждое свое новое материнство как молитву: это была молитва о даре; его благодарное принятие; любовная забота о даре, который она получила. Если в каком-то случае дар требовали назад, она скорбела, но не чувствовала себя обманутой. Она поклонялась нелегкому плану, который, конечно же, не был злым.

И это потому, что она не вопрошала Небо только в критические моменты, как поступают многие, призывая Бога к ответу, когда Его план становится непонятным, но, однако, совсем не ищут Его, когда все как будто бы сияет. Зели, напротив, чувствовала себя коротко знакомой с миром Бога, прежде всего через нежное посредничество Святой Девы.

Вот как она передает в одном из писем к четырнадцатилетней дочери Полин «духовные» обстоятельства ее зачатия:

«Итак, в среду — Непорочное Зачатие, большой праздник для меня! В этот день Святая Дева оделила меня многими великими милостями...

Я никогда не забуду 8 декабря 1860 года, когда я молила нашу небесную Мать послать мне маленькую Полин, но не могу думать об этом без смеха, потому что я была совсем как девочка, которая просит у мамы куклу, и вела себя точно также. Я хотела иметь Полин, — такую же, как она у меня есть, — и ставила все точки над «і», боясь, что Святая Дева хорошо не поймет, чего именно я хочу. Прежде всего, разумеется, было необходимо, чтобы у нее была прекрасная душа, способная стать святой, но я хотела также, чтобы она была очень миловидной. Что касается этого, то она не очень красива, но я

нахожу ее именно такой прекрасной, как я этого хотела» (П.5 декабря 1875 г.)

Можно улыбнуться этой милой набожности. Но есть один потрясающий факт, от которого может пойти мороз по коже. Вот эта мать творит свою «молитву, прося у Девы дочку» в день Непорочного Зачатия, на утренней мессе 8 декабря 1860 года. И Полин рождается 7 сентября 1861 года: как раз девять месяцев спустя. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы девочку крестили.

Мы знаем, что этот диалог с Непорочной Девой в день ее праздника больше не прерывался.

Продолжается письмо матери: «В этом году я опять пойду к Святой Деве рано утром; я хочу прийти первой, как всегда я поставлю ей свечку, но не буду просить у нее дочек: я буду молить ее, чтобы те, которых она мне дала, все были святыми, и, что касается меня, — чтобы я могла быть с ними рядом, но чтобы они были лучше меня!» (П.5 декабря 1875г.).

Здесь мы находим ключевое слово всей этой истории: слово «святость».

Зели Герэн была женщиной редкой энергии: она предавалась работе до такой степени, что была почти перегружена ею. Ее кружевная мастерская превратилась в маленькое предприятие, дававшее работу на дому многим женщинам, — таким образом, для того, чтобы ей помочь, ее муж в конце концов отказался от своей профессии часовщика и золотых дел мастера.

Следовательно, она справлялась с немалым домашним хозяйством (достаточно вспомнить о девяти беременностях за тринадцать лет).

Это, однако, не мешало ей проявить единственное большое беспокойство: о святости ее детей и — в качестве смиренного следствия этого реализованного призвания — о ее собственной святости.

«Я хочу стать святой, — писала она, — но это будет нелегко, следует многое обтесать, а дерево твердо, как камень. Надо было бы начать раньше, когда еще не было так трудно, но лучше поздно, чем никогда» (П.1 ноября 1873 г.).

Святость — это прежде всего «бесконечная уверенность в любви к нам со стороны Бога», в его «компаний», поскольку Он зовется именно «Эммануил».

Золовке она признавалась: «Вижу, дорогая сестра, что вы ждете еще одного ребенка; беспокоюсь а вашем здоровье, но в конце концов Господь Бог никого не обременяет сверх того, что могут вынести его силы. Я столько раз видела моего мужа обеспокоенным по этому поводу из-за меня; я же была спокойна и говорила: "Не бойся, Господь Бог с нами". И, однако, я была перегружена работой и всякими мыслями, но у меня была твердая уверенность в этой поддержке свыше» (П.5 мая 1871 г.).

Дочери она пересказывала диалог с одним очень добрым знакомым, у которого, однако, были «такие либеральные идеи!» и который причинял ей страдания своим неверием: «...Он говорил мне как-то, что "Бог не занимается нами"..."» Прискорбно, что у таких добрых друзей могут быть подобные чувства. Я хорошо знаю, что Господь Бог занимается мной! Я замечала это много раз в моей жизни, и по этому поводу у меня немало воспоминаний, которые никогда не изгладятся из моей памяти!» (П.12 марта 1876г.).

Она писала дочкам в пансион:

«Нужно хорошо служить Господу Богу, мои дорогие дочери, и постараться быть однажды в числе святых, праздник которых мы сегодня отмечаем». (П.1 ноября 1873 г.).

«Ты хорошая девочка, очень ласковая и нежная, но ты еще недостаточно набожна» (П.10 октября 1875 г.).

«Продолжай быть хорошей и святой девочкой» (П. январь 1876 г.).

«Я надеюсь, что Мари (старшая из дочерей) будет доброй девушкой, но я хотела бы, чтобы она была святой, и я хотела бы видеть святой и тебя, милая Полин. Я тоже хотела бы стать святой, но не знаю, с чего начать, — так много надо всего сделать, что я ограничиваюсь желанием. Я часто говорю в течение дня: «Боже, как бы я хотела быть святой!» А затем не делаю добрых дел! И однако же, пора бы начать...» (П.26 февраля 1876г.).

В действительности ее самые блестящие свершения заключались именно в деятельности воспитательницы, с которой ей удавалось справляться, никогда не пренебрегая ею, хотя все другие заботы и грозили ее поглотить.

Достаточно было бы проиллюстрировать живую и частую переписку с дочерью, находившейся в пансионе, — переписку, богатую «еженедельными историями», — фактически, это была повод дать девочке ощутить всю домашнюю обстановку: происшествия веселые и грустные; то, как росли сестрички, новости о соседях, веселые эпизоды, намеки на семейные тревоги. Все это перемешивалось с нежными и требовательными советами той, кто ждет от дочери самого лучшего, прежде всего перед Богом.

Все остальное было доброй и утомительной повседневной рутинной.

Все девочки знали, что нельзя было начинать день, не «предав своего сердца Господу» с помощью формулировки, которой они научились из материнских уст: «Боже, предаю Тебе мое сердце, возьми его, если хочешь, так, чтобы никто больше не владел им, но только Ты, мой сладчайший Иисус».

В своей «Истории одной души» Тереза будет вспоминать, возвращаясь к детству: «Я очень любила Бога и часто предавала Ему мое сердце в той краткой молитве, которой меня научила мама».

И сама мать рассказывает с удивлением: «Сегодня утром, в половине шестого, когда я встала, Селин (предпоследняя из дочерей) проснулась, и я спросила, хочет ли она кусочек шоколада. Она не отвечала, потому со всем вниманием совершала предание своего сердца Господу Богу... Позже я, смеясь, назвала ее «мой святой ангел» и спросила: «Кто тебя так называл?» Она ответила: «Моя кормилица!». Я вновь спросила: «Ты не забываешь молиться о ней теперь, когда она умерла?». Она сказала: «Я еще ни разу не забыла: каждый день я читаю за нее «Отче наш» и «Богородицу» (П.19 ноября 1876 г.).

Девочки знали, что мать и отец каждое утро, при звоне колокола в половиние шестого выходили из дома, чтобы пойти на «мессу бедных». Иногда, слыша, как они уходили, маленькая Тереза просыпалась и говорила: «Мама, я буду хорошей-хорошей...» Разными средствами можно добиться от малышей хорошего поведения!...

Испытание совести перед исповедью осуществлялось на коленях у матери, так как именно она должна была сделать добрым и проникнутым нежностью этот несколько сложный аспект таинства примирения.

Все маленькие трудности жизни — от обучения чтению и письму до способов разрешить мелкие споры, и до страха перед зубным врачом — встречали, исходя из критерия «быть угодными Иисусу».

Более того, у девочек была привычка вести счет своим «добрым делам» или иначе говоря, старинным «благочестивым поступкам». Риск вырасти с религиозностью, уделяющей слишком много внимания подсчету собственных добрых дел, разумеется, не столь велик, как риск, которому мы подвергаемся, никогда ничего не делая ни для того, чтобы любить, ни для того, чтобы почувствовать, что Бог любит нас.

В эту нормальную жизненную обстановку вписывалось и поведение, которое от родителей переходило к

детям: милосердие к бедным, даже если ценой его были длительный, тяжелый труд и беспокойства; солидарность с соседями, в том числе и в самых неприятных ситуациях; отношение матери к работникам.

Еженедельная плата работницам была таким святым делом, что Зели не захотела отложить ее даже в тот день, когда она потеряла ребенка; а в воскресенье после обеда она всегда навещала тех из них, которые были больны; многочисленны были и ее естественные и деликатные вмешательства в случаях необходимости.

«Если вы довольны горничной, которую я вам послала, — писала она золовке, — постарайтесь удержать ее, так как очень трудно найти хорошую прислугу. Не всегда высокий заработок обеспечивает привязанность прислуги; надо, чтобы они чувствовали, что их любят, надо проявлять к ним симпатию и не быть с ними слишком строгими. Ты знаешь, что я очень резкая, и тем не менее вся прислуга, которую я имела, любила меня, и они у меня остаются все то время, которое я хочу. Та, что работает у меня сейчас, наверное, заболела бы, если бы должна была уйти; я уверена, что если бы ей предложили на двести франков больше, она и тогда не захотела бы оставить нас; верно и то, что я обращаюсь с прислугой не хуже, чем с собственными детьми» (П.2 марта 1868г.).

Не миновало ее и самое тяжелое испытание, которое только может выпасть на долю матери, — дочь с нарушением поведенческих реакций (Леони): никогда не понятно было, как с ней следовало обращаться. Ласковая, но обидчивая, она без конца переходила от порывов щедрости к невероятному упрямству, граничившему с тупостью; она была строптива с матерью, но подпала под тайное влияние горничной. Если она чего-то хотела, она способна была кричать полдня.

В пансионе ее называли «ужасной девочкой», пока в конце концов ее не исключили оттуда. А Зели абсолют-

но честно заметила: «Когда наши дети не таковы, как другие, то мы, родители, должны взять на себя этот груз».

Мнение матери в отношении этой странной дочки трезво до безжалостности, и тем не менее она определила ей иную «судьбу»: за нее она жертвовала Богу всякий труд, всякую боль, всякое страдание, всякую молитву, — чтобы, невзирая ни на что, Он сделал из нее святую.

Были бесконечные попытки найти удобный случай, подходящий момент, в который воспитательные меры могли бы достичь сердца девочки.

«Сегодня после обеда я подозвала ее к себе, чтобы она прочитала некоторые молитвы, но она вскоре утомилась и сказала мне: «Мама, расскажи мне жизнь нашего Господа Иисуса Христа». Я не была расположена рассказывать: это меня очень утомляет, и у меня всегда болит горло. Но я все же приободрилась и рассказала ей жизнь нашего Господа. Когда я дошла до Страстей, она плакала; я рада была заметить в ней эти чувства» (П.7 сентября 1875 г.).

Она писала одной из дочерей: «(Леони) одарена от природы меньше вас, но все же у нее есть сердце, которое хочет любить и быть любимым, и только мать способна каждый миг доказывать ей свою любовь, в которой она нуждается...» (П.25 июня 1877 г.).

Она предложила Богу свою жизнь ради этого: «Если бы только нужно было пожертвовать моей жизнью, чтобы она стала святой, я бы сделала это от всего сердца» (П.18 января 1877 г.).

Она сумела полностью завоевать душу бедной «трудной» дочери лишь за несколько месяцев до смерти: «Она начала проявлять ко мне постоянно растущую привязанность. Она больше не в состоянии оставить меня, даже доверяет мне свои самые тайные мысли; страх Божий и любовь к Богу постепенно проникают в ее сердце. Но если бы ты знала, как нежно я с ней обращаюсь...

Она хочет принять Причастие в конце мая и готовится к этому каждый день, каждый миг. В общем, да будет благословен Господь Бог!» (П.10 мая 1877 г.).

И эта дочь, — после смерти матери — невзирая на повторявшийся неуспех, сможет наконец реализовать свое очень личное призвание. Она станет монахиней ордена Посещения и умрет в глубокой старости, почитаемая святой за ее смирение, кротость, уравновешенность, приобретенные за долгие годы посвящения себя Богу и ближнему, следуя во всем примеру и учению «маленькой Терезы», ее младшей сестры.

К заботам о воспитании, заполнявшим ум и сердце Зели, прибавлялись тревоги особенно беспокойного времени. То были годы разгрома при Седане и падения Второй Империи: французские солдаты возвращались с поражением, а прусские войска с черными флагами и с черепами на шлемах, сея ужас, проходили по улицам Алансона. Отнимали жилье, скот, всевозможное имущество. Семья Мартэн должна была разместить у себя в доме девять пруссаков. Невозможно было найти ни мяса, ни молока. «Все в городе плачут, — писала Зели, — все, кроме меня».

Ее торговля также знала взлеты и падения, критические периоды, которые заставляли опасаться худшего:

«Сколько труда ради этого проклятого алансонского кружева, которое переполняет чашу моих несчастий! Я зарабатываю какие-то гроши, это так, но Боже мой, как дорого мне это стоит!.. Это стоит мне жизни, так как я думаю, что сокращаю мои дни; и если Господь не сохранит меня особенным образом, то я чувствую, что не протяну долго...» (П.23 декабря 1866 г.).

«Когда я начала мою торговлю алансонскими кружевами, я даже заболела от беспокойства. Сейчас я более разумна, меньше терзаю себя и смиряюсь со всеми неприятными неувязками, которые со мной приключаются».

ся или которые могли бы случиться. Я говорю себе: "Это Господь хочет, чтобы было так", — и не думаю больше об этом» (П.14 февраля 1868 г.).

«Моя торговля идет плохо, прямо-таки очень плохо, хуже некуда. Я действительно думаю, что мое царство близится к закату, хотя это и против моей воли, так как я хотела бы работать до конца для моих детей. У нас их уже пятеро, не считая тех, что могут родиться; так что я не теряю надежды иметь еще троих или четверых!» (П.май 1868 г.).

Дочери часто слышали от нее эти утверждения: «Господь дал мне благодать не пугаться, я спокойна». «Бог — добрый Отец, который никогда не дает своим детям бремя тяжелее того, что они могут вынести».

Ей удалось своим неутомимым трудом собрать порядочное состояние, но она не любила богатство.

Она говорила: «Мной не движет стремление обогатиться, я имею больше, чем могу желать. Но мне казалось бы безумием оставить эту работу, особенно когда я думаю, что у меня пять девочек, которых надо пристроить. Для них надо довести дело до конца... Если бы я была одна и должна была вновь начать выносить все то, что я выстрадала с двадцати четырех лет до нынешнего дня, я предпочла бы умереть с голоду, ибо при одной только мысли обо всем этом у меня мороз идет по коже» (П.6 февраля 1876 г.).

Ей было уже больше сорока лет, и она была больна. Луи уже было пятьдесят. И вот предстоит еще одно рождение. Конечно, не было недостатка в тревогах как за мать, так и за дитя, которое должно было появиться на свет. Предпоследняя девочка прожила всего несколько месяцев.

Она писала: «Я безумно люблю детей, я рождена, чтобы иметь их, но скоро пора уже будет не производить

их больше на свет. Мне исполнится сорок один год двадцать третьего числа этого месяца, а это возраст, когда начинают становиться бабушками!» (П.15 декабря 1872 г.).

Но — прежде всякого беспокойства — сколь глубока была радость и желание принять этого ребенка, делается ясным из этого странного признания, которое она сделала золовке несколько дней спустя после рождения Терезы, — той, что впоследствии станет Святой из Лизье: «Когда я носила ее во чреве, я заметила одну вещь, которая никогда со мной не случалась из-за других моих детей: когда я пела, она пела вместе со мной... Я рассказываю это тебе, потому что никто другой не смог бы мне поверить» (16 января 1873 г.).

Не много лет Зели удалось посвятить этой последней дочке, так как она смогла сопровождать ее в жизни только первые четыре года. Тереза, несмотря на это, приводила в своей «Автобиографии» самые нежные и многозначительные воспоминания, которые мать запечатлела в своей переписке.

Когда девочке нет еще и трех лет, ее мать весело рассказывает: «Это дитя — необыкновенный чертенок; она подходит приласкаться ко мне, желая мне смерти: «О, как бы я хотела, чтобы ты умерла, мама!». Ее ругают, а она говорит: «Но это для того, чтобы ты попала на Небо, ты всегда говоришь, что надо умереть, чтобы попасть туда!». И таким же образом в своих порывах любви она желает смерти отцу» (П.5 декабря 1875 г.).

Несколько месяцев спустя она опять рассказывает: «Маленькая Тереза... всегда прелестна, и она говорила мне сегодня утром, что хочет попасть на Небо и что для этого она будет хорошей, как ангелочек» (П.12 марта 1876 г.).

Некоторые так называемые психоаналитики обрушились на это «желание смерти», высказанное Терезой, вообразая смутные и мрачные конфликты между мате-

рю, помешанной на работе, болезни и мыслях о потустороннем мире, и девочкой, полной желания жить.

Дело в том, что некоторые «эксперты» уверены, что «желание смерти» и «желание Неба» — это одно и то же, поскольку небо считается бесполезной фантазией; и они не в состоянии вообразить, что христианская мать действительно может рассказывать детям о рае и вечной жизни так, что все это может выглядеть приятным и желанным.

Даже Лютер — который, как известно, был печальным человеком — сказал однажды, держа на руках своего ребенка: «У детей такие светлые мысли о Боге оттого, что они уверены, что Он — на Небе и что Он — их Бог».

В четыре года мысль о небе еще обычна, но уже связана с проблемой спасения, добра и зла, риска. Опять рассказывает мать:

«Как-то Тереза спрашивает у меня, попадет ли она на небо. Я говорю ей: да, если она будет очень хорошей; она отвечает: "Да, но а если бы я была не очень хорошей, то я бы попала в ад... но я знаю, что бы я сделала: я бы убежала с тобой; если бы ты была на небе, как бы тогда Господь Бог отобрал меня? Ты бы взяла меня на руки и держала бы крепко-крепко..." Я прочитала в ее глазах: она уверена, что Господь Бог ничего не может ей сделать, если она на руках у мамы» (П.28 октября 1876 г.).

Можно сказать, что весь духовный путь и учение Терезы уже полностью заключены в этой крайне ясной аргументации: ей достаточно будет понять, что объятия матери — это символ и таинство милосердных объятий небесного Отца.

Точно так же, как уже был насыщен символическостью другой ее детский поступок, полный упрямой логики. Когда она училась делать первые шаги, ей было трудно подниматься по лестнице. Тогда Тереза становилась вни-

зу, возле первой ступеньки и звала: «Мама!» — и не двигалась оттуда до тех пор, пока не слышала в ответ: «Да, детка!». Только при этом ответе она поднимала ножку и преодолевала трудность, и так далее. Нужен был призыв и ответ, в знак одобрения, на каждой ступеньке.

Позже Тереза, ставшая воспитательницей молодых послушниц, будет наставлять их, что нет лучшего способа научиться идти все выше к Богу, как только призывая Его на каждом шагу.

Между тем здоровье Зели ухудшалось на глазах. Опухоль груди, от которой она давно страдала, еще больше увеличилась и причиняла ей все более острую боль.

Наконец она решила обратиться к врачу. Она отыскала врача столь же знаменитого, сколь и грубого («скупающим и безразличным тоном, скривив губы... потому что он ни во что не верит... он неспособен сказать хорошего слова и даже быть доброжелательным, но ограничивается лишь проявлением безразличия» (П.14 июня 1877 г.)).

Но Зели была благодарна ему уже за то, что узнала правду.

Она рассказывала золовке: «Наконец-то я была у доктора Х., который, как следует осмотрев и ощупав меня, сказал, помолчав: "Вы знаете, что ваша болезнь очень серьезна? Это фиброзная опухоль. Вы бы отказались от операции?" Я ответила: "Нет, хоть я и знаю, что вместо того, чтобы спасти мне жизнь, эта операция сократила бы мои дни". И я так хорошо объяснила ему, почему была в этом уверена, что он вновь сказал: "Вы это знаете так же хорошо, как и я; все это правда, поэтому я не могу советовать вам операцию, так как ее исход очень сомнителен". Я спросила, есть ли хоть один шанс из ста. Он ответил уклончиво... Он предложил мне рецепт. Я сказала: "Какая от него польза?" Он посмотрел на меня и

ответил: "Никакой, это лишь для того, чтобы доставить больным удовольствие..." (П.17 декабря 1876 г.).

Она старалась успокоить своих домашних: «Если бы Бог считал, что я очень полезна на земле, то Он конечно же не позволил бы, чтобы у меня была эта болезнь, потому что я столько молила Его не забирать меня из этого мира до тех пор, пока я необходима моим дочерям... Бог мне оказывает большую милость в том, что я не воспринимаю все это трагически... Что бы ни случилось, давайте пользоваться добрыми временами, которые нам еще остаются, и не будем волноваться; впрочем, будет всегда только то, чего Бог захочет» (П.17 декабря 1876 г.).

Накануне Рождества, которое стало для нее последним, она отправилась в Лизье для новой консультации с одним знакомым врачом, но никто по-прежнему не советовал ей операцию.

Она написала об этом мужу: «Предадимся в руки Господа Бога, Он лучше нас знает, что нам нужно: "Это Он ранит и перевязывает рану..." Мне хорошо только с тобой, мой дорогой Луи» (П.24 декабря 1876 г.).

И в конце этого последнего трагического декабря она могла утверждать: «Я, как дети, которые не беспокоятся о завтрашнем дне, всегда жду счастья» (П.31 декабря 1876 г.).

Она настаивала: «Давайте жить так же и как можно веселее. Сейчас дома меньше терзаются, и я более, чем когда-либо стараюсь, чтобы было так. Как бы я хотела, чтобы обо всем этом больше не говорили! Какая от этого польза? Мы сделали все, что было нужно, предадим все остальное в руки Провидения... если я не выздоровею, то это потому, что Бог непременно захочет меня забрать...» (П.5 января 1877 г.).

Убитая горем семья настаивала на паломничестве в Лурд. Зели согласилась прежде всего для того, чтобы удовлетворить желание мужа и дочерей. Все так надея-

лись удостоиться чуда, что трепетали от нетерпения. Даже Зели порой почти удавалось себя убедить, что Святая Дева услышит все эти молитвы, но прежде всего она беспокоилась, как бы не пошатнулась вера дочерей перед лицом возможного неуспеха. Она лишь смиренно говорила: «Матерь Божья исцелит меня, если это будет необходимо».

«Я сделаю все возможное, чтобы удостоиться чуда; я рассчитываю на паломничество в Лурд, но если не буду исцелена, я все равно постараюсь петь на обратном пути» (П.20 февраля 1877 г.).

И говорила дочерям: «Мы должны быть готовы великодушно принять волю Господа Бога, какой бы она ни была, так как всегда будет только то, что для нас всего лучше» (П.май 1877 г.).

Накануне паломничества она со скорбью признавалась: «Я работала за четверых — за четверых, способных работать, не теряя времени. Я вела тяжелую жизнь... А теперь, когда я наконец могла бы вздохнуть, я вижу приближение ухода, как будто бы мне сказали: "Ты достаточно сделала, иди отдыхать!" Но я не сделала достаточно! Эти девочки еще не выросли. Ах, если бы только не это, смерть не пугала бы меня» (П.7 июня 1877г.).

Путешествие — которое Зели совершила, взяв с собой трех старших дочерей, прежде всего ту, «трудную», которую хотела поручить Богоматери, — было очень тяжелым, и разочарование девочек было ужасно.

Она вернулась домой приободренной, без всякой грусти: «так весело, будто бы я получила желаемую милость: это вернуло мужество (папе) и принесло в дом хорошее настроение... я каждую ночь прикладываю воду из Лурда к моей язве, а затем живу в надежде и в мире, ожидая, пока придет час Божий» (П.25 июня 1877 г.).

Дочери, которая вернулась в пансион с разочарованием из-за не случившегося чуда, она написала: «Я хочу

знать, сердисься ли ты еще на Святую Деву, которая не захотела (так говорила девочка) «сделать так, чтобы ты прыгала от радости»... Святая Дева сказала всем нам, как она сказала Бернадетте: Я сделаю вас счастливыми не в этом мире, а в другом» (П.25 июня 1877 г.).

«Не беспокойся обо мне, я совсем не терзаюсь и предаю все в руки Божьи» (П.29 июня 1877 г.).

И все же она чувствовала себя все более измученной:

«Если так будет продолжаться, можно будет с ума сойти: я должна буду оставаться совершенно неподвижной. Днем еще терпимо, но ночью, когда надо ложиться или вставать, — ужасно, это вызывает тошноту, и я чувствую, как теряю сознание... В пять часов я должна была одеваться, чтобы пойти на первую мессу, и я была одна, так как Луи был на ночном поклонении Святым Дарам; я приподнялась, чтобы посмотреть на часы: к счастью, Святая Дева помогла мне, потому что не знаю, как бы иначе я с этим справилась; было еще слишком рано. Я села на постели, я не решалась лечь, чтобы потом не надо было опять вставать через полчаса. Наконец, в пять часов я позвала Мари, чтобы она помогла мне одеться. Я очень страдала, когда надо было садиться и преклонять колена в церкви, я должна была сдерживаться, чтобы не кричать, потому что пойду больше даже на торжественную мессу...» (П.8 июля 1877 г.).

Дочь Мари рассказывает: «Когда она устает лежать, то мы очень осторожно приподнимаем ее на подушках до сидячего положения. Но это никогда не удастся сделать без невероятных болей, так как самое маленькое движение вызывает у нее душераздирающие крики. И все же с каким терпением и с каким смирением она переносит эту ужасную болезнь! Она никогда не расстается со своими четками, постоянно молится, невзирая на страдания; все мы восхищаемся ею, потому что она обладает ни с чем не сравнимым мужеством и энергией. Две не-

дели тому назад она еще читала свой розарий от начала до конца на коленях, у ног Святой Девы, — той, что находится в ее комнате и которую она так любит. Видя, что она так больна, я хотела усадить ее, но моя попытка была тщетной» (П.8 июля 1877 г.).

У нее еще хватило сил написать несколько последних писем: «Она мне говорит, чтобы я не теряла надежды, и это именно то, что я делаю. Я прекрасно знаю, что Святая Дева может меня исцелить, но не могу воздержаться от опасения, что она этого не хочет, и скажу вам честно, что чудо кажется мне крайне маловероятным. Я приняла свое решение и стараюсь делать все так, как если бы я должна была умереть. Мне надо лишь не потерять то малое время, что мне остается жить; это — дни спасения, которые никогда больше не возвратятся, я хочу воспользоваться ими» (П.15 июля 1877 г.).

«Утром в воскресенье, после не слишком скверной ночи, я встала в пять часов, чтобы пойти на первую мессу... Только с крайней осторожностью мне удавалось сделать шаг. Когда я должна была спускаться с тротуара, необходим был целый маневр. К счастью, на улице было не много людей. Я дала твердое обещание не ходить больше на мессу в таком состоянии» (П.24 июля 1877 г.).

«В эти двадцать четыре часа я страдала больше, чем за всю мою жизнь. Бедный Луи время от времени брал меня на руки, как девочку» (П. 27 июля 1877 г.).

В начале августа 1877 года, преодолевая изнеможение, она захотела еще раз пойти в церковь:

«В пятницу она пошла на мессу в семь часов, так как была первая пятница месяца. Ее отвел папа, потому что без него она не смогла бы пойти. Она сказала, что если бы, когда они пришли, рядом с ней не было никого, кто мог бы открыть ей дверь, она не смогла бы зайти» (Письмо дочери Мари, 9 августа 1877 г.).

Она часто повторяла: «О Ты, создавший меня, смилуйся надо мной».

Она умерла 28 августа 1877 года. Последние строки, написанные ею, были: «Если Святая Дева не исцеляет меня, то это значит, что мое время истекло, и Господу Богу угодно, чтобы я покоилась не на земле, а в другом месте» (П.16 августа 1877 г.).

Тереза, которой тогда было всего четыре года, описала невозполнимую потерю с помощью такого многозначительного эпизода:

«В последнюю неделю, что она провела на земле, я и Селин были как маленькие изгнанницы; каждое утро мадам Лериш (соседка) забирала нас, и мы проводили день у нее. Однажды у нас не было времени прочесть нашу молитву перед тем, как выйти из дома... Тогда Селин очень робко предупредила об этом мадам Лериш, и та заключила: «Ладно, деточки, сейчас вы ее прочтете». Потом она оставила нас в какой-то большой комнате и ушла. Селин посмотрела на меня, и мы сказали: «Ах, она не такая, как мама. Мама всегда заставляла нас читать нашу молитву!» (Рукопись А 42).

Таково незабываемое наследство, что мать может оставить даже четырехлетней девочке, — наследство, которое возрастет в дочери в плоды святости и близости к Богу: «Она всегда заставляла нас читать нашу молитву!»

И дочери всегда будут с волнением вспоминать о том, каков был ее постоянный настрой, как бы программа и радость ее жизни: «Я доверила все воле и милости Божьей» (П.22 апреля 1866 г.).

Луи Мартэн

[отец Святой Терезы Младенца Иисуса]

(1823-1894гг.)

Когда Зели умерла¹ всего в сорок шесть лет, Луи Мартэну было пятьдесят четыре. Ему предстояла нелегкая задача продолжать воспитание пяти дочерей, старшей из которых было семнадцать лет, а самой маленькой (Терезе) всего четыре с половиной года.

Он носил в себе незабываемые воспоминания и сердечное свидетельство, которое оставила о нем жена: «Луи делает мою жизнь легкой. Мой муж — настоящий святой; такого, как он, я желаю всякой женщине» (П.1 января 1863 г.).

Теперь он должен был принять для себя важное решение: уехать или нет из Алансона затем, чтобы перебраться на жительство в Лизье, поближе к родственникам жены.

В Алансоне был весь его мир: мастерская, владельцем и управляющим которой он стал; дом, полный воспоминаний и старинных удобств; католический кружок, который он любил посещать; культурная и благотворительная деятельность, в которой он активно участвовал; тщательно отобранные дружеские связи; его любимый «Павильон» (маленькая усадьба, куда он удалялся для размышлений и занятий своим любимым видом спорта — рыбалкой).

¹ Напомним, что биграфия Луи Мартэна должна рассматриваться в связи с биографией Зели Герэн (его супруги), в которой рассказано все то, что касается их совместной жизни.

Все советовали ему остаться, но он понял, что прежде всего должен был подумать о дочерях. Рассказывает старшая дочь: «Он сказал мне, что для нас принес бы любую жертву; если бы это было необходимо, он отказался бы от своего счастья и даже от жизни. Чтобы доставить нам удовольствие, он не отступает ни перед какими трудностями, не медлит ни секунды; ему достаточно знать, что это его долг и что это для нашего блага».

И для Луи было совершенно верно то, что сказала как-то раз Зели: «с тех пор, как у нас появились наши дети, мы живем только для них, в этом наше счастье, и мы всегда находим его только в них».

Для всех девочек Мартэн воспоминание о родителях всегда будет отмечено этой убежденностью: папа и мама искали свое счастье в их счастье, — в этом состоит радость и чувство уверенности от осознания себя в качестве чьих-то детей.

Так все они переехали в Лизье, один из самых старинных и типичных нормандских городков, в прелестный сельский домик, окруженный несколько защищенным просторным садом. Там дочери могли расти неподалеку от скромного и заботливого глаза тети — мудрой и щедрой женщины, которая отчасти могла восполнить отсутствие матери.

В городе люди привыкли видеть этого высокого, очень изысканного господина с уже седой бородой, — «с осанкой рыцаря и обликом святого», — который проходил по улице в сопровождении стайки девочек-подростков, держа за ручку белокурого ребенка. В приходе все наперебой старались уступить им хотя бы два стула, стоявших рядом: «И это было несложно, — будет вспоминать Тереза, — так как всем настолько приятно было видеть такого красивого старика с такой маленькой дочкой, что люди вставали и уступали место» (Рукопись А, 60).

Как раз на фоне этого городка, благодаря Терезе впоследствии ставшего известным на весь мир, и развернулась священная драма, которая нуждается в некотором «теологическом предисловии» для ее понимания.

Иисус пришел в мир прежде всего для того, чтобы открыть нам образ небесного Отца — бесконечную Любовь, которая сотворила нас, и безграничное Милосердие, которое нас искупило.

Все Его слова, Его поступки, сама Его личность стремились к этому: от того, как Он был Сыном, — поистине Сыном — мы должны были научиться познанию небесного Отца и довериться Ему.

«Кто видит Меня, — говорил Иисус, — видит Отца Моего, ибо Я в Отце, и Отец во Мне». Поэтому Он называл Отца самым нежным и привычным словом, которым еврейские дети в первые годы жизни называли своего отца («Абба!»), и нас так научил называть Его в молитве.

С той поры в каждой христианской семье реализуется (или должно было бы реализоваться) что-то от этого таинства. Каждый отец должен бы вести своего ребенка до предания его в надежные руки Отца, сущего на небесах.

Это, однако же, происходит только в том случае, если «в то время, как ребенок смотрит на своего земного отца, тот взирает на своего Отца небесного». Необходимо следовать, как говорится, «от взгляда к взгляду».

Но если в этом и заключается секрет истинного отцовства, то мы можем представить себе, насколько таинство делается драматичным и священным, когда в намерения Бога входит предложить миру блестящий пример «сыновнего отношения».

Поэтому, если Тереза будет почитаться в Церкви как «самая любимая девочка в мире» и если «новым путем»,

который она предложит, должно будет стать «духовное детство» (даже если мы по-прежнему предпочитаем говорить о «церковном детстве»), то нетрудно понять, что «таинство отцовства» должно было воздействовать на нее необыкновенным образом.

Следовательно, Луи Мартэн имел дар и призвание воплотить бесконечное и нежное отцовство Бога в своем повседневном и чарующем человеческом отцовстве, так что «образ и подобие» почти смешивались с оригиналом.

Именно будучи «до такой степени отцом» (*Tam Pater nemo!* [лат.]: «Никто не может быть Отцом до такой степени!» — учил уже Тертуллиан, говоря о небесном Отце, но не забывая непосредственное призвание родителей быть Его подобием), Луи Мартэн реализовал свою святость.

Теперь мы можем вернуться к рассказу о том, как великодушно он выполнил доверенную ему миссию.

В Лизье семейная жизнь протекала таким образом, что ее естественные и сверхъестественные стороны сливались взаимно без непоследовательности и натяжек: естественное воспринималось сверхъестественно, сверхъестественное — естественно.

Это означает, что каждый человек, каждое событие, да и сами предметы играли свою естественную роль символа (то есть, все это отсылало к чему-то «более великому», «более настоящему», «более доброму», «более прекрасному», и эту «отсылку», как правило, замечали) и таинства, так что все в какой-то мере сообщало «благодарить Божию».

Это не означало, что семейная жизнь была лишена проблем. Если бы было так, то этот пример был бы бездоказательным.

Например, Тереза после смерти матери не была больше девочкой счастливой и порывистой, экспансивной и

упрямой, как прежде. Она стала робкой, слишком чувствительной, плаксивой и болезненной, и в ее жизни были даже некоторые эпизоды, стоявшие на полпути между психопатологией и отрицательным воздействием таинственных сил.

Однако, ее спасла именно та среда, которую бережно охранял отец: «Но я была окружена самыми деликатными проявлениями чувств. Папино сердце, такое нежное само по себе, прибавило к той любви, что в нем была, также и поистине материнскую любовь» (РА 45).

В устах святой эти выражения не сентиментальны, поскольку Тереза именно так объясняла свойство Божьей любви: что она способна быть одновременно отцовской и материнской.

В монастыре она написала стихотворение, в котором говорит: «O Toi qui sus créer le coeur des mères/ je trouve en Toi le plus tendre des peres!» (франц.: «В Тебе, создавшем сердце матерей, я нахожу нежнейшего из отцов!»).

В то же время старшие сестры заменяли для маленькой Терезы мать, стараясь не упустить ничего из того, чему их учила Зели.

День начинался в половине шестого утра, когда самые старшие вместе с отцом шли к шестичасовой мессе. «Это единственная месса, — говорил Луи, — на которой могут присутствовать служанки и рабочие. Там мы среди бедных». И так было в любое время года, даже в плохую погоду.

Лишь позднее, чтобы принять в эту группу и младших дочерей, не заставляя их вставать слишком рано, он согласился ходить к мессе в семь часов.

На обратном пути девочки начинали свое щебетанье, которому Луи обычно оставался чужд. Он причащался ежедневно и так объяснял свое молчание: «Я продолжаю беседовать с нашим Господом».

Затем Полин шла будить маленькую Терезу. «Утром ты приходила будить меня; ты спрашивала, поручила ли я Богу мое сердце, потом помогала мне одеться, говоря мне о Нем. Потом рядом с тобой я читала молитву...»

Так начинался день в семье Мартэн. Затем девочка училась читать и писать, постигала грамматику, катехизис и священную историю (тогда до восьми лет школьное обучение, если это было возможно, осуществлялось в семье).

После обеда была неизменная прогулка с отцом и всегда краткое посещение Святых Даров, каждый раз в различных церквях города; и маленький подарок. Потом — домой учить уроки. А все остальное время, в теплую погоду — в саду вместе с отцом ухаживать за цветами, курами, кроликами.

Иногда случалась какая-нибудь интересная экскурсия: Тереза сопровождала отца на рыбалку, делала и она робкие попытки в качестве рыболова, но обычно предпочитала сидеть на траве.

Она рассказывает: «Тогда мои мысли становились глубокими, и душа моя, не зная, что означает созерцание, погружалась в настоящую молитву... Я слушала отдаленные шумы: шелест ветра и едва слышную музыку, доносившуюся из солдатской казармы, и мое сердце напоялось грустью. Тогда земля казалась мне ссылкой, и я мечтала о Небе» (РА 50).

У всех подростков время от времени бывают подобные «романтические» настроения и смутные ощущения «бесконечности», но ведь Терезе не было еще и пяти лет! Дело в том, что она жила в обстановке, которая делала естественной мысль о вечности, тем более, что «небеса» — было первое слово, которое она смогла написать.

Даже вкусный поджаренный хлеб с вареньем, приготовленный на полдник, который в поздние послеобеденные часы приобретал тусклый и залежалый цвет, напо-

минал ей, что только в раю возможны никогда не увядающие радости.

Столь же обычной была встреча по пути с каким-нибудь бедняком, отнести милостыню которому всегда поручалось Терезе (и мы читаем в «Автобиографии», какой невероятно глубокий смысл имел для нее этот жест).

Затем бывала целая домашняя литургия: например, когда старшие в мае месяце шли в приходскую церковь, девочка устраивала в кухне в обществе служанки свою маленькую церемонию в честь Марии.

Торжества готовились с сердечной радостью и тщательно объяснялись; прежде всего воскресенье воспринимали как «праздник Господа Бога, праздник отдыха»; все должно было указывать на это: от обильного утреннего завтрака до того обстоятельства, что отец в тот день целовал ее «нежнее обычного»; от визита к родственникам до вечерней прогулки, когда девочка забавлялась тем, что давая вести себя за руку, не глядела, куда ступает, потому что хотела внимательно и подолгу всматриваться в звездное небо, чтобы найти там первую букву своего имени. «Смотри, — говорила она отцу, указывая на очертание созвездия, — мое имя написано на небе!».

Главным событием дня, несомненно, была торжественная месса; для девочки богослужение было, конечно же, слишком длинным, и проповеди часто оставались ей непонятны, хотя она и старалась слушать: «Я, однако, смотрела больше на папу, чем на проповедника, и его красивое лицо говорило мне о многом. Иногда его глаза блестели от волнения, и он силился сдержать слезы; казалось, он не был уже привязан к земле, — настолько его душа погружалась в вечные истины...» (РА 60).

Для девочки, разумеется, должно быть драгоценным опытом — иметь отца, который перед Богом умиляется, как дитя!

Особенно зимние вечера были незабываемы (напомним, что тогда не было ни телевизора, ни радио, ни электричества, ни центрального отопления...). Семья собиралась у очага; сначала отец играл в шашки со старшей дочерью, потом брал маленьких на колени и пел им романсы своим красивым баритоном, или читал стихи Виктора Гюго или Ламартина, или декламировал какую-нибудь басню Лафонтена, или показывал веселые «подражания», — в которых он всех превосходил, и Тереза, став взрослой, будет отличаться особой ловкостью в них, — или тут же изобретал игры или даже игрушки.

Всеобщая вечерняя молитва завершала день, и Тереза, которой всегда доставалось место возле отца, отмечает: «Мне довольно было посмотреть на него, чтобы узнать, как молятся святые!» (РА 63).

Все в этом доме напоминало о Божьем отцовстве и о Его небесной обители: в конце учебного года, хотя обучение и проходило в семье, были экзамены перед отцом, потом зачитывание результатов, потом награждение. «Мое сердце сильно билось, когда я получала награду и венок: для меня это было как бы образом Страшного Суда».

И когда отец впервые повез ее, чтобы показать ей море, она была зачарована, как будто перед священным зрелищем: «Я без конца смотрела на него и не могла оторваться; его величие, шум волн — все говорило моей душе о величии и могуществе Бога».

Разве удивительно, что на закате — в то время, как солнце прокладывало на море позолоченную дорожку, по которой скользила парусная лодка, — девочка естественным образом подумала о «сияющем пути благодати» и решила никогда не отдаляться от него, чтобы иметь возможность «мирно грести своими веслами под взглядом Иисуса»? (сравн. РА 73).

Этот эпизод восходит к тому времени, когда Терезе было всего семь лет. Конечно, у девочки были редкие способности к самоанализу и еще более редкая духовная восприимчивость, но также у нее был отец, который уделял все свое внимание тому, чтобы ничто не возмутило чистоту этой маленькой души.

Тереза рассказывает, что на том же самом песчаном берегу им случилось встретить господ, которые подошли, чтобы сказать отцу любезность, спрашивая «его ли дочь — эта столь прелестная девочка»; «папа ответил положительно, но я заметила, как он сделал им знак, чтобы они меня не хвалили». И так же поступали старшие сестры, так что Тереза отмечает: «Я впервые слышала, как меня называли хорошенькой», поскольку в семье никто никогда не произнес «ни одного слова, от которого в мое сердце могло бы проникнуть тщеславие!».

И, тем не менее, каждое утро ее элегантно одевали, и отец требовал, чтобы ей всегда завивали длинные локоны, в соответствии со сложными ритуалами того времени.

Представляя себе слишком изнеженную и сентиментальную семейную обстановку, мы очень ошибемся. Сама Тереза удивлялась, как было возможно «воспитать меня с такой любовью и деликатностью, при этом никогда меня не балуя». «Она никогда не извиняла мне ни одного недостатка, никогда не упрекала меня без причины, но также и никогда не возвращалась к тому, что уже было решено» (РА 64).

Тереза всю жизнь будет с огорчением вспоминать, как она лишь один только раз ответила отцу, просившему ее о чем-то: «Обойдешься!». Ее поругали, и с тех пор (ей было около трех лет!) она никогда больше не сказала ни одного неуважительного слова.

Потому уже взрослой она могла с полнейшей простотой сделать это столь волнующее утверждение: «С трех лет я никогда не сказала "нет" Господу Богу».

Здесь необходимо быть внимательными. Мы не рассказываем ни биографию Терезы, ни биографию ее отца. Если бы было так, то следовало бы более углубленно рассмотреть многие другие аспекты: как в этой семье воспринимали проблемы, тревоги, неизбежные разногласия, важные общественные, политические, религиозные вопросы и т.д.

Речь идет совсем не об этом. Мы всего лишь рассказываем о «детских воспоминаниях Терезы», прежде всего о тех, что касаются ее отца. Эти воспоминания демонстрируют, насколько неизгладимо ее сознание осталось отмечено детством, так что на них она основала свою святость и свою доктрину. Впрочем, дети растут не под влиянием того, как мы умеем принимать и решать большие проблемы: они растут так, как мы общаемся с их маленькой человеческой сущностью.

Эти воспоминания распространились во всей Церкви и вызвали бесчисленные обращения. Почему? Откуда такое богатство и такая деликатность мелких подробностей, тогда как почти у всех остальных детей едва сохраняется какое-нибудь смутное и бледное воспоминание об их отношениях с отцом?

Несомненно, это был исключительный и единственный в своем роде опыт. Но именно это Бог хотел нам дать — проявление таинства отцовства.

Именно опираясь на непоколебимую основу этих воспоминаний, Тереза скажет впоследствии: «Так прекрасно называть Бога нашим Отцом!»; «я говорю Господу все, что хочу». И она также была убеждена, что Он «дает нам все то, чего заставляет нас желать».

Драгоценность рисунка, подобно миниатюре, составленного из множества небольших эпизодов, служила этой цели. Те, кто этого не понял, с ожесточением принялись опустошать эту «священную историю», воображая и описывая сложные фрейдовские задние планы, которым

всегда будет противостоять прозрачность повествования и суждений Терезы.

Луи Мартэн обращался с человеческой сущностью своих пяти дочерей (все его обожали и все называли его «несравненным отцом») таким образом, что для них сделалась ощутимой, повседневной, чарующей вера в отцовство Бога.

И взамен он получил безграничную привязанность и безграничное уважение.

«Я не могла даже подумать, не вздрогнув, что папа может умереть. Как-то раз он поднялся на лестницу и, так как я оставалась внизу, крикнул мне: «Отойди, малышка, а то, если я упаду, то раздавлю тебя!». Слыша это, я испытала внутреннее возмущение; вместо того, чтобы отойти, я уцепилась за лестницу, подумав: «По крайней мере, если папа упадет, я не испытаю несчастья видеть его мертвым, я умру вместе с ним!» (РА 72).

«Не могу выразить, насколько я любила папу: все в нем вызывало мое восхищение; когда он делился со мной своими мыслями (как будто бы я была большой девочкой), я наивно говорила ему, что если бы он сказал эти вещи людям, что сидят в правительстве, его конечно же взяли бы, чтобы сделать королем, и Франция была бы такой счастливой, какой не была еще никогда!..» (РА 72).

Все дети переживают или должны были бы переживать подобный период обожания и почти обожествления собственного родителя. Можно даже сказать, что Бог в своем мудром плане творения предусмотрел эту нежную стратегию для того, чтобы начать естественным образом привлекать нас к себе.

Обычно это обожание длится лишь короткое время и обречено рассеяться под ударами взаимонепонимания и разочарований, даже если затем оно должно бы вновь возвратиться в зрелом возрасте.

В случае Терезы благодать была столь велика, что естественная стратегия безо всякого перехода сделалась

сверхъестественным опытом: Бог навсегда остался для нее «папой, добрым Богом», и мир иной всегда был «отцовским очагом в небесах», где все должны вновь встретиться когда-нибудь (РА 126).

И так было не только для нее. В одном из писем, которое однажды написала отцу Мари, старшая дочь, мы читаем: «В этой жизни ты вместе с Иисусом — рай твоих дочерей».

Поэтому не странно, что в подобной семье девственные призвания пробуждались одно за другим, поскольку они зависят от острого ощущения Божьего отцовства и от брачной любви к Его Святому Сыну Иисусу.

Первой поступила в монастырь кармелиток Полин, двадцатилетняя вторая дочь, особенным образом посвятившая себя воспитанию Терезы. Это была дочь, которая больше всех походила на мать и унаследовала ее дух. Луи не удивился ее выбору: он так хорошо знал сердце и желания своей Зели!

Однако он не ожидал, чтобы старшая, Мари — на плечах которой лежало ведение домашнего хозяйства — четыре года спустя, в двадцать шесть лет, приняла такое же решение.

Рассказывает дочь: «Когда я поделилась с папой своим важным решением, он вздохнул, услышав подобную новость! Он был очень далек от того, чтобы ожидать ее, так как ничто не могло вызвать предположений о моем желании стать монахиней. Он подавил нечто вроде рыдания и сказал мне: "Ах, но ведь без тебя..." Он не смог закончить. Я сказала ему: "Селин уже достаточно большая, чтобы занять мое место; вот увидишь, все будет хорошо". Тогда мой бедный дорогой папа сказал: "Господь Бог не мог потребовать от меня большей жертвы. Я был уверен, что ты меня никогда не оставишь". И он обнял меня, чтобы скрыть свое волнение».

Теперь Луи Мартэну уже нетрудно было догадаться, что и Тереза со временем пойдет тем же путем: он хорошо ее знал! К счастью, было еще столько времени, так как любимице семьи было всего четырнадцать лет.

Ему уже было шестьдесят три, и у него было слабое здоровье.

Несколько месяцев спустя после поступления Мари в монастырь кармелиток с ним случился приступ мозговой эмболии, сопровождавшийся односторонним параличом, к счастью, временным.

Он только что выздоровел, как Тереза в один прекрасный день на Пятидесятницу 1887 года, после обеда, попросила у него особенного благословения, чтобы поступить в монастырь кармелиток в пятнадцать лет.

Послушаем рассказ ее самой:

«Я призналась ему в моем желании поступить в монастырь кармелиток... он не сказал ни слова, чтобы разубедить меня в моем призвании: он лишь обратил мое внимание на то, что я слишком молода для принятия столь серьезного решения. Но я так хорошо защищала мое дело, что папа с его простой и честной натурой быстро убедился в том, что мое желание было желанием самого Бога, и со своей глубокой верой воскликнул, что Бог оказывает ему большую честь, требуя у него таким образом его дочерей...

Папа, казалось, обладал той спокойной радостью, которая дается совершенной жертвой, и говорил со мной, как святой... Он подошел к стене сада и показал мне выросший между камней маленький белый цветочек, похожий на лилию в миниатюре; он сорвал его и подарил мне, объясняя, с какой заботой Бог растил и хранил его до этого дня.

Пока я его слушала, мне казалось, будто бы он рассказывал мою собственную историю, настолько велико было сходство с тем, что Иисус сделал с моей душой. Я взя-

ла этот цветок, как реликвию, и увидела, что срывая его, папа выдернул его с корешками: казалось, его должны были пересадить в другую, более плодородную почву...» (РА 143).

Тот, кто читает «Историю одной души», в которой Тереза рассказала свой духовный путь, и видит, что она начинается словами «История белого цветочка», не должен тотчас представлять себе томный стиль позднего романтизма: святая из Лизье всего лишь думает о символическом жесте, — нежном и сильном, — сделанном ее отцом в самый торжественный момент его миссии, когда пожилой родитель согласился отдать Богу свою самую любимую дочь.

Если отец тут же убедился, «что желание Терезы было желанием самого Бога» (как же хорошо он должен был знать сердца обоих для такой убежденности!), то вокруг семьи разразилась буря. Родственники говорили о крайней неосторожности, кармелитский настоятель не хотел об этом даже слышать, и городок был готов к сплетням и критике.

Сам Луи пошел с дочерью к епископу, от которого зависело решение. Тот старался убедить девочку подождать, кроме того полагая, что он таким образом становится на сторону отца, и был поражен, когда увидел, как горячо Луи защищал дело Терезы.

Они ничего не добились, но в курии прокомментировали, «что никогда еще мир не видел ничего подобного: дочь, столь же горячо желающую пожертвовать себя Богу, сколь горячо отец желал отдать ее Ему».

Тогда они приняли участие в епархиальном паломничестве в Рим, где Тереза, нарушив все существовавшие обычаи, во время аудиенции ухватила за одежды старого Папы Льва XIII, чтобы молить его о высочайшем разрешении.

«Поступите, если Богу будет угодно», — ответил ей Папа.

Ее должны были буквально оторвать от его ног, тогда как она все пыталась объясниться, и прежде чем два благородных стража ее оттащили, старый Папа приложил свою руку к губам девочки и благословил ее.

Когда перед ним преклонил колена Луи Мартэн, представленный, как отец двух кармелиток, Папа положил руку на почтенную голову этого пожилого господина и, возможно, догадался о таинстве, которое предстало перед ним.

Тереза увидела предзнаменование в этих словах и в этих двух жестах. Бог действительно хотел посвятить Себе дочь и отца, и оба они торжественно принесут Ему в жертву свои жизни.

Неожиданно трудности исчезли одна за другой, и пятнадцатилетняя Тереза поступила в монастырь кармелиток. В день, когда она должна была переступить порог монастыря и сделаться затворницей, — вся белоснежная в своем свадебном платье, — она опустилась на колени перед старым отцом, чтобы просить его благословения. Тогда Луи тоже встал на колени перед своей девочкой и так начертал ей крестное знамение на лбу: «Это было зрелище, от которого, наверное, улыбнулись ангелы, — комментирует Тереза, — старец, представлявший Господу дочь на самой заре ее жизни» (РА 193).

Их знакомый, присутствовавший при этой сцене, после сказал ее отцу, что он похож был на Авраама в момент, когда тот не отказал Богу в жертве своего сына Исаака. Луи улыбнулся: «Но, — сказал он, — если бы Бог потребовал от меня принести в жертву мою девочку, то я поднимал бы нож очень, очень медленно, — в ожидании ангела и овна».

Он, однако, написал другу: «Моя маленькая королева вчера поступила в монастырь кармелиток. Только Бог

может потребовать подобной жертвы. Он так могущественно помогает мне, что среди слез мое сердце преисполнено радостью».

С тех пор он любил говорить, что он, как Авраам, стал «другом Божиим».

В этой связи у всех было впечатление, что история Луи Мартэна подошла к концу. Он довел до конца свою миссию, возвратив прямо в руки единого Отца доверенных ему дочерей, особенно Терезу, которая являла отчетливые признаки своей предназначенности.

Из монастыря она писала ему: «Когда я думаю о тебе, дорогой папочка, я безотчетно думаю о Господе, потому что мне кажется невозможным увидеть на земле кого-то, более святого, чем ты... и я постараюсь быть твоей славой, сделавшись великой святой» (П. 31 июля 1888 г.).

Луи понимал, что он остался наедине с самим собой (и Селин, — которая пока еще была с ним рядом, как мать, чтобы ухаживать за ним в старости и в болезни, — ожидала реализации того же самого призвания, что обрели ее сестры). Теперь он мог и должен был завершить свою земную миссию Отца, подав дочерям последний и самый значительный евангельский пример: вернувшись, как дитя, в объятия своего Бога.

Однажды во время визита в монастырь у него вырвалось это признание: «Доченьки, я возвращаюсь в Алансон, где в церкви Богоматери я получил такие великие милости и утешения, что произнес эту молитву: "Боже мой, это слишком! Я слишком счастлив, я не могу пойти на небо так, хочу пострадать ради Тебя; и я вызвался..."»

Он не посмел продолжать перед дочерьми, но все поняли, что он вызвался разделить таинство страстей Христовых.

На его долю выпало самое горькое страдание, — то, о котором однажды он сказал, почти что предчувствуя его: «Это самое большое испытание, которое может об-

рушиться на человека». Повторились еще два приступа паралича, сопровождаемые временными, но все более частыми явлениями психической дегенерации: потерей памяти, трудностями в речи, галлюцинациями, навязчивыми идеями, необоснованными страхами, периодами депрессии и эйфории, желанием бежать куда-нибудь подальше и спрятаться.

Причиной всего этого, вероятно, был атеросклероз, сопровождаемый острыми приступами уремии, которую тогда не умели держать под контролем.

В моменты просветления он чувствовал себя униженным, но говорил: «Все — для большей славы Божьей!». В его уме смешивались безрассудные планы и порывы святости.

Когда его возвратили домой после долгого бесцельного путешествия, совершенного в состоянии психоза, на просьбу дочери объяснить, зачем он это сделал, он ответил: «Я хотел пойти любить Бога всем сердцем!» Его юношеские мечты о призвании давали о себе знать и смешивались с расстройствами, вызванными болезнью.

Но все это, казалось, имело двойное измерение: на поверхности — унижение от слабоумия, в глубине — таинство креста.

Так, когда Луи узнал, что в соборе собирали пожертвования для нового главного алтаря, он лично пошел отнести туда огромную сумму: десять тысяч золотых франков.

Этот поступок приписали безответственности, вызванной шатким состоянием его здоровья, но Тереза из монастыря отстаивала святое право отца: он жертвовал Богу своих дочерей и теперь жертвовал самого себя; было бы справедливо, чтобы он дал Ему также и алтарь!

Он вновь обрел полную ясность ума к празднику «Облачения» Терезы. Это был день триумфа: дочь в свадебном платье символически, на короткое мгновение поки-

нула территорию, отведенную для затворниц и под руку с наконец-то сияющим отцом торжественно вошла в часовню монастыря.

Епископ, руководивший литургией, при виде столь прекрасной сцены перепутал церемонии и неожиданно запел торжественное *Te Deum*.

Это было подобно вербному воскресенью, за которым тут же последовала неделя страстей. Приступы повторились в еще более серьезной форме, и необходимо было прийти к самому мучительному решению: поместить отца в закрытую клинику для душевнобольных.

Его поместили в большую и печально известную больницу «Доброго Спасителя», в число тысячи семисот других больных, тогда как он был еще в состоянии отдать себе отчет в том, что с ним происходило.

Монахиня, руководившая отделением, говорила: «Больно видеть этого великолепного патриарха в подобном состоянии. Мы, монахини, все глубоко скорбим, да и персонал тоже опечален. За то короткое время, что он с нами, он сумел заставить себя полюбить, и потом, в нем есть что-то такое достойное почтения! Он несет на себе таинственное бремя. Видно, что это — испытание...»

И продолжала: «В нем есть что-то такое достойное почтения!..»

Чтобы сохранить контакт с другими больными, он отказался от отдельных апартаментов, которые, однако же, мог бы себе позволить, и раздавал все то, что получал от родственников, — так, как будто бы это по праву принадлежало всем.

Как-то раз монахиня сказала ему, что в этой больнице он может сделать добро стольким другим больным, не имеющим веры: «Вы можете быть апостолом!...» — «Это правда; — ответил Луи, — только я предпочел бы им быть в другом месте, и тем не менее такова воля

Господа Бога. Думаю, это для того, чтобы я преодолел мою гордыню».

В другой момент просветления он объяснял врачу: «Я привык всегда командовать, и вот теперь вижу, что вынужден повиноваться. Но я знаю, почему Господь Бог дал мне это испытание: я никогда в жизни не испытал унижений, и необходимо было, чтобы я пережил хотя бы одно...»

Его страдание дошло до предела, когда, по причине недоразумения, пришли два нотариуса и бесцеремонно заставили его подписать отказ от распоряжения своим состоянием, говоря, что этого желают его дочери.

Тем временем в городе и даже в монастыре новости об этой унижительной болезни — тогда это считалось стыдом для семьи и даже подавало повод для позорных подозрений — сделались настоящей жертвой, которую дочери постоянно приносили Богу.

Многие говорили, будто Луи заболел оттого, что дочери его оставили; другие уточняли, что прежде всего уход его младшей и самой любимой дочери разбил ему сердце и помутил рассудок.

«Три года папиной болезни, — напишет Тереза, — были самыми плодотворными во всей нашей жизни; я никогда не променяла бы их на все восторги и откровения святых; мое сердце переполняется благодарностью, когда я думаю о подобном бесценном сокровище» (РА 206).

Терезе рассказывали, как иногда во время приступов отец покрывал себе лицо платком, как бы стыдясь того, что люди видят его таким униженным. У других сестер сжималось сердце, но для нее это было озарение. Она думала о страдающем лице Христа: о том лице, что солдаты покрыли, ругаясь над Ним, и что запечатлелся на покрывале Вероники; и она погружалась в это таинство

безвестности, которое ради любви обезобразило Лик «прекраснейшего из сынов человеческих».

Она вспомнила, как в детстве ей однажды показалось, будто бы в саду она видела папу, закрывавшего себе лицо передником, — что было невозможно, поскольку Луи в тот момент отсутствовал по причине длительного путешествия, — и страдала от этого, как от мрачного и таинственного предзнаменования.

Она напомнила сестрам этот эпизод, который тогда вызвал всеобщее удивление, и наконец поняла: «Я видела именно папу; он шел, согбенный от старости, — это был именно он — и он нес на своем почтенном лице, на уже седой голове знак своего славного испытания. Как сладчайший лик Иисуса был покрыт во время страстей, так и лицо его верного раба должно было быть покрыто в дни скорби, чтобы затем воссиять в небесном отечестве, перед его Господом» (РА 70).

Именно вследствие этих событий Тереза изменила свое монашеское имя и начала подписывать свои письма: Тереза Маладенца Иисуса Святого Лика — вот так, не прерываясь, как бы затем, чтобы дать понять, что таинство евангельского детства, которому она себя посвятила, теперь совершалось в таинстве страдающего сына.

«Господь любит папу несравненно больше, чем любим его мы. Папа — малое дитя Господа Бога», — писала Тереза из монастыря.

И в самом деле, Луи Мартэн, совершенно беззащитный, с каждым днем все более предавался в руки Божьи.

Селин, которая каждый день ходила справиться о нем, хотя и могла видеть его только раз в неделю, повторяла ему, что все молились о его выздоровлении, особенно в монастыре: «Не надо просить этого, — отвечал он, — надо просить лишь воли Божией».

В конце концов, так как его ноги были уже совершенно парализованы, и больше не было риска, что он

причинит себе вред в моменты возбуждения, дочерям разрешили забрать его домой.

Когда свояк приподнял его, чтобы посадить в экипаж, глаза больного блеснули радостью: «Я отблагодарю тебя на небе», — сказал он.

Через два дня его повезли посетить монастырь. Дочери знали, что эта встреча должна была стать последней. Они могли только смотреть друг на друга и плакать, так как больной был в состоянии произнести лишь отдельные слоги, и любые речи понапрасну привели бы его в возбуждение. В конце ему сказали: «До свидания», — и он поднял взгляд, показал пальцем вверх и долго оставался так, потом с трудом смог выговорить по слогам: «На небе!».

Первое слово, которое научилась писать Тереза, стало последним, которое сказал ей отец.

В семье за ним ухаживали так, как ухаживают за святым. У него еще бывали благоприятные моменты, и все видели, что ориентация его сердца и ума по-прежнему оставалась неизменной.

«Молись святому Иосифу, чтобы я мог умереть святым», — прошептал он однажды дочери, смотревшей за ним. И она писла сестрам-кармелиткам: «Папа стал моим ребенком... Каждый вечер, когда я оставляю его, пожелав ему спокойной ночи, я его благословляю так, чтобы он этого не заметил, и после ночь всегда проходит очень хорошо. Я будто бы стала его матерью, и меня умиляет, какую силу имеет у Господа Бога крестное знамение».

Он умер 29 июля 1894 года, в возрасте семидесяти одного года, неподвижно глядя на дочь, которая рядом с ним читала прекрасную молитву, что начинается словами: «Иисус, Иосиф и Мария, предаю вам мое сердце, мою жизнь и мою душу...»

Тереза признавалась: «Смерть папы производит на меня впечатление не смерти, а настоящей жизни. Я вновь ощущаю его рядом с собой после шести лет отсутствия, я его чувствую вокруг себя: как он на меня смотрит и меня защищает» (П.20 августа 1894 г.).

И она пожелала сочинить длинное стихотворение под названием «Молитва дочери Святого», чтобы поручить ему одну за другой своих сестер и себя саму и доверить ему все их воспоминания.

В монастыре хранили как реликвию последнюю записку, которую отец прислал за несколько лет до этого и которая была как бы итогом всей их семейной истории:

«Хочу сказать вам, дорогие дочери, что я чувствую побуждение усердно благодарить Господа Бога и желаю, чтобы вы также Его благодарили, так как я чувствую, что наша семья, хотя она и очень смиренная, удостоилась быть в числе избранных у нашего всеблагого Создателя».

И теперь, между тем, как Церковь ожидает увидеть его прославленным вместе с его супругой, — в истории это будет первый случай пары, что вместе удостоится чести быть вознесенной на алтари, — в нашей памяти всплывает прославление, которое Тереза возносила ему уже тогда, когда ее отец пребывал в пропасти унижения.

Тогда она написала сестре слова, которые кажутся пророчеством: «Скоро мы будем в нашей родной земле. Скоро радости нашего детства, воскресные вечера, наши секретные разговоры... все будет нам возвращено навечно, да еще и с процентами. Иисус возвратит нам радости, которых Он лишил нас на миг!.. Тогда мы увидим, как от сияющей головы нашего дорогого папы будут изливаться потоки света, и каждый из его седых волос будет как солнце, которое исполнит нас радостью и счастьем!..» (П.23 июля 1891 г.).

Блаженный Даниэле Комбони
(1831-1881гг.)

«Мы особенным образом осуждаем нелепое мнение тех, кто не боится утверждать, что негры не являются частью человечества и не наделены человеческой душой»

Было 3 января 1870 года, когда эти слова прозвучали в зале заседаний Первого Ватиканского Собора.

Обсуждался документ «О католической вере», и один из епископов юга Соединенных Штатов попросил, чтобы это «осуждение» было включено в текст, предложенный к обсуждению, поскольку в Америке еще были распространены книги, учившие, будто чернокожие американцы находятся на ступени развития на полпути между животными и человеком.

Прежде чем удивиться подобным дебатам, следовало бы вспомнить, что в «Mein Kampf» Гитлера (книге, вышедшей в свет семьдесят лет тому назад, которую нацизм хотел сделать новым евангелием Европы!) мы читаем: «Это грех против разума, так как это преступное безумие: учить негра, существо, которое по происхождению своему — полуобезьяна, с притязанием сделать его адвокатом...»

В официальных текстах нацизма подобная «расовая наука» считалась открытием, подобным лишь революционному учению Коперника.

— И обвинения обрушивались против Католической церкви, так как со своей «универсалистской позиции» она преподавала «одряхлевшие» и «устаревшие» доктрины.

«Расовая наука, — поясняли пропагандисты того времени, — не была открыта на амвонах Церкви, и, следовательно, та не компетентна рассуждать о ней. От универсалистских доктрин погибло много людей. Теперь, под знаком расистской идеи, развивается великий процесс европейского пробуждения» (Розенберг, Речь от 6 сентября 1938 г.).

— И провозглашали, что в числе крупных сил, которые непреклонно противостоят сообществу белых народов, объединенных нордической кровью, находится Римская церковь... Делая это, она выступает против Европы» (*Nazionalsozialistische Monatshefte*, Ноябрь 1938 г.).

Итак, что касается этих вопросов, то Римская церковь вступила в борьбу уже в первой половине нашего века, когда некоторые немецкие интеллектуалы заявляли, что необходимо вновь восстановить юридическое понятие «раб», применяя его уже не только к отдельным индивидуумам, а к целым народам.

Тогда возвысил свой голос Пий XI:

«Мы не хотим ничего разделять в человеческой семье... Люди это прежде всего большая единая семья живущих». «Дети разных рас — люди, а не звери или какие-то другие существа, и человеческое достоинство заключается в том, что все составляют одну семью — человеческий род. Церковь учит нас думать, чувствовать, рассматривать проблему таким образом... Таков ее ответ на дискуссии, которые в наши дни волнуют мир. Все люди являются предметом одной и той же материнской любви; все призваны к одному и тому же свету...» (Речь от 28 июля 1938 г.).

Мы пожелаем остановиться на этих горьких воспоминаниях нашего недавнего прошлого по двум причинам: прежде всего потому, что в наши дни наблюдаются новые взрывы расизма из-за миграционных явлений последних лет, а затем чтобы еще яснее подчеркнуть —

в подобном мраке — свет совести и сердечное мужество, с которыми Даниэле Комбони в середине XIX века ощутил себя посланцем к неизвестным народам таинственной и недоступной Африки, которую он называл «первой любовью своей юности» и за которую, как говорил, он готов был отдать жизнь.

Многие думают, что Церковь постоянно находится в тягостной погоне за современностью и цивилизацией, даже не подозревая о том, что она на века раньше и с недостижимой щедростью — замыслов, людей и средств — вступила на территории, которые лишь несколько десятилетий назад были непривлекательны и непонятны для хозяев мира.

Даниэле Комбони более века назад носил на своем епископском гербе изображение всего африканского континента, увенчанного сердцами Иисуса и Марии — в знак любви, которой он желал полностью охватить его.

Но пока что вернемся к тому Первому Ватиканскому Собору, где епископ города Саванна (штат Джорджия) зывал к защите негритянской расы.

В том же зале Собора находился и другой священник, всячески старавшийся вынести на его обсуждение «африканский вопрос»: это был именно Даниэле Комбони, миссионер, который с этой целью попросил епископа Вероны назначить его своим «теологом» на Соборе.

Он не очень интересовался происходившими дебатами (хотя и следил за ними со вниманием), зато искал способа для того, чтобы склонить эту большую ассамблею к громкому заявлению в пользу проповеди Евангелия в Африке — на континенте, больше всех других оставленном без внимания.

Он написал Отцам Собора письмо, в котором отмечал, что, к сожалению, ни один чернокожий епископ не присутствовал на этой ассамблее, и горячо призывал:

«Есть ли среди вас кто-нибудь, кто мог бы быть отцом для черных, — голос, которого мог бы выступить от лица стольких детей Хама? Скажите это вы, глубокоуважаемые Отцы!..»

Наконец он смог убедить некоторых, и Папа позволил, чтобы тема проповеди христианства в Африке была включена в календарь Собора.

Однако, тем временем произошло взятие Рима и присоединение его к Итальянскому королевству, и собор епископов был приостановлен *sine die* (лат.: «на неопределенный срок»).

Вот так великодушная мечта Комбони встряхнуть всю Церковь оказалась вверена лишь его смиренным рукам.

Мы должны будем рассказать именно эту странную историю: историю человека, который казался мечтателем и фантазером, а на самом деле был пророком.

Его идеи, его планы не реализовались вплоть до наших дней, и некоторые из них, возможно, не реализуются никогда; и все же создается впечатление, будто бы он опередил всю ту миссионерскую деятельность, что была предпринята и продолжает предприниматься в пользу Африки. И многие из его наставлений и планов еще ждут того часа, когда им будет уделено надлежащее внимание.

В его время африканских христиан было всего несколько тысяч, тогда как сегодня их насчитываются миллионы, но он уже предвидел и планировал пробуждение всего черного континента.

Даниэле Комбони родился в городе Лимонэ, что на озере Гарда в 1831 году; он был третьим из восьми детей, но из всех лишь ему одному удалось выжить.

Когда он отправится в свое миссионерское путешествие, то оставит матери на память свою фотографию, и та будет говорить со смиренной скорбью, что «из столь-

ких детей у нее остался лишь один, да и тот бумажный». Но теперь у нее есть святой сын, который пребывает вместе с ней на небе, и которого почитают на земле.

Так как его семья была очень бедной, то в двенадцать лет ему посчастливилось быть принятым в пансион для неимущих, но одаренных мальчиков, который открыл в Вероне дон* Никола Мацца, знаменитый и святой воспитатель того времени.

И в этом пансионе, учеба в котором одинаково могла открыть путь как к поступлению в Падуанский университет, так и на богословские курсы семинарии, царил миссионерский энтузиазм, внушенный Церкви усилиями тогдашнего Папы.

Миссии потерпели тяжелый удар сначала от упразднения Ордена Иезуитов, а затем и многих других религиозных орденов европейских стран.

В конце XVIII века французы, оккупировавшие Рим, даже издали декрет об упразднении Конгрегации по Пропаганде Веры (*Propaganda Fide*), традиционно занимавшейся католическими миссиями, и прежде всего позаботились о том, чтобы разграбить библиотеку.

Однако Пий VII восстановил как Орден Иезуитов, так и *Propaganda Fide*, и с того времени проблема проповеди Евангелия вновь пробудила сознание христиан.

И в особенности возродился интерес к Африке.

В 1839 году Григорий XVI — папа, которого многие напрасно обвиняют в закрытости, — не только вновь осудил рабство и рабовладение (назвав его «делом людей, постыдно ослепленных жаждой грязной наживы»), но и распорядился подготовить священнослужителей всех рас и национальностей, так чтобы они могли иметь дос-

* Так в Италии именуют священников (как правило — не монашествующих). — *Прим. ред.*

туп ко всякой церковной ответственности и ко всякой церковной должности, в том числе и к епископскому сану точно таким же образом, как и белые.

И это — как мы уже упоминали раньше — происходило в то время, когда многие считали возможным отрицать, что у негров есть душа.

В пансионатах дон Мацца Африка была настоящей страстью, так что их основателя в шутку называли «дон Конго».

Более того, уже в те годы обсуждался план принимать в Вероне африканских юношей и девушек, выкупленных из рабства, чтобы по-христиански воспитывать их и дать им после возможность вернуться на родину в качестве проповедников Евангелия для их собратьев (в браке или в священном сане).

И это было осуществлено начиная с 1851 года, тогда как несколько священников заведения готовились к отправлению в «Нигрицию» — как тогда называли Африку.

Чтобы благоприятствовать этому плану, дон Мацца даже предусмотрел в школьных программах своего пансиона не только изучение основных европейских языков, но также и обучение арабскому.

В начале 1849 года (то есть в восемнадцать лет) Комбони тоже «посвятил себя Африке» в личном обете, который обязался возобновлять и поддерживать всю свою жизнь.

В 1867 году он напишет: «Посвятив себя Африке семнадцать лет назад, я живу только для Африки и дышу только для ее блага».

Десять лет спустя он будет настаивать: «Вот уже двадцать семь лет и шестьдесят два дня, как я поклялся умереть за Центральную Африку: я преодолел величайшие трудности, перенес огромнейшие тяготы, я много раз смотрел в глаза смерти и, невзирая на все эти лишения

и труды, Сердце Иисусово сохранило в моем духе (...) постоянство, так что наш боевой клич всегда будет: "Или Нигриция, или смерть!"» Как мы видим, он даже подсчитывал дни своей жизни, которые связывали его с этим бесповоротным решением.

«Нигриция» — этим названием географические атласы того времени обозначали всю внутреннюю, практически данную часть Африки, на карте которой обычно изображали лишь львов и каю-нибудь большую реку, нарисованную наугад.

Единственное, что было известно белым на этом континенте, — это были поселения на его берегах и на двух крайних точках (Алжир и Южная Африка), где был более умеренный и терпимый климат. Все остальное было покрыто «таинственным мраком».

Итак, в семинарии Даниэле тщательно готовился, совмещая изучение богословия с изучением арабского языка, обычаев некоторых африканских племен и основ медицины.

31 декабря 1854 года в Тренто, в часовне епископского дворца Монсиньор Джованни Непомуцен' Тшидерер (которого Иоанн Павел II провозгласил блаженным в 1995 году) рукоположил его в священники.

Прежде, чем он смог отправиться в Африку, прошли почти два года, а до тех пор у него была возможность совершенствоваться в искусстве медицины. В Вероне и ее окрестностях вспыхнула эпидемия холеры, которая унесла сотни жизней. Направленный в местечко Бутта-пьетра, Комбони оказывал там столь великодушную помощь, — в качестве священника и медбрата — что императорский комиссар вынес ему благодарность, объявив, что Комбони «отдал себя всем без исключения». Это была хорошая практика.

Он отправился в путь в конце 1857 года, когда учреждение дона Мацца решило принять участие в африкан-

ской миссии, послав туда пять священников, самым молодым из которых был как раз дон Даниэле, в сопровождении добровольца-мирянина, кузнеца из Фриули.

Поскольку в Александрии Египетской им предстояла длительная организационная остановка, миссионеры воспользовались ею для паломничества в Святую Землю. В то время по родине Иисуса путешествовали пешком или на лошади, и не было недостатка в опасностях, угрожавших жизни паломников.

Длиннейший отчет, который Даниэле написал родителям, — это очень интересный рассказ, богатый подробностями; еще и сегодня он полезен для того, чтобы понять ситуацию в Святых Местах в прошлом веке, под властью турок, а также познакомиться с благочестием тогдашних паломников.

Что прежде всего проступает на этих страницах, так это страстная вера человека, который знал, «что он созерцает своими глазами и осязает своими руками» историко-географические реликвии события, которое затем он должен будет проповедовать «в самых дальних концах земли». В самом деле, он вот-вот должен был отправиться туда, куда не добрался еще ни один христианин, и трепетал от волнения при мысли, что для своих африканцев он должен стать живой связью с первоисточником.

С таким святым и таким привычным первоисточником! Престарелым родителям он многозначительно напишет: «Половина вертепа, гда родился Иисус Христос в ширину — как коридор вашего дома, а другая половина — как ваша кухня... я исцеловал почти весь этот вертеп и не мог оторваться...»

Через две недели они наконец-то смогли вернуться в Александрию и вступить на территорию Судана, бывшего тогда египетским владением, продвигаясь по на-

правлению к его столице Хартуму. Чтобы дойти до него, они должны были сначала подняться по Белому Нилу, потом на верблюдах пересечь Нубийскую пустыню и наконец продолжить путь на лодке: это путешествие заняло около двух с половиной месяцев.

Но Хартум должен был послужить всего лишь базой: действительно, там остановился только один из миссионеров, тогда как другие поднялись по Белому Нилу еще на тысячу шестьсот километров.

И все это с риском, что их примут за банду работорговцев и зверски убьют.

Но сильнее страха было изумление. У Даниэле было такое чувство, будто он созерцает творение почти таким же, каким оно вышло из рук Бога. Красота была столь необыкновенной, что побуждала с восторгом хвалить Создателя.

Длинные и подробные отчеты об этих путешествиях, которые Даниэле посылал своим родителям как бы для того, чтобы смягчить одиночество, в котором он их оставил, — это настоящие жемчужины народного стиля, и они позволяют нам увидеть неизвестную Африку страстным взглядом исследователя и молодого апостола.

Вот поэтическое описание картины, которая предстает перед его взором: «Низкие берега широчайшей и величественной реки покрыты внушительной и пышной растительностью, которой никогда не касалась и не искажала рука человека... беспредельный и пестрый очарованный лес, дающий самое надежное укрытие стадам газелей, антилоп, тигров, львов, пантер, гиен, жирафов, носорогов... змей всякой породы и величины... Бесчисленные стаи птиц всех размеров, видов, цветов; птицы, как бы полностью позолоченные, другие посеребренные и т.д. скромно перепархивают без всякого страха. Черные и белые ибисы, дикие утки, пеликаны, абусейны, королев-

ские журавли, орлы всех пород, цапли, попутай, марабу, абумаркубы и другие птицы перепархивают или расхаживают туда-сюда по берегу, обратив взор к небу; так что кажется, будто они благословляют благодетельное Провидение того Бога, что их сотворил. Толпы обезьян сбегают к реке, чтобы утолить жажду... Огромные крокодилы лежат на островках и на берегу; необъятные бегемоты, фыркая из воды, особенно под вечер, оглушают окрестности самым разъяренным ревом, который, отзываясь эхом в лесу, приводит в ужас, пробуждая в душе возвышенные мысли о Боге! Как велик и могуществен Господь! Наша лодка проплывает, можно сказать, по спинам бегемотов» (П.5.3.1858 г.).

Затем следует описание аборигенов и их обычаев, лодок, языков; рассказ о происшествиях в пути и о первых попытках вступить в контакт с первобытными племенами.

Радостная и чистая вера проступает в рассказе о лодке, севшей на мель посреди реки, между тем, как с обоих берегов за ними наблюдают два различных враждебных племени; и несмотря на это миссионеры решают ни в коем случае не прибегать к оружию: «У нас целых десять ружей, но миссионер скорей позволит себя сто раз зверски убить, чем подумает защищаться с большей опасностью для противника. Иисус Христос так бы не поступил. Упавший духом капитан лодки говорит нам, что он не знает, как быть».

И затем он рассказывает о мессе, которую отслужили утром, после ночи страхов и молитв, и героических решений: «О, как было отрадно в этих тяжелых обстоятельствах держать в руках Владыку всех рек и Господа всех племен и всех дикарей на земле...»

В этом длиннейшем письме, которое в толстом томе «Сочинений» занимает более двадцати трех страниц, набранных мелким шрифтом, чувствуется желание сде-

лать родных участниками его необыкновенных приключений; но также и сознание того, что он предал себя только лишь в руки Божьи, становится тем сильнее, чем более он погружается в неизведанный мир, конечно же величественно прекрасный, но порою и угрожающий.

И он хочет, чтобы родители чувствовали себя причастными также и к этой жертве: «Я — мученик из любви к самым оставленным душам в мире, — пишет он, — а вы станете мучениками из любви к Богу, пожертвовав ради блага душ единственным сыном».

Если мученичество с пролитием крови было всего лишь вероятностью, впрочем, не столь невозможной, то, напротив, готовность пожертвовать своей жизнью должна была быть повседневной. По причине ужасного климата и нехватки лекарств, во внутренних районах Африки европейские миссионеры умирали, как мухи.

«Из двадцати двух миссионеров Хартумской миссии, которая существует десять лет, — отмечал Комбони, — умерли шестнадцать, и почти все — в первые месяцы».

За пять лет, предшествовавших прибытию веронцев, поумирала по меньшей мере половина всех миссионеров, находившихся в Центральной Африке.

История повторялась. Шесть веронцев во главе с Даниэле уже перенесли сильнейшую лихорадку и выздоровели. Один из них умер уже в тот первый месяц, в тридцать три года. Затем умер и их сподвижник-мирянин, который сопровождал их в этом святом предприятии. Потом еще один миссионер.

Письма к родным сразу же выдают страдание, говоря о болезни и смерти. От отца он получает известие о том, что мамы больше нет; и отцу он рассказывает о своих братьях-миссионерах, скончавшихся у него на руках.

Он рассказывает, что и он был так болен, что принял последнее напутствие*, но заключает: «Не пугайтесь. Наша жизнь в руках Божьих. Пусть Он делает с ней, что хочет: мы в безвозвратном даре пожертвовали ее Ему. Да будет он благословен. С вечера до утра здесь можно умереть...»

Еще полгода миссии, и Комбони оказывается «до крайности ослаблен, полон болей, подвержен тяжелейшим одышкам и исполнен всех тех симптомов, что предвещают скорый конец жизни» (П.6.4.1859 г.).

Таким образом, — в то время, как в Египте начинались работы по постройке Суэцкого канала — изнемогающий Комбони был вынужден вернуться на родину.

Вновь принятый в пансион дона Мацца, он должен был заниматься цветными подростками. Он заметил, что они страдали и чахли от холодных веронских зим, к которым были непривычны. Это кажется банальным соображением, но именно из подобного наблюдения сформировалась идея, которой он должен был впоследствии отдать всю свою энергию, как мы вскоре и увидим.

Тем временем в покинутую миссию вселилась новая группа австрийских миссионеров-францисканцев.

Чуть более, чем за год, туда была отправлена сотня монахов. Тридцать три из них умерли, а остальные вынуждены были возвратиться на родину, пока еще было не слишком поздно. По истечении года лишь трое смогли остаться в миссии.

Когда казалось, что все кончено, и миссионеры уже решились покинуть Центральную Африку, Дух Божий воздействовал на сердце Даниэле.

* Особый обряд, совершаемый над тяжелобольными или умирающими. Включает в себя исповедь, елеопомазание и Причащение Св. Дарами. — *Прим. ред.*

Он случайно находился в Риме, в то время, как Церковь трехдневными молитвами в Базилике Святого Петра готовилась к торжественно канонизации Маргариты Марии Алакок — святой, которая приняла и открыла миру обетования Святейшего Сердца Иисусова.

В огромном храме молится и Комбони. Он вновь думает о пламенной любви Христа к людям; он знает, что божественное Сердце хотело бы охватить их всех; он знает, что верующие должны гореть тем же самым желанием, и вот, в один миг в его уме складывается «план», проект проповеди христианства и спасения всей Африки.

Он работает над его изложением шестьдесят часов, почти не прерываясь. В день канонизации святой Маргариты Марии он готов передать свое длинное сочинение в руки Кардинала Префекта Пропagанды Веры. Это произошло в праздник Скорбящей Богоматери.

Проект, окончательным названием которого вскоре станет «План возрождения Африки», основывался на принципе: «Африка должна быть спасена с помощью Африки».

Комбони реалистически исходил из собственного опыта, который отложился в его сознании: европейцы не могли выдержать условий жизни на Африканском континенте; африканцы страдали от условий жизни на континенте Европейском, а те, которым удавалось интегрироваться, затем были не в состоянии вновь приспособиться к культуре их родной земли.

Напротив, как одни, так и другие могли бы жить и встречаться на побережье, «в местах, где африканец живет и не изменяется, а европеец действует и не погибает».

Это казалось банальной констатацией факта, определенной исторической обстановкой и средой той эпохи.

Но такой подход требовал пересмотра миссионерской методологии, а новая методология обязывала искать иных теологических подходов.

Итак, план состоял в том, чтобы окружить Африку: весь периметр черного континента должен быть усеян «миссионерскими фортами», то есть цепочкой центров культурного и профессионального обучения, предназначенных для подготовки преподавателей катехизиса, школьных учителей, преподавателей домоводства, ремесленников («земледельцев, кровопускателей, санитаров, столяров, портных, кожевников, кузнецов, каменщиков, сапожников, коммерсантов и т.д.») и воспитывать молодых христианских супругов, священников и монашествующих из местных жителей. Расположенные на подходящем расстоянии друг от друга, должны были возникнуть по крайней мере четыре университета и несколько больших семинарий.

Таким образом, на побережье, в климатической зоне, приемлемой для всех рас, европейские миссионеры могли бы вступить в контакт с африканцами и подготовить их к тому, чтобы сами они сделали проповедниками христианства для своих племен в глубине континента.

Так создалось бы двойное движение: в европейских странах были бы подготовлены миссионеры — священники, монахи и миряне, которые прежде всего должны были изучать африканские языки и обычаи, и которые затем были бы отправлены руководить цепью «школ». От этой цепи впоследствии отправились бы вглубь таинственной Африки миссионеры-аборигены: священники, монашествующие и, прежде всего, миряне.

В таком виде на первый взгляд это был общий план, но мы можем догадаться о революционном воздействии, которое он имел на умы и методы прошлого века.

В эпоху, когда проповедь христианства казался задачей исключительно европейских миссионеров, Комбони не только предлагал доверить ее аборигенам, тогда как многие считали их органически неспособными, но и представлял ее себе прежде всего как задачу африкан-

цев-мирян, мужчин и женщин. Эта высокая оценка женского элемента была почти абсолютным новаторством: «В апостольстве Центральной Африки я первым призвал к участию всемогущее посредничество женщины Евангелия!» — писал он с понятной гордостью в 1878 году.

Кроме того, в эпоху, когда цели проповеди христианства по большей части носили духовный характер, Комбони предлагал глобальный проект, который включал в себя возрождение всей структуры общества.

С этой целью он предлагал, чтобы все миссионерские заведения того времени, предназначенные для поддержки этого замысла с «тыла», — то есть из их родных стран, — установили между собой связь и свели в единый проект потенциал людей, средств, учреждений. Он желал, чтобы вся Церковь стремилась по-матерински обнять «весь род негров» — самую обездоленную часть человечества. Координация должна была привести в движение в пользу Африки «все элементы католицизма», гарантируя, чтобы «предприятие было католическим, а уже не испанским, французским, немецким или итальянским».

Следует подчеркнуть, что, согласно «Плану», сама Африка должна была содержать своих миссионеров, именно через возрождение с экономической точки зрения всей общественной структуры!

Первые читатели «Плана» сразу же охарактеризовали его как «гигантский» и потому сложный, именно по причине его столь «универсальных и всеобъемлющих» притязаний.

Сам Комбони считал его «грандиозным и трудным делом», но также и столь надежным и необходимым, что не боялся утверждать: «Мне кажется, что я уже хозяин Африки!»

Биограф отмечает, что Даниэле выражался примерно так же, как за несколько десятилетий до того вы-

разился, правда с совершенно иными целями, Наполеон Бонапарт.

«План» почти сразу попал в руки Пия IX, на которого он произвел сильное впечатление; Папа принял Комбони на аудиенции, долго слушал его, поощрил его к налаживанию первых контактов с тем, чтобы оценить возможность создания той сложной координации, которая должна была объединить все силы; потом пообещал, что Святой Престол окажет ему необходимую поддержку и закончил добрыми пожеланиями: «Я рад, что ты хочешь заниматься Африкой... Работай как добрый солдат Иисуса Христа!»

Комбони впоследствии рассказывал, что он говорил с таким пылом и так надвигался на Папу, что тот, отступая, натолкнулся спиной на стену комнаты. В этот момент Пий IX, буквально прижатый к стене, улыбнулся, а Даниэле покраснел от смущения.

Но не прошло и месяца, как он уже обсудил свой проект с двадцатью кардиналами и епископами, а также с главой Ордена Иезуитов.

Однако, тем временем он остался один. Заведение дона Мацца, к которому принадлежал Даниэле, не намеревалось брать на себя ответственность за этот план, реализация которого грозила «величайшими и огромными трудностями».

Так, в тридцать три года Комбони начал свою «общественную деятельность», встречаясь с главами основных миссионерских учреждений, действовавших тогда в Европе. После того, как он нашел поддержку в Вене и Кёльне, он решил отправиться во Францию. Будучи проездом в Турине, он встретился с доном Джованни Боско, святым основателем салезианцев, и с Алессандро Мандзони. С обоими он обсуждал проект, столь дорогой его сердцу.

Он пересек Альпы среди зимы на санях, которые тянули четырнадцать лошадей, и направился в Лион, один из основных центров по поддержке Африканских миссий. Его план, однако, не понравился главам «Общества иностранных миссий» — самого важного и внушавшего доверие заведения того времени.

Их тревожил тон Комбони (так как утверждение, что европейские миссионеры не выдерживают тягот Африки, могло бы отпугнуть призвания!) и излишним доверием, какое он оказывал аборигенам, которые не могли бы стать хорошими учителями и хорошими преподавателями катехизиса; кроме того, проект координации казался им «неудобным и сложным».

В общем, «ради самых святых целей мой план был брошен на землю», — рассказывал Даниэле с горечью и иронией.

Тогда он отправился в Париж, потом в Германию, в Бельгию, в Англию, в Испанию, в Швейцарию. Он вызвал большой интерес, получил множество обещаний и кое-какую материальную помощь, чтобы открыть миссию, но оставался один, хотя и завязывал многочисленнейшие и полезные связи.

Однако, в его душе росли сила и решимость.

Из Лондона он писал другу-священнику: «Я чувствую в себе такие силы, что теперь уже не отступлю. Если бы Папа, Пропаганда (Веры) и все епископы в мире были против, то я бы опустил голову на год, а потом представил бы новый «План»: но чтобы я перестал думать об Африке — никогда, никогда. Меня не приводят в отчаяние ни «*cum quibus*» (нужда в деньгах), ни «святое самолюбие» монашеских Конгрегаций, которым доверены Африканские миссии. В свое время я, конечно же, раздобуду (то есть: выпрошу) денег... У хорошего добытчи-

ка и попрошайки есть три качества: осторожность, терпение, нахальство. Первого мне не хватает, ну да я прекрасно возмещаю его двумя другими, особенно третьим» (П.23.5.1865 г.).

Он знал, что с Божьей помощью не отступил бы ни перед каким препятствием и ни перед каким отказом: «У меня слишком крепкие нервы, я живуч, как кошка. Я всегда буду всем сердцем говорить: да будет благословен Господь!» (там же).

Но еще более того он знал, что все дела Божьи созревают лишь в скорби и в противоречиях: «непреложной гарантии удачи и счастливого будущего».

После нового исследовательского путешествия в Африку в 1866 году он возвращается в Верону, которая тогда уже стала итальянской, как раз в тот момент, когда новое королевство издает, в том числе и для недавно присоединенных территорий, законы об упразднении монашеских конгрегаций.

Несмотря на тяжелое стечение обстоятельств и опираясь на весьма неконкретное ободрение со стороны Рима, ему удастся открыть в городе под покровительством местного правящего епископа небольшую «Семинарию для возрождения Африки». Чтобы поддержать ее материально, он создает «Благотворительное заведение», объединившее несколько сот человек, в числе которых были так же некоторые дворяне и прелаты.

В замыслах Комбони это — первая ячейка из тех разнообразных европейских учреждений, которые должны объединить элементы, пригодные для создания пояса центров на побережьях Африки.

Парадоксальным образом законы об упразднении оказались провиденциальными, благоприятствовав поступлению в новое заведение некоторых монахов, изгнанных из монастырей.

Так Комбони смог организовать свою первую миссионерскую экспедицию, встав во главе четырех монахов святого Камилло де Леллиса, двух монахинь-францисканок и одной монахини-армянки, а также шестнадцати африканских девушек, выкупленных из рабства и воспитанных в Италии.

В Каире они полагают начало первому промежуточному посту. Они временно поселяются в старом маронитском монастыре и живут на пожертвования, приходящие из Европы. Постепенно рождаются первые школы. Материальные нужды тут же становятся безотлагательными, и Комбони вынужден уехать в новое длительное европейское турне.

Там он в равной степени встречает почести, престижные знакомства, признание и помощь с одной стороны, и бесконечные неприятности, подозрения и отступничество с другой, и часто по вине ближайших сподвижников.

В особенности ему приходится сталкиваться с ревностью мощных миссионерских организаций, которые видят угрозу для себя от его конкуренции. В конце концов приходит отказ из Рима, где Кардинал Префект Пропанды Веры, прежде его друг, повторяет всем, что «дон Комбони — сумасшедший, буйнопомешанный...» «Заведение» в Вероне оказывается под угрозой распада.

К счастью, остается общество в Каире. Оно уже открыло там две школы и теперь на средства, собранные в Европе, в состоянии открыть и третью: для девочек разных рас, среди которых и три немки. В этой школе, однако, все учительницы — негритянки: для того времени невероятное завоевание! И это школа, где преподают катехизис, вышивку, домоводство, арифметику, французский, немецкий, итальянский, арабский и армянский языки.

Комбони гордился тем, что смог вот так, с помощью очевидности, ответить на всеобщее презрение, с которым мусульмане и христиане смотрели на негров. Рассказывая об удивлении, которое этом пансион вызывал в Каире, он писал: «Многолетний опыт убедил меня, что не только мусульманин и неверный, но и христианин-католик с добрым и безупречным характером, за редким исключением, смотрит на несчастных негров не как на людей, не как на разумные существа, а как на вещи, приносящие прибыль... Здесь черный, как разумное существо, не имеет никакой ценности... И я захотел показать народам гораздо больше: продемонстрировав с помощью говорящего примера, что, согласно возвышенному духу Евангелия, все люди — белые и черные — равны перед Богом и имеют право на приобретение веры и на христианскую цивилизацию...» (Отчет от 6.6.1871 г.).

И теперь египтяне не только имели возможность убедиться, что черные и белые девочки обучались вместе и достигали одинаковых уровней культуры, но и видели своими глазами, — и в это было невозможно поверить! — негритянок, которые воспитывали даже арабских и немецких девочек.

Был 1869 год — год, когда был открыт Суэцкий канал; при открытии присутствовали европейские короли и императоры. Некоторые из них не преминули посетить школу. Какая гордость для Комбони — быть гидом императора Франца Иосифа и показывать ему своих черных учительниц, способных говорить с ним на правильном немецком языке!

После того, что произошло на Первом Ватиканском Соборе, о котором мы говорили в начале, Святой Престол предписал миссионеру укрепить прежде всего веронскую базу его заведения. Действительно, сильным было беспокойство о пансионах, возникавших в Каире и руководимых небольшой группкой миссионеров, раз-

личных по расе, образованию и по принадлежности к различным монашеским общинам.

Поэтому Комбони вновь должен был начать свои па-ломничества по Европе, чтобы раздобыть средства на открытие центральных домов своего заведения: одного для мужской ветви, которая росла с трудом, а другого — для женской, которой еще не существовало.

От этого укрепления зависело разрешение основать миссию в Центральной Африке, которая была настоящей мечтой Комбони.

Наконец, в 1872 году Пий IX назначил Комбони Апостольским Провикарием Центральной Африки. Практически была признана его власть над всеми миссионерами, которые действовали на огромной территории, почти равной по размерам двадцати Франциям: «самая большая миссия в мире», — говорил он с гордостью.

В наши дни приводят в умиление его попытки передать высокопоставленным собеседникам уже одно только представление о сложившейся ситуации.

В письме к епископу Вероны мы читаем: «Предположим, что современное Итальянское королевство — это вся Африка, что Тоскана и Папское Государство от Феррары до Фрозинонэ — это внутренняя Африка или Нигриция; и что Тироль — это Европа. Согласно этой гипотезе, Верона соответствовала бы Ровередо, Каир — Венеции, Асуан — Ферраре, Хартум — Пистойе, племя «динка» — Флоренции, племя «бари» — Сиене, исток Нила — Риму... Что мы сделали к настоящему моменту? Один лишь очень маленький шаг. Мы основали в городе Ровередо небольшой пансион, чтобы воспитывать миссионеров для Итальянского королевства....» (П.21.5.1871 г.). И он продолжает, описывая всю свою деятельность и свои планы в «сокращенном масштабе», по итальянским меркам.

Точно также вызывает улыбку и то, как он иногда разъяснял европейцам «нужды» своих черных подопечных.

Не без юмора он писал: «Следует подумать о том, что на сто миллионов неверных, из которых состоит мой Викариат, приходится более восьмидесяти миллионов тех, что ходят совершенно голыми: мужчины и женщины. Так вот, чтобы установить католическую веру, необходимо одеть хотя бы женщин и чуть-чуть — мужчин. Одеть их — это огромные расходы, так как штука обыкновенного полотна стоит по меньшей мере сорок франков... В этот момент, когда я Вам пишу, у нас нет белья и для нас самих...» (П.31.7.1873 г.).

Из Каира миссионеры вновь начали продвигаться во внутренние районы. Достигнув Хартума, Комбони сказал со вздохом, что он «наконец-то возвратил себе свое сердце, оставленное там шестнадцать лет назад».

Тогда он произнес свою самую знаменитую проповедь: «Я возвращаюсь к вам для того, чтобы никогда больше не прекращать быть вашим... Ваше благо будет моим благом, а ваши тяготы будут и моими тяготами. Я начинаю делать общее дело с каждым из вас, и самым счастливым из моих дней будет тот день, в который я смогу отдать за вас жизнь» (11.5.1873 г.).

И в первом Пастырском Послании он заявил о своем намерении торжественно посвятить Сердцу Иисусову эту свою необъятную епархию. Что он и сделал, отслужив по этому поводу торжественную литургию и предписав затем повторять посвящение во всех церквях каждую первую пятницу месяца.

Затем он добрался на верблюде до Эль-Обейда, столицы Кордофана, — города, населенного по большей части рабами. Губернатор, который слышал об идеях и о горячем характере Комбони, поспешил сообщить ему, что «рабство было отменено в день, предшествовавший его приезду». Он говорил это, показывая копию Париж-

ского Трактата 1856 года, который он продержал в «долгом ящике» семнадцать лет.

Во многих письмах чувствуется тревога миссионера по поводу этой позорной торговли, которую он решил подорвать любыми способами.

«Работоторговцы, вооруженные ружьями, сотнями выезжают и отправляются в племена на охоту за черными и затем, чтобы похитить их тысячу, убивают по меньшей мере две сотни. По дороге встречаются эти пешие рабы всех возрастов и обоего пола, смешанные все вместе, но больше всего девочки и девушки от четырех до двадцати лет, одетые, как мать Ева в состоянии невинности; то привязанные за шею веревками, прикрепленными к длинному брусу, что опирается на плечо десяти-двенадцати из этих несчастных, построенных вереницей, то со связанными сзади руками или закованными в тяжелые цепи ногами... и так, под ударами копий этих палачей, котрые погоняют их, они идут два-три месяца, по десять-пятнадцать часов в сутки... Это всего лишь слабое представление об ужасах рабства, которое буйствует в моем Викариате» (П.10.3.1874 г.).

Нередко на тропях, которыми они следовали, Комбони и его монахини с ужасом находили тела рабов, забитых насмерть или брошенных потому, что они были не в состоянии выдерживать адский ритм переходов.

Хотя давно уже существовали законы, направленные против торговли неграми, крупнейшими работоторговцами были именно губернаторы и паши. Комбони начал требовать соблюдения законов и восстанавливать нечто вроде права убежища.

«Я объявил пашам Хартума и Кордофана, что всех тех рабов, которых я найду в городе и за его пределами привязанными и т.д., я буду отводить в миссию и больше их не верну; а также всех тех, что придут в миссию с жалобами на дурное обращение со стороны хозяев... я

оставлю у себя и не буду их возвращать (...). Уже сейчас я освободил их более 500. Рог Христа, — говорил дон Мацца — крепче рогов дьявола» (П.24.6.1873 г.).

Все поймут, что это народное выражение, звучащее несколько неуважительно, должно лишь передать силу, с которой Христос любит и защищает своих бедных: силу, пленником которой чувствовал себя Комбони..

Своих миссионеров он учил, что Церковь не только должна вновь отвоевать себе старинное право убежища, но и должна считать себя «источником Права» в этой области.

«В отношении... рабов необходимо приложить все усилия к тому, чтобы добиться и фактически создать себе право убежища, взяв за правило, что Католическая Миссия в этих племенах носит законодательный характер; и должны применяться на практике правила и дух Евангелия и Церкви — то есть отстаивание и защита изо всех сил, перед лицом государей и начальников, свободы и духовных интересов рабов, чтобы затем принять их в стадо Христово» (П.29.6.1877 г.).

И он не побоялся заявить в Европе, что генеральные консулы Франции и Вены — которые бы должны были потребовать в Египте соблюдения трактатов против рабства — «были все продажные».

Тем временем он всячески старался укрепить завоеванные позиции и продвинуться как можно дальше вглубь континента.

Не было недостатка в удовлетворении и энтузиазме, как не было недостатка и во всевозможных страданиях.

Комбони удручали не только неизбежные несчастия, болезнь и смерть некоторых его сподвижников и серьезные происшествия, или же экспедиции, закончившиеся провалом; его огорчали прежде всего расколы внутри его заведения.

Уже в 1872 году он писал:

«Много следует выстрадать ради любви Христовой: сражаться с властью имущими, с турками, с атеистами, с франкмасонами, с варварами, со стихиями, с попами, с монахами, с миром и с адом».

Но ситуация имела тенденцию к ухудшению, поскольку миссионеры, объединившиеся под его руководством, были различного происхождения, и все имели свои личные истории. Рядом с юным, неопытным энтузиастом оказывались уже богатые опытом взрослые люди, «помешанные» на собственных идеях и на собственных методах; были монахи различных конгрегаций и различных духовных течений, готовые на все, но только не на то, чтобы расстаться с собственными мерками; были те, что всего лишь хотели бежать от трудностей, с которыми они столкнулись на родине; те, что скрывали свое темное прошлое; те, кто искал приключений, а то и собственной выгоды; те, кто уступал собственным слабостям, и те, кто героически преодолевал себя.

Так, с одной стороны была необыкновенна личность Комбони с неизбежными пределами его возможностей: он был энтузиаст, очень деятельный, пылкий, часто даже беспорядочный в мелочах, — особенно в администрации, — всегда готовый оказать доверие кому угодно, даже тому, кто его не заслуживал; до такой степени целеустремленный, что он слишком поздно замечал чужие козни. Следует добавить, что он очень часто был вынужден покидать миссию как для того, чтобы навести порядок в базовых заведениях в Вероне, так и для разъездов вдоль и поперек Центральной Европы («от Мадрида до Москвы») в поисках средств. Это один из редких в истории случаев, когда основатель положил начало своему заведению и руководил им со стороны, не имея возможности лично заботиться о фундаменте. История Комбони в некоторых отношениях парадоксальна: она по-

хожа на историю генерала, который вынужден командовать армией, оставаясь на линии огня, в первых рядах.

С другой стороны в подчинении у него была группа, состоявшая из миссионеров, среди которых легко было найти как святых, так и посредственности. И часто одни и те же люди бывали то святыми, то мелочными. Возникали недоразумения, вражда, распри, обиды, дезертирства, зависть, клевета, отголоски которой доходили до Рима, побуждая Святой Престол собирать информацию и проводить неприятные расследования.

Комбони страдал, но не давал себя смутить: «На меня нападали святые и разбойники», — говорил он. Он защищался, когда это от него требовалось, но соглашался на что угодно, лишь бы только все работали на пользу его «несчастных черных».

Мы не должны быть этим смущены, так как среди шлака блистало золото.

Вот как Комбони за несколько месяцев до смерти будет рассказывать о столкновении с одним из своих самых критичных миссионеров: «Тогда я заключил: "Сын мой, пиши, что хочешь против меня Его Преосвященству; напиши и в Рим, в Пропаганду и Папе, что я негодая, достойный виселицы и т.д. Но я всегда все буду тебе прощать, всегда буду тебя любить: довольно, если ты всегда будешь оставаться в миссии, будешь обращать и спасать моих дорогих нубийцев, и ты всегда будешь моим дорогим сыном, и я буду благословлять тебя до самой смерти". Тогда он мне ответил: "В этом не сомневайтесь, я умру в Нигриции и там, куда вы поставите меня работать для негров". Тогда я обнял его и сказал: "*Moriamur pro Nigritia*" (лат.: "Умрем за Нигрицию")» (П.16.7.1881 г.).

Невзирая на клевету и противодействие со стороны многих его сподвижников, он был назначен епископом. Более того, при чтении указа о назначении становится

ясным, что в нем содержалось и его торжественное оправдание от всех обвинений.

Итак, он вернулся в качестве епископа в свою огромную епархию и тут же вынужден был столкнуться с отчаянным положением. Как раз в тот год новая страшная засуха поразила Судан. Вследствие ее случился неурожай, затем голод, затем разразились эпидемии тифа и оспы. Люди умирали, как мухи.

Население целых городов и деревень сократилось больше, чем наполовину. Люди пили ту же скудную воду, что служила для мытья; ели все, что казалось съедобным: от подошв сандалий до собак, кошек, мышей. Откапывали из земли и кости мертвых животных.

Миссионеры тоже один за другим были сражены чумой.

Комбони оставался во все более полном одиночестве. В Европе никто и словом не удостоил эту трагедию.

Когда заболели почти все его собраты, он пишет: «Из священников остался я один: я — и епископ, и настоятель, и прислужник, и врач, и санитар, и могильщик».

В миссии прокатилась волна страха: все, кто приехал туда со слабыми духовными побуждениями, сбежали или вернулись на родину; многих монахинь вызвали в Европу их Конгрегации.

«Сколько я выстрадал... Уверяю вас, что праведный Иов купался в радостях и наслаждениях, если сравнить его со мной. Он был терпеливее меня, но я выстрадал больше его», — будет он впоследствии рассказывать одной благодетельнице.

Возможно, он чуть преувеличивает, чтобы тронуть ее, но продолжает, разумеется, не желая солгать: «Я провел четырнадцать месяцев, не имея возможности поспать хоть один час в сутки».

И завершает: «Как я ни разбит тяжкими трудами, огорчениями и бесконечными заботами, я чувствую в

себе мужество льва... Дело Божие должно продолжаться на царственном пути креста, и следует благодарить Бога» (П.15.8.1879 г.).

Он вновь вынужден вернуться в Европу в попытке найти свежие силы: людей и средства.

И как обычно, когда он уезжает, опять начинают распространяться письма с жалобами на этого епископа, который без конца разъезжает по миру. Рим, с одной стороны, использует его для выполнения бесчисленных поручений, а с другой упрекает его в абсентеизме. Даже епископ Вероны бывает не вполне корректен.

Было столько ничтожества вокруг этого доброго гиганта, который беспокоился о своем несчастном народе.

Но в Италии начинается распространяться и самое позорное обвинение: Комбони, якобы, одержим нездоровой страстью к одной монахине сирийского происхождения, которая очень помогла ему в Африке и которая пожелала перейти в его заведение.

Теперь она находится в веронском центре, где, невзирая на то, что у нее больше миссионерского опыта, чем у других, с ней пытаются обращаться, как с послушницей.

Комбони защищает ее. Тем, кто имеет подозрения, он гордо возражает: «Я потел и страдал, чтобы спасти белых, черных, протестантов, турок, неверных, грешников и проституток. Я просил милостыню от Москвы до Мадрида, от Дублина до Индии, чтобы спасти черных и белых, чтобы поощрить призвание добрых и злых, я делал добро людям, которые после плевали мне в лицо... я просил милостыню и потел, чтобы накормить бедных, несчастных, священников, монахов, монахинь, зануд и ублюдков, и не должен потеть и просить милостыню для Вирджинии, которая была одним из самых верных и умелых работников в диком и непроходимом винограднике Африки и которая всегда была ко мне добра?» (П.19.3.1881 г.).

Так, защищая одну лишь свою дочь, он описывает бесконечную широту своего апостольского сердца. Но для некоторых мелочных и подозрительных личностей это только лишнее доказательство.

Он смог возвратиться в миссию в начале 1881 года. Страдания, причиненные засухой, не закончились, и материальные средства иссякали все быстрее.

Между тем в Италии продолжались сплетни о его воображаемой связи, нанесшие серьезный вред монахине, которая по этой причине терпела нападки; на нее смотрели с подозрением и обращались с ней откровенно несправедливо. Говорили, что она — «язва миссии».

Даниэле бросает вызов сплетням и стоит за нее горой. «Я всегда спасал души и никогда не потерял ни одной... Зная, как Вирджиния доверяет мне, моему характеру епископа, основателя и отца, я не могу и не должен предать ее».

Он даже скажет: «За то, что я сделал для Вирджинии, Бог вознаградит меня равным образом и даже более того, что я могу заслужить, всю жизнь потев и умирая ради спасения Нигриции» (П.24.9.1881 г.).

И кажется почти невероятным, чтобы человек, который убеждал императоров и кардиналов, дворян и интеллигентов в пользу Африки, писал также одно письмо за другим Кардиналу Префекту Пропagанды Веры, чтобы защитить несправедливо обвиненную монахиню, — будучи убежден, что от спасения одной-единственной души зависит спасение мира. И это были последние письма в его жизни.

«Я жду от Иисуса Рая за то, что я сделал для этой несчастной!» — таков крик его души в одном из писем за полгода до смерти.

Но он кричит также, что в его сердце «никогда не было другой страсти, кроме Африки», «Африка — моя любовь», — пишет он однажды с достоинством, которого его клеветники не могут даже себе вообразить.

Однако же, человеческое ничтожество безгранично, так что внезапно Даниэле Комбони, всегда боровшийся, как лев, кажется, сдался. Он, который никогда не отдыхал, лежит в постели подавленный, и у него нет более желания реагировать; он даже воображает себе несуществующую боль в спине. На самом деле кто-то передал его старому, семидесятивосьмилетнему отцу клевету о его связи с монахиней, и бедный старик, «страшно опечаленный», плакал, как ребенок. Затем он ему написал: «Понимаю, что я должен умереть с раной в сердце, да благословит тебя Бог».

«Вот моя последняя и величайшая скорбь, — пишет в свою очередь Даниэле, — что меня порицают, что на меня доносят Папе. Будут вредом для миссии несколько лет моего отсутствия из Африки, чтобы оправдаться перед безошибочным "Наместником Христа", который всем отец... Но беспокоить и мучить святого старика, который не только дал мне материальную жизнь, но и еще более того — духовную, это уже слишком... Да будет воля Божья. Все предрасположено Богом, который всегда слышит стоны угнетенных и защищает невинность; и мой отец, умирая с раной в сердце, нанесенной клеветой, подозрением и ложью, на подозрении и на лжи... приобретет новый венец на небе, где, надеюсь, скоро мы будем вместе» (П.13.8.1881 г.). Через два месяца после того, как он написал это письмо, Даниэле умер еще раньше своего отца, в пятьдесят лет.

До последнего произнося слова оправдания в адрес своих клеветников: он говорил о своей уверенности в их добрых намерениях, о том, что он принимает их в качестве сподвижников, тогда как страдания подавляют его:

«Я нахожусь здесь, на поле боя, готовый потерпеть поражение, ради Иисуса и ради неверных, в каждый момент моей жизни, и тогда как я подавлен и погружен

в океан испытаний, которые раздирают мне душу» (П.24.9.1881 г.).

Возможно этот намек на поле боя имеет отношение к свежей новости, которую он первым сообщил в Европу.

Ходят слухи, что «Судан исполнен возмущением из-за так называемого пророка, который утверждает, что он послан Богом освободить Судан от турок и от христианского влияния» (П.13.8.1881 г.).

Это было начало знаменитой и кровавой «священной войны» Махди, которая вот-вот должна была смести в Центральной Африке все следы христианского присутствия. Комбони по секрету получил новость о первых столкновениях и о первых массовых избиениях правительственных войск.

«Радуйтесь! — заключает он, — Мы раньше попадем в Рай. Слава Иисусу».

Он умер через два месяца, пораженный черной лихорадкой. Вскоре Махди уничтожил все то, что ему удалось создать, и даже его могилу, семнадцать лет продержав в плену оставшихся в живых миссионеров.

Чуть более, чем через сто лет после смерти Комбони, 10 февраля 1993 года на самой большой площади Хартума, предоставленной мусульманскими властями, быть может, с тем, чтобы сделать очевидной и смешной малочисленность суданских христиан, Иоанна Павла II будет приветствовать миллион верующих, которые все еще живут в обстановке гонений. Именно по этому случаю епископы страны выразили Папе желание увидеть канонизированным Комбони, которого они считают отцом в вере.

«Мы, — говорит сегодня епископ Судана, — его мечта, ставшая реальностью».

Блаженная Виктория РАЗОАМАНАРИВО
(1848-1894 гг.)

Не прошло и трех лет после того, как Васко да Гаме, знаменитому португальскому мореплавателю, удалось обогнуть Мыс Доброй Надежды, как 10 августа 1500 года корабли, плывшие на север вдоль берегов Африки, открыли «Большой остров», которому дали имя святого, чья память отмечалась в тот день: «Остров Святого Лаврентия».

Это название, однако же, острову дали напрасно, так как было установлено, что это была та самая сказочная земля, — земля слонов и грифонов, — о которой рассказывал Марко Поло в «Миллионе»: «Со стороны Индии, к югу расположен остров Мадагаскар. Все его жители — сарацины, и управляют ими четверо старейшин, господствующих над всем островом...»

Так за ним и осталось название, подсказанное знаменитым венецианским путешественником в начале четырнадцатого века.

Тем не менее открытие не вызвало большого интереса, так как остров, казалось, не имел крупных ресурсов. Корабли использовали его берега лишь затем, чтобы пополнить запасы воды, риса и мяса. И никто очень-то не заботился даже о возможной проповеди христианства.

Некоторые неловкие попытки были предприняты в начале XVII века, но остров казался непроницаемым по причине его климата и враждебности аборигенов.

Поэтому, за исключением нескольких поселений на побережье, он остался собственностью восемнадцати

туземных племен, очень различных между собой, а также многочисленных местных князьков. Среди других племен господствовало племя аборигенов мерина, которые занимали «Верхние Земли» центральной части со столицей Антананариво. Их королевство постепенно распространится на весь остров.

Христианская проповедь Евангелия началась в первые десятилетия XIX века, когда «Лондонскому Миссионерскому Обществу» — протестантской организации — удалось открыть школу в столице королевства Мерина.

Для короля Радамы I не столь важна была христианизация его народа (как раз напротив, было строго запрещено совершение крещения), сколь цивилизация и обучение европейским технологиям ремесел. Он относился благосклонно лишь к широкому проекту школьного обучения высших классов страны.

После смерти короля и через восемь лет после прибытия первых миссионеров школ было уже тридцать семь, и они насчитывали более двух тысяч трехсот учеников с сорока мальгашскими преподавателями.

Тем временем самым решающим итогом деятельности миссионеров стал перевод на мальгашский язык Библии и основание типографии, чтобы обеспечить ее печатание и распространение во многих тысячах экземпляров.

Впрочем, Библией и церковным пением протестантские миссионеры ограничивали всю проповедническую деятельность тех первых лет.

В 1828 году на престол взошла жена Радамы, королева Ранавалона I (1828-1861 гг.), которая в первые годы своего царствования казалась даже более открытой и расположенной к диалогу, чем ее муж. Священнослужителям было разрешено крестить, стали образовываться

христианские общины, и Библия начала проникать в культуру народа.

Но все это внезапно прерывается в 1835 году, когда королева предписывает четкое разделение между аспектами цивилизации и христианизации ее народа.

То, что невозможно для миссионеров, ей кажется очевидным и необходимым: «Я признаю всякую мудрость и всякое знание, которые могут быть полезны этой стране... но в том, что касается религиозной практики, крещения, ассоциаций, — то моему народу запрещено в них участвовать как в воскресенье, так и в другие дни недели. Вы, иностранцы, следуйте вашим обычаям...»

Случилось неизбежное. После первоначального воодушевления королева отдала себе отчет в том, что древние традиции, на которых было основано королевство, и эта новая вера, требовавшая радикальных перемен, — непримиримы. Как совместить Евангелие с тем фактом, что мальгашские государи считались живыми божествами, наделенными абсолютной властью над жизнью и смертью? Как не замечать того, что требовательная христианская мораль сметала древние социальные и религиозные структуры королевства, — такие, как рабство, многоженство, обычаи, связанные с обожествлением идолов и поклонением им? И уже раздавались голоса в пользу отмены рабства.

Но в сущности имелась и еще более серьезная проблема: власть короны была почти абсолютна и до такой степени пронизывала все общественное устройство, что любая религиозная оппозиция рано или поздно начинала выглядеть как предательство.

Необходимо было выбирать: оставаться ли привязанными к «своим предкам» — предкам «священной земли» — или поклоняться «предкам чужеземцев», что рассматривалось в качестве национального предательства.

Так Ранавалона I, согласно законам самого жесткого идеологического деспотизма сначала предписала явку с повинной для тех, кто уже следовал религиозной практике иностранцев.

Следствием явки с повинной должно было стать лишь наказание: понижение в звании — для военных, штраф — для гражданских лиц. Если же дело доходило до доноса со стороны кого-то другого, то наказанием была смерть.

Это было настоящее «Королевство Террора», которое, согласно сравнению, сделанному уже в то время, ни в чем не уступало временам Французской Революции. Оно просуществовало до истечения тридцати трех лет царствования Ранавалоны I. Все эти годы довольно было лишь простого доноса без доказательств, чтобы человека арестовали.

Для всех, кому было выгодно избавиться от хозяина, от соседа, от подчиненного или от начальника, или даже от обременительных родственников, донос сделался верным средством.

За доносом тут же следовала конфискация имущества, разрушение дома; пытка, чтобы выбить другие имена; смертная казнь с разнообразием методов и фантазий, достойными лучшего применения: обезглавливание, побивание камнями, смерть в огне, в кипятке или от яда, низвержение с утеса.

Иногда семью приговоренного заставляли готовить орудия пытки.

Тела лишали погребения и оставляли бродячим собакам. Та же участь ждала тех, кто помогал беглецам.

Подсчитано, что за время царствования Ранавалоны I были преданы смерти более двухсот тысяч мальгашей. И гонение периодически усиливалось всякий раз, когда раскрывали попытки восстания против столь ужасной правительницы.

Английские миссионеры вернулись на родину. И тем не менее новые христиане, опираясь почти исключительно на Священное Писание, ставшее их духовным хлебом и единственной поддержкой, не только выстояли, и многие из них приняли мученическую смерть, но по некоторым сведениям общины даже выросли в те годы. Вот что может Слово Божие.

Разоаманариво (Разоа — означает «красивая») родилась в 1848 году, в самый разгар бури, которая, однако же, не имеет к ней прямого отношения. Дядя ее отца был принцем, супругом королевы, а также первым министром и главнокомандующим армией.

Те же самые должности занимали и оба его сына, дяди Разоа, еще целых тридцать три года.

Таким образом, Разоа принадлежала к высшей знати: маленькая язычница, которая спокойно жила под защитой двора, его обрядов и развлечений.

Но все же она должна была что-то знать о том ужасном гонении, так как ее дом находился совсем близко от высокого утеса, с которого, когда ей было девять лет, сбросили множество христиан.

Но она была привилегированной прежде всего потому, что невероятным образом как раз в своем доме и в те годы у нее была возможность встретить, того не зная, первого католического священника.

Что было неизвестно жестокой королеве (хотя у нее и были некоторые подозрения), так это то, что ее сын Ракото, который унаследует престол под именем Радамы II, переписывался с самим Папой Пием IX.

События разворачивались таким образом: Ранавало-на I всегда поддерживала прекрасные отношения с одним бретонским коммерсантом, который поставлял снаряжение ее войскам. Это был один из немногих иностранцев, кому был разрешен въезд в столицу. При нем

находился секретарь, который в действительности был миссионером-иезуитом.

Монах представился ученым, проделав некоторые опыты из физики, — например, запуск монгольфьера, который взлетел на триста метров и затем грациозно опустился прямо на дворец королевы, — и был хорошо принят при дворе.

С наследным принцем, однако, миссионер установил более тесную связь: они обсуждали вопросы религии, но также и необходимость открыть королевство новым веяниям цивилизации.

Дружба зашла так далеко, что принц даже попросил разрешения присутствовать на святой мессе, которую тайно отслужили перед его особой. Было 8 июля 1855 года: впервые Иисус Христос в Святых Дарах явился на той земле.

Письмо Папе, о котором мы упомянули и которое недавно было найдено, датировано следующим годом. Ракото, называя Папу «дорогой Отец» и подписываясь «ваш сын», пишет ему: «Я прошу Бога дать мне справедливое сердце, чтобы привести Мадагаскар к цивилизации, так как я уверен, что только мудрость может доставить мир и благо народа».

Чтобы добиться этой цели, Ракото предпринял попытку государственного переворота в 1857 году. Потерпев поражение, он добился лишь того, что гонение сделалось еще более жестоким. Все иностранцы, в том числе и два-три иезуита, приехавшие инкогнито, были изгнаны из столицы.

Ранавалона умерла в 1861 году после долгого и горького царствования. Тогда Ракото взошел на престол под именем Радамы II и тут же провозгласил свободу вероисповедания.

Он говорил миссионерам: «Я не только позволяю, но и повелеваю и желаю, чтобы вам была предоставлена свобода открыто, со всевозможной ясностью проповедовать религию... Протестанты могут проповедовать все, что желают; что касается меня, то я чувствую себя более склонным к католичеству, но я решил еще какое-то время оставаться нейтральным и посмотреть на обе стороны в сравнении, — так, чтобы лучше проявилась истина...»

Тем временем самое многозначительное событие было сохранено в тайне: как раз в день коронации, когда, согласно древней религии народа мерина, король становился подобным богу, в шесть часов утра Радама II присутствовал на святой мессе, в конце которой миссионер-иезуит благословил корону и возложил ее на голову монарха.

«У меня есть лишь одна мысль, — говорил король миссионеру, — лишь одно желание: чтобы свет истины и цивилизации сиял перед глазами всего моего народа».

Через несколько дней в столицу прибыли и несколько монахинь одной французской конгрегации, чтобы открыть первую католическую школу. Их принял со всеми почестями дядя Разоаманариво, которой тогда было тринадцать лет, и она стала одной из первых девочек, которых вверили монахиням. Действительно, ее семья установила дружеские отношения с миссионером-иезуитом еще тогда, когда все считали его лишь очаровательным и благоразумным секретарем французского коммерсанта. Так что девочка смотрела во все глаза, когда впервые увидела его в одежде священнослужителя.

Она начала изучать катехизис. Когда она узнала о Божьих заповедях, то была полна изумления: до такой степени придворная жизнь была далека от этих предписаний. Во время одного из уроков монахиня услышала ее печальное восклицание: «До сих пор мы всего этого

не знали. И мы уже не можем начать жизнь сначала. Но в будущем мы никогда больше не будем совершать этих грехов!» Это первые ее слова, дошедшие до нас. Вера прививается через повиновение сердца.

Она быстро усвоила катехизис. В конце первого учебного года она уже могла заменять заболевшего миссионера в преподавании рабам. Эта ее готовность означала, что она уже уловила суть христианского учения, поскольку знать никогда не вступала в контакт с рабами, разве только для того, чтобы позволить себя обслужить.

Прежде всего она научилась знать и любить Господа, которому угодно не то, чтобы Его боялись, как древних идолов, но чтобы обращались к Нему с любовью и почитанием.

Вот одно из ее воспоминаний, относящихся к тому времени, когда она готовилась к крещению: «Однажды я вошла в церковь как глупая девчонка, грызя какой-то плод. Тут же мой взгляд остановился на дарохранительнице, и я была смущена, как будто бы кто-то смотрел на меня оттуда. Я устыдилась своего поведения и вышла, чтобы выбросить плод. Потом вошла вновь и преклонила колени для молитвы».

К сожалению, Радама II, король, на которого католики возлагали столько надежд, был больше заинтересован в цивилизации европейцев, чем в их вере. Кроме того он не проявил благоразумия в своем царствовании, понапрасну обостряя общественные противоречия.

После двух лет царствования король был задушен в результате заговора, организованного первым министром.

Тогда на престол взошла Разоэрина (1863-1868 гг.), жена убитого; по отношению к христианам она придерживалась нейтральных позиций.

Разоа, которая вынуждена была прервать свою подготовку к крещению во время государственного пере-

ворота, наконец-то смогла креститься. Ей было почти пятнадцать лет, и она получила имя Виктория.

Шесть месяцев спустя она, вместе с двумя десятками других девочек, получила первое причастие. Это был первый праздник причастия на Мадагаскаре!

В тот же год она вышла замуж за своего кузена Радриаку, старшего сына главнокомандующего — своего дяди, который через несколько месяцев должен был занять также пост первого министра.

Так Виктория стала любимой племянницей и невесткой самого могущественного человека в королевстве: того самого Райнилайаривони, который «в качестве первого министра и супруга трех королей подряд фактически был монархом королевства с 1864 по 1895 год».

Таким образом, были предпосылки для счастливой жизни, но Виктория должна была созреть в страдании: своим, с одной стороны, и в страдании своего народа, с другой.

В то время религиозная ситуация тесно переплеталась с политической. Франция и Англия оспаривали друг у друга союз с Мадагаскаром, чередуя обещания с угрозами и пытаясь противодействовать друг другу.

Политические интриги неизбежно отразились на миссионерах, из которых французы были католиками, а англичане — протестантами.

Отношения между ними в то время, когда экуменизм был еще неизвестен, были конфликтными и сами по себе. Политика еще больше все усложняла и запутывала.

Королева официально оставалась нейтральной в споре между католиками и протестантами (между «двумя Молитвами», как говорилось тогда и как говорится еще и в наши дни) в той мере, в которой была политически не уверена в выборе между французами и англичанами.

Ситуация начала резко меняться в 1868 году, когда на престол взошла Ранавалона II (1868-1883 гг.), которая сразу же проявила решимость отказаться от древних верований, чтобы принять христианство.

Уже во время церемонии коронации на месте древних идолов была Библия. И возвышение было украшено надписью: «Слава Богу, и на земле мир людям доброй воли».

Королеве прислуживали две благородные девушки: протестантка и католичка (наша Виктория). Драма разразившаяся вскоре, не могла заявить о себе более образно.

Печальный расчет вынудил королеву сделать выбор в пользу английских протестантов.

Министр иностранных дел, человек откровенно легкомысленный и так же приходявшийся Виктории родственником, выставил себя на аукцион. Религия тех, кто больше платил, должна была стать «государственной религией».

Католические миссионеры отказались, «так как души не покупаются за деньги»; протестанты согласились.

В воскресенье 28 февраля 1869 года Ранавалона II и неизменный первый министр публично крестились у двух методистских пасторов-мальгашей.

Католикам официально гарантировали свободу совести, но все знали, какой вес имела «религия королевы». Это было протестантство, которое сохранит свои привилегированные позиции до падения меринской монархии.

Несколько месяцев спустя королева приказала публично уничтожить всех идолов, существовавших в стране. Ее единоверцы называли ее за это «Святой».

Последовало массовое обращение подданных: если в 1862 году в сельской местности насчитывалось около тридцати протестантских общин и около двух тысяч по-

следователей, то в конце 1869 года общин было 468, а их членов — 153 008.

Вот что означала ведущая роль монархов! Так что протестантские миссионеры были более озабочены, чем удовлетворены таким приростом.

Но так называемая свобода, которая могла быть терпима в народе, не была таковой для знати и прежде всего для родственников первого министра. Всех их детей забрали из католических школ; взрослые приспособились без труда, и Виктория начала терпеть, особенно со стороны дяди и мужа, постоянное давление и угрозы, целью которых было склонить ее к отступничеству.

Последовали угрозы быть отвергнутой родственниками, лишенной наследства, изгнанной к рабам и лишенной права погребения в семейной гробнице. Последнее наказание еще и в наши дни для мальгаша столь тяжело, что мы, европейцы, никогда не сможем этого понастоящему понять. «Иностранец, — говорят они, — может знать, что это означает, так как ему много раз это объясняли, но речь все же будет идти о чисто интеллектуальной осведомленности».

На какое-то время Викторию даже изгнали к рабам и лишили ее гражданских прав. Рабам платили, чтобы те бросали в нее камни, когда она шла в церковь, и кое-кто даже пытался убить ее.

Виктория устояла и испытала на себе то, о чем говорит Евангелие: она чувствовала, как ответы, которые она должна была дать, зарождались у нее сами по себе.

«Угрозы бесполезны, — объясняла она, — они лишь укрепляют мою веру. В тот день, когда вы прогоните меня из дома, я почувствую себя свободной от всех забот и пойду просить гостеприимства у тех, кто любит меня. Но вы никогда не сможете заставить меня отка-

заться от моей католической религии. Мне не нравятся смутные и неопределенные цвета: я хочу, чтобы черное было действительно черным, а белое — белым».

Тогда прибегли к соблазнам, пообещав ей большие богатства. И упорно напоминали ей о ее неотъемлемой принадлежности к родственному кругу. «Я не принадлежу вам, — возражала она дяде. — Вы глава семьи, но моя душа принадлежит Богу. И я не продам ее за деньги».

Другой дядя, первый министр, продолжал, невзирая ни на что, смотреть с любовью на эту свою столь мужественную племянницу и невестку.

Виктория никого не боялась, она не стыдилась ни своей веры, ни своего благочестия. Она была способна встать на колени на улице, когда было время читать *Angelus*, или делала это при дворе, тогда как другие развлекали королеву играми и разговорами.

В королевском дворце, где она ежедневно выполняла обязанности придворной дамы, видели, как она спокойно молилась перед принятием пищи, совершала молитву розария в положенное время или запросто подходила к трону, чтобы попрощаться, говоря: «Мне пора идти в церковь, извините меня!»

Тем, кого удивляло ее поведение, она объясняла, как будто не могло быть ничего более естественного: «Так поступаем мы, католики».

Иногда придворные, думая развлечь королеву, вставали на колени перед Викторией, и чтобы посмеяться над ней, бормотали первые слова молитвы *Ave Maria* (почитание Марии ненавистно для протестантов). Но шутки продолжались недолго, поскольку первый министр не намерен был их терпеть.

Более того, когда он видел, как племянница отделялась от группы, чтобы прочесть свой *Angelus*, он приказывал двору: «Молчите, Разоаманариво молится».

Теперь уже были слишком очевидны ее доброта и человеколюбие, проявляемые ею повсюду, как и ее невозмутимое достоинство.

Даже рабы — а она, согласно обычаям, имела их несколько сотен — считали ее матерью и отказывались от освобождения, ибо нигде больше им не было бы так хорошо, как в ее доме.

Все знали, что она отдавала доходы от своих рисовых полей рабам, которые их обрабатывали; что она платила своим носильщикам так же щедро, как и европейцы; что она приглашала врачей и приобретала дорогие лекарства, даже если заболели рабы; что она никогда не отказывала в милостыне. Она даже наняла трех «полевых адъютантов», в чьи обязанности входило отыскивать в городе скрытую нужду, в которой она спешила прийти людям на помощь.

Кроме того, у первого министра была особая причина, чтобы уважать свою невестку: его старший сын Радриака, супруг Виктории, оказался недостойным мужем.

Вечером он возвращался домой лишь для того, чтобы снять форму высшего офицера (он командовал частью мальгашской армии), надевал простую ламбу и отправлялся на поиски приключений. Напиваться допьяна рому, посещать проституток и тратить деньги на игру — таковы были его излюбленные и привычные пороки.

Иногда он пропадал целыми неделями и когда возвращался, то бывал совершенно измотан.

С согласия королевы, первый министр сразу же предложил Виктории расторгнуть этот недостойный брак. Но она отказалась.

Она бросилась к ногам государыни и умоляла: «Христианский брак нерасторжим. Он установлен Богом и благословлен Церковью. Люди не имеют над ним никакой власти».

В этом ответе слышны формулировки, заученные наизусть на уроках катехизиса, но трогательно услышать их из уст молодой женщины, крещеной всего несколько лет назад и живущей в обстановке, где христианский образ мыслей совсем не распространен.

Радриака, оставшийся язычником, хотя он и примкнул к протестантам, не изменил своего поведения во все двадцать четыре года их брака, до самой смерти, причиной которой стали именно его пороки.

Если он был уверен, что об этом не станет известно, он не боялся приводить любовниц даже к себе домой. Покушался он и на рабынь в доме, когда ему удавалось избежать надзора жены.

Всем был известен этот развратный образ жизни, и тем не менее десятки очевидцев, которые были допрошены во время канонического процесса, в один голос утверждали, что никогда, ни разу не слышали, чтобы Виктория жаловалась на мужа, либо говорила о нем плохо или с недостаточным уважением. Она лишь молилась и просила других молиться за него.

Как только у нее появлялась малейшая возможность, она старалась привлечь его к участию в своих делах милосердия, даже если часто это участие было лишь номинальным. Но много значило уже и то, что он от этого не отказывался.

«Ни одна другая женщина не страдала в браке так, как она», — будет свидетельствовать подруга тех лет, ставшая впоследствии монахиней. Это говорили все. В городе она стала чем-то вроде притчи. Если какая-нибудь молодая жена не ладил с мужем и родственники хотели склонить ее к разводу, то ей говорили: «Не будь такой глупой, как Виктория Разоаманариво, и не страдай, как она. Брось его!»

Свидетели утверждают, что добродетелью, которой они больше всего в ней восхищались, было «необыкновенное, несравненное терпение».

«Бог претерпел тяжкие страдания, — объясняла она. — Я тем более должна их терпеть».

С этим простым выражением, конечно же усвоенным от монахинь на уроках катехизиса, Виктория унаследовала всю аскетическую мудрость христианства, весь опыт святых. И всерьез следовала их учению.

Точно также она последовала требовательному учению Евангелия, решив лично выполнять работу, которую как правило делали рабыни. Когда Радриака возвращался домой, грязный душой и телом, она сама мыла ему ноги.

Можно пересказать Евангелие различными способами. Тот, который избрала Виктория, был наиболее понятен для мужа, пьяницы и бабника. Мы увидим это в конце нашего повествования.

Почти создается впечатление, что Богу было угодно положить эту печальную семейную историю Разоаманариво в основание христианской истории Мадагаскара. Не только по причине педагогической силы подобного примера и опыта, но и оттого, что события сделают Викторию «матерью всех католиков».

Шел 1883 год. Франция решила отстоять права, которые, как она считала, она имела на Мадагаскар на основании некоторых спорных трактатов прошлого.

Напротив, меринская монархия никогда не намерена была признавать ни за одним иностранцем право собственности на свои территории, за исключением временного. Все неотъемлемым образом принадлежало монархам.

К несчастью, остров имел стратегическое значение для хода империалистической экспансии, которая противопоставила друг другу Францию и Англию.

После того, как французские корабли вследствие стычек, в которых не обошлось без англичан, бомбардировали порт Таматаве, была объявлена война, и все фран-

цузы были изгнаны с острова. Английские протестанты подливали масла в огонь и требовали смертного приговора для иностранцев, в том числе и для католических миссионеров, но первый министр воспротивился этому. Не без иронии он заметил, что «не хочет вести себя как дикарь, подобно тому, как поступили европейцы со своей бомбардировкой».

Французским миссионерам дали неделю времени на то, чтобы добраться до порта Таматаве.

Таким образом католическая община, которой было всего двадцать лет, осталась без священников, без руководства и без таинств.

Монахини и самые пожилые миссионеры первыми отправились в путь пешком, так как не смогли найти для путешествия ни носильщиков, ни продовольствия. Только благодаря заступничеству Виктории перед дядей — первым министром, носильщики догнали их, когда они уже прошли с десятков километров. Затем настал черед более молодых миссионеров.

Последние четыре дня их пребывания в столице были горестны. Осознавая ту драму, которая должна была разыгаться, бесконечные вереницы христиан толпились вокруг исповедален, чтобы получить, быть может в последний раз, отпущение грехов.

Святые Дары (шла неделя праздника Тела Господня) были торжественно выставлены для поклонения верующим, и те приступали к причастию, которое могло быть для них последним, с желанием соединиться с Иисусом в нерасторжимый союз.

Когда в последний день в шесть часов утра опустела дарохранительница, и лампада перед ней была погашена, верующие рыдали.

На территории между двумя городами Антананариво и Фианарантсоа были оставлены на произвол судьбы около восьмидесяти тысяч католиков: почти все моложе

тридцати пяти лет, большинство из них низкого общественного положения : «Все — молодые, бедные и незначительные», — высокомерно констатирует современник.

Единственная организация мирян, которая, возможно, смогла бы устоять — был Католический Союз, объединявший самых активных и ответственных верных. Была и Разоаманариво, чей моральный авторитет был всеми признан как благодаря ее общественному положению, так и благодаря духовным качествам, которые она проявляла.

Когда настал момент прощания, настоятель миссионеров торжественно обратился к ней: «Виктория, когда наш Господь вознесся на небо, Мария, его мать, осталась на земле, чтобы ободрять и поддерживать апостолов и первых христиан. Так же будешь делать и ты в отсутствие миссионеров: ты должна быть ангелом-хранителем католической миссии и опорой христиан». Она ответила со слезами: «Отец, я сделаю все, что смогу!»

Затем отцы попрощались с собравшимися там плачущими верующими: «Настал час жертвы. Принесем ее от всего сердца нашему доброму учителю Иисусу. Это ради Него мы вынуждены предпринять столь длительное путешествие. Вспомним слова Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное».

Они уезжали из-за войны. Однако, они знали, что политические корни переплетались с религиозными, и что именно протестанты боролись за то, чтобы добиться для них смертного приговора. И наконец, они знали, что оставленные ими католики шли навстречу гонениям.

Они должны были пройти пешком около трехсот пятидесяти километров. Примерно после десяти километров пути у них украли все вещи и те небольшие деньги, которые они имели при себе. Некоторые из них умерли от усталости и от голода, так как во многих деревнях

власти распорядились не продавать им продовольствие ни за какую цену.

Тем временем войска заняли католические церкви: официально — чтобы «охранять французскую собственность», фактически — чтобы помешать верующим собираться. Запугивание было очевидным: у охраны были списки, куда она должна была заносить имена тех, кто туда приходил.

Наступило воскресенье. Уже прошло три дня с того момента, как уехали миссионеры, и католики не смели приблизиться к своим церквям. Виктория решительно направилась в храм. Когда ей помешали войти, ссылаясь на «приказы свыше», она явилась ко двору и потребовала объяснений. Официальных приказов не было. Следовательно, она возвратилась в сопровождении христиан, требуя, чтобы им дали возможность войти в дом Божий.

Она мужественно предупредила солдат, что в случае необходимости готова будет умереть. Охрана не посмела остановить ее.

На этом первом собрании самые решительные члены Католического Союза пожелали спланировать и организовать также и занятие всех сельских церквей.

Виктория начала свою материнскую работу по поддержке и руководству. «Сначала займемся соблюдением самих себя, — сказала она, — а затем начнем освящать других. Организуем как следует четыре церкви столицы, — так, чтобы они были примером и дали уверенность всем другим. А затем поможем и сельским приходам».

Поэтому была составлена программа, чтобы гарантировать существование и обучение католических общин столицы.

В воскресенье все должно было продолжаться, как и раньше, согласно обычаям, которые делали торжествен-

ным весь праздничный день: церковное пение, молитвы и повторение катехизиса рано утром. После обеда — пение вечерни, объяснение катехизиса, песнопения к выставлению Святых Даров и благословение. Часть литургии, обычно произносимую священником, должен был громко читать один из членов Католического Союза. А самые образованные молодые люди должны были по очереди проповедовать.

По утрам во все остальные дни недели — совместное чтение розария и церковное пение.

Виктория должна была занимать в церкви почетное место, на специально украшенной скамье прямо посреди центрального нефа.

Она запросто согласилась на это, пояснив, что будет находиться там как бы для того, чтобы возвещать всем: «Не бойтесь! Если на нас нападут, я первая буду под ударом».

В конце этого первого организационного собрания секретарь записал в протокол: «Виктория — это основание, колонна, отец и мать всех христиан, как была Святая Дева после вознесения Иисуса Христа на небо».

Как видим, указание миссионеров было полностью принято.

«Но что вы делаете в своих церквях, если у вас больше нет Евхаристии?» — ехидно спрашивали католиков протестанты.

Виктория отвечала: «Я присутствую на всех мессах, которые служат в целом мире».

Когда столичные общины были обустроены, Католический Союз начал организовываться для помощи сельским приходам. Округи были распределены между различными членами Союза, которые приезжали и председательствовали от имени Виктории на воскресных собраниях.

Формулировка представления была такова: «Властью Виктории Разоаманариво, жены Радриаки и племянницы первого министра, которая ныне является главой католической Церкви Антананариво».

Затем они возвращались в столицу и докладывали о проделанной работе. На местах оставались «комитеты мирян», на которые было возложено повседневное руководство общиной.

Миссионеры отсутствовали три года, в течение которых Виктория была матерью мальгашской Церкви, особенно в самые сложные моменты, когда жизнь общины больше всего подвергалась угрозе.

Именно ее мудрость и энергия воспрепятствовали раздорам между католиками Союза, казавшимся порой совершенно неизбежными из-за напряженности и неуверенности, накопившихся по причине отсутствия опыта у ответственных лиц, которые были слишком молодыми и пылкими.

Именно ее милосердие по отношению к бедным, прокаженным, заключенным, рабам заставляло постоянно биться сердце общины и именно ее щедрость сделала возможным материальное выживание последней. Она финансировала периодическую реставрацию церковных зданий и выплачивала зарплату всем учителям католических школ.

Прежде всего ее авторитет и трезвость ее ума помешали католикам попасть в политическую ловушку, в которую их хотели заманить.

На Мадагаскаре укоренилось убеждение, что религия королевы должна быть также и религией народа. Наиболее образованные люди научились проводить некоторые различия и заговорили о свободе совести, но массы были очень далеки от этих завоеваний цивилизации.

Фактически протестантство теперь было «религией королевы», и уже из-за этого на католиков смотрели недоброжелательно и преследовали их, прежде всего в сельской местности.

Кроме того, с тех пор как королева воевала с Францией, можно было обвинить мальгашских католиков в том, что они исповедовали религию французов и что из-за этого они были предателями.

Тогда было нелегко освободиться от этой аргументации, особенно когда к ней прибегало мелкое местное начальство с тем, чтобы оправдать злоупотребления и гонения.

Бедные люди очень просто выходили из положения: «Если мы предатели, то предательница и Виктория, так почему же вы не посадите ее в тюрьму?» Но когда прибывала Виктория — зачастую подвергая себя тяжелым и утомительным путешествиям именно для того, чтобы заявить о своем присутствии, чтобы ободрить людей, — никто не смел ее тронуть. Не только все знали, что она была любимой племянницей первого министра, но и были покорены ее авторитетом и достоинством.

Кроме всего прочего, когда она приезжала, оставались пустыми даже протестантские церкви, столь велико было любопытное желание присутствовать на собраниях, где она председательствовала.

Самым грамотным Виктория давала и точные формулировки аргументации: «Миссионеры — французы, и они вынуждены были уехать потому, что они французы, а не потому что миссионеры-католики. Но мы мальгаши и не перестаем быть ими оттого, что мы католики».

И продолжала: «Королева воюет с французами, а не с нашей "молитвой"».

Они стали католиками всего несколько лет назад; совсем недавно их общество вышло из королевского

религиозного абсолютизма; кроме того они жили в состоянии войны, в обстановке политической и расовой ненависти; и несмотря на это их вера, благодаря зрелой поддержке Виктории, смогла спокойно объяснить разницу, которую английские учреждения того времени не в состоянии были ни понять, ни применить на практике.

«Как вы удивитесь, когда, возвратившись к нам, увидите прогресс католической церкви!» — писал один преподаватель катехизиса далеким миссионерам.

Для нас так же удивительно констатировать, что едва основанная мальгашская Церковь водительствоваемая Святым Духом смогла осуществить то, что век спустя еще остается несбывшейся мечтой нашей Церкви: дать жизнь общине, в которой миряне осознают свое высокое достоинство крещеных людей, по-настоящему трудятся в святом винограднике Божьем, плодотворно участвуют в проповеди христианства.

Для этого католики Мадагаскара не нуждались в новой утонченной теологии; им было достаточно старой теологии конца девятнадцатого века вместе с самыми традиционными проявлениями народного благочестия (розарий, молитвы во время мессы, старый добрый катехизис, дела милосердия), примененными на практике как живое свидетельство их сущности и святой принадлежности Господу Иисусу.

Миссионеры смогли наконец вернуться в 1886 году, когда был заключен мир. Кроме того, один из них в Лурде был рукоположен в первого епископа Мадагаскара. Он вступил в свою новую епархию на Пасху того же года.

Когда после торжественной службы епископ пожелал встретиться с Католическим Союзом, Виктория смиренно отошла в сторону.

Ее позвали, и председатель сказал епископу: «Без нее мы бы даже не посмели явиться. Во время вашего отсут-

ствия она была нашей матерью и матерью всех христиан. Она была нашей главой и успешно защитила нас от гонителей».

Затем она вновь заняла в церкви свое прежнее смиренное место и продолжала подавать общине пример своей жизнью, исполненной человеколюбия.

9 марта 1888 года ей сообщили среди ночи, что ее муж сильно покалечил себя, в пьяном виде упав с балкона любовницы. Первый министр пришел в такое негодование из-за недостойного поведения сына, что угрожал лишить его права быть погребенным в семейной гробнице, что, как мы уже поясняли выше, являлось самым тяжким наказанием.

За него, умирающего, вступилась Виктория.

В последнюю неделю его жизни она ухаживала за ним с еще более нежным самопожертвованием и наконец-то смогла сказать ему то, что муж никогда не хотел слышать. В конце концов он был так растроган, что согласился принять крещение.

Поскольку священник запаздывал, а жизнь вот-вот грозила покинуть его, Виктория сама окрестила *in extremis* (лат.: «при смерти») этого порочного мужа, которому она всегда все прощала, как ребенку и который теперь, за несколько мгновений до перехода в вечную жизнь, действительно стал ее сыном.

«Это слишком легко!» — может возразить кто-нибудь. Но «легкость» его спасения была полностью оплачена долгими и тяжкими страданиями, которые Виктория приняла «из-за него» и «ради него». Как Иисус это сделал ради нас, и как супружеское таинство требовало от нее и от всех супругов.

Виктории тогда было сорок лет. По обычаю ее народа вдовство освободило ее от придворных обязанностей

и позволило полностью посвятить себя своему дому и своей Церкви. Таким образом, среди все более проникновенных и продолжительных молитв и во все возраставшем служении милосердия она провела последние восемь лет своей жизни.

Она умерла после недолгой болезни, вследствие затянувшегося кровотечения. Когда она почувствовала приближение смерти, дядя — первый министр от имени семьи попросил ее назначить своего наследника, избрав себе среди родственников — как было заведено у народа мерина — сына вместо того, которого она никогда не имела в браке.

Она сказала, что хочет поразмыслить еще один день. Она беспокоилась о судьбе своих рабов, которые могли попасть в руки человека, неспособного заботиться о них и уважать их так, как это всегда делала она.

Однако, ночью с ней случился последний приступ. Она воздела руки, в которых как всегда были переплетены четки, и трижды громко повторила: «Мать, мать, мать!». И умерла.

Может быть, она по своей привычке призывала Богоматерь. Но, возможно, в этом призыве объединились все драмы ее жизни: желание иметь детей, которых у нее никогда не было в ее несчастном и выстраданном браке, церковный долг, к которому она была призвана и который исполняла всеми силами своей души; мысль о несчастных рабах, «которые также были ее детьми» и которых она оставляла; мысль о том, кого она должна была избрать перед смертью в качестве приемного сына.

Но конечно же, этот последний призыв в совершенстве отражал ее призвание и миссию, которую Бог доверил ей по отношению к ее народу, еще столь юному в вере.

Блаженный Луиджи Орионе
(1872-1940 гг.)

«Это случилось через несколько дней после землетрясения (в 1915 году в Марсике, в районе Абруццо). Большинство погибших еще лежало под развалинами. Помощь запаздывала. Оставшиеся в живых пребывали в ужасе и жили поблизости от разрушенных домов, во временных убежищах. Все это случилось в разгар зимы, которая в тот год была как никогда суровой. Новые подземные толчки и снежные бури угрожали нам (...).

Иногда по ночам вой зверей не давал уснуть (...). Однажды серым и морозным утром после бессонной ночи я стал свидетелем очень странной сцены. Маленький священник, грязный и тщедушный, с бородой, не бритой дней этак с десять, бродил среди развалин в окружении группы детей и подростков, оставшихся без семей. Напрасно маленький священник спрашивал, не было ли у кого хоть какого-нибудь транспорта, чтобы отвезти этих ребят в Рим. Железнодорожное сообщение было прервано землетрясением, не было и никаких других средств передвижения для столь длительного путешествия.

В тот момент подъехали и остановились пять или шесть автомобилей. Это был король (Виктор Эммануил III) со свитой, который объезжал опустошенные коммуны. Как только высокие особы удалились от машин, маленький священник, не спрашивая разрешения, погрузил в одну из них собранных им детей. Но, как и следовало ожидать, карабинеры, охранявшие машины, воспротивились этому, и так как священник настаивал на своем,

то возникла шумная ссора, которая наконец привлекла внимание самого монарха.

Тогда, ничуть не оробев, священник выступил вперед и со шляпой в руке попросил короля ненадолго предоставить в его распоряжение эти машины, чтобы отвезти сирот в Рим или хотя бы на ближайшую станцию, еще не вышедшую из строя. Учитывая обстоятельства, король не мог отказать.

Я, как и все присутствующие, наблюдал за этой сценой с удивлением и восхищением. Как только священник со своим грузом детишек удалился, я спросил у окружающих: "Кто этот необыкновенный человек?" Один старик, только что вверивший ему своего внука, ответил: "Некий дон Орионэ, довольно странный священник"».

Так писатель Иньяцо Силонэ рассказал в «Запасном выходе» о своей первой встрече с доном Орионэ, которая произошла в тот момент, когда он пятнадцати лет лишился дома и семьи как раз при том ужасном землетрясении, о котором мы ведем речь.

Тогда, в 1915 году этот странный священник уже был любимым и уважаемым основателем религиозного учреждения, которое помогало беднякам, терпевшим всевозможные нужды. И тем не менее он тут же лично пересек Апеннинские горы и прибыл разыскивать сирот, затерявшихся среди сельских домов.

Порой ему приходилось отбивать от волков этих несчастных, полуодетых детей, которых он отыскивал, принося с собой одежду, печенье и шоколадные конфеты, проводя по несколько дней подряд в промокшей одежде, шагая без усталости по заснеженным тропам, чтобы добраться до деревень, обрушившихся на своих мертвецов.

«А, да эти псы никак от нас не отстают...», — объяснял он детям, собранным на случайно подвернувшемся грузовичке, который карабкался на гору Бовэ, аж на

высоту 1300 метров, в то время как вокруг — ни много, ни мало — скакали волки, пытавшиеся ухватить кого-нибудь из перепутанных малышей.

Эта сцена похожа на сказку, рассказанную у очага. И все же то была трагическая реальность: чтобы спасти десятки детей, дон Орионэ изнурял себя голодом, холодом, нечеловеческой усталостью, пока не заболел от изнеможения.

Когда прибыли другие сподвижники из того же учреждения, его так лихорадило, что на него жалко было смотреть. Он доверился их заботам, пробормотав: «За эти дни я потерял два года жизни».

Еще у одного современника, знаменитого ученого, барона фон Хюгеля, была возможность услышать рассказ об этих подвигах из уст собственной дочери, которая стала их очевидцем. В заключение своих *Essays and Adresses on the Philosophy and Religion* («Очерков по религиозной философии») он вспоминал о пережитом его, к тому моменту уже покойной, дочерью.

Он писал: «Когда моя старшая дочь, примерно за восемь месяцев до своей смерти, смогла добраться из Рима до центра ужасных разрушений, причиненных исключительно сильным землетрясением, впечатляющий контраст тут же поразил ее дух.

Посреди смерти и беспорядка, полностью поглощенный горем этих несчастных, суетился дон Орионэ, смиренный священник, — человек, на которого многие уже смотрели как на святого, вышедший из среды бедного и смиренного люда и трудившегося ради бедного и смиренного люда.

Он держал двоих детей, по одному на каждой руке, и всюду, куда бы он ни пошел, он приносил порядок, надежду и веру посреди всего этого переполоха и отчаяния.

Моя дочь сказала мне, что это давало всем возможность ощутить, что Любовь — это и есть основа всего, Любовь, которая именно там, в тех местах проявляла себя через полное, сердечное самопожертвование этого смиренного священника...»

По правде говоря, у дон Орионэ уже был большой опыт того, как приносить любовь в подобных напастях.

Всего за шесть лет до этого другое страшное землетрясение за несколько секунд сравняло с землей города Мессина и Вилла Сан Джованни. В одном только сицилийском городке из ста пятидесяти тысяч жителей погибло восемьдесят тысяч.

Уже тогда он был в первых рядах, руководя оказанием помощи и расположив свою первую штаб-квартиру в городе Реджо-Калабрия, в старом вагоне на заброшенных путях железной дороги.

Но вскоре через его руки стала проходить вся сеть помощи, и именно он координировал материальные средства, поступавшие от Папы и от королевской семьи.

Он работал так отчаянно, что Пий X решил временно назначить его — простого пьемонтского священника, настоятеля только что зародившейся монашеской общины — Генеральным Викарием Мессинской епархии. Вследствие этого он два года жил в архиепископской курии этого разрушенного города.

Он не был склонен к компромиссам и вынужден был работать в местности, где к компромиссам его постоянно побуждали и где их от него постоянно добивались. Поэтому не было недостатка в страданиях, притеснениях и попытках опорочить его.

Но дон Орионэ не привык уступать. На гербе одного епископа он как-то прочел старинный и честолюбивый девиз, взятый из «Од» римского поэта Горация: «frangar

пес flectar» («даже если и сломаюсь, не позволю себя согнуть»). Он прокомментировал: «Я не позволю себя ни сломать, ни согнуть».

Пий X, который доверил ему эту почетную должность отправлял ему из Рима настойчивые послания: «Передайте дону Орионэ мое благословение и скажите ему, чтобы он набрался терпения, терпения и еще раз терпения, и что терпение совершает чудеса».

А тем временем чудесами дона Орионэ были сиротские приюты, которые ему удалось открыть как в Калабрии, так и на Сицилии.

Но теперь мы должны возвратиться к началу этой истории.

Тот, кого называли «отцом сирот и бедняков», родился в Понтекуронэ, близ Александрии, в 1872 году в очень бедной семье, которая жила в крестьянском домике, примостившемся по соседству от виллы Урбано Ротацци, известного тогда государственного деятеля.

Его отец мостил дороги и похвалялся тем, что он «гарибальдиец» и где-то даже антиклерикал; мать зарабатывала кое-какие гроши во время жатвы, когда в три часа утра уходила собирать колосья, оставшиеся на полях после жнецов, и брала с собой маленького Луиджи, завернув его в шаль.

Он был младшим из четверых детей, и одежды доставались ему, когда трое старших их уже как следует поизносили. Но это была честная бедность.

«Эта бедная старая крестьянка, моя мать, — будет после рассказывать дон Орионэ, — вставала в три часа утра и шла на работу, и крутилась, как белка в колесе, изошрялась во всем: была и за женщину, а со своими детьми и за мужчину, потому что наш отец был далеко, он работал в Монферрато.

Она отбивала серп, чтобы косить траву, и отбивала его сама, а не носила к точильщику; ткала полотно из конопли, которую сама пряла, и мои братья разделили между собой столько простыней, столько красивого белья, — бедная моя мать!... Когда она умерла, мы надели ей ее свадебное платье после того, как она пятьдесят один год была замужем; она покрасила его в черный цвет, и оно еще хорошо выглядело, и это было ее самое лучшее платье. Видите, дорогие дети, как поступали наши святые и любимые старики?»

Но его мать, прежде всего, была глубоко верующей, и дон Орионэ всегда будет с волнением вспоминать не только то, что она ходила причащаться, но и что по возвращении она всегда говорила детям:

«Я молилась сначала за вас, а потом за себя. Я получила Господа и за вас, и за себя». Маленькому Луиджи казалось, что мама чуть ли не отнимала от себя хлеб, чтобы отдать ему, даже когда она причащалась!

И еще он будет вспоминать:

«Моя мать, даже когда я и мои братья уже выросли, указывала нам место в церкви: "Потому что я хочу вас видеть..." Она хотела знать, где мы находились в церкви и хотела слышать наши голоса, когда мы молились...»

«Моя мать позволяла нам читать молитвы сидя, только когда мы были больны...»

Это зарисовки прошедших времен, и тем не менее они позволяют нам ощутить обстановку смирения, силы и веры, из которой Луиджи извлек ту невероятную сопротивляемость усталости, которая впоследствии была для него характерна, и ту «христианскую» страсть к бедным, которая не оставила его никогда.

Когда в конце жизни его заставили поехать в пансионат для выздоравливающих в Сан-Ремо после нескольких сердечных приступов и после того, как он уже полу-

чил последние таинства, он жаловался: «Не среди пальм я хочу жить и умереть, а среди бедных, ибо они — Иисус Христос».

У многих христиан эта любовь к «бедным, ибо они — Иисус Христос», рождается поздно, как возмужание веры, и не без труда. У него она зародилась естественным образом, как никогда не забытая привязанность, уважение и почтение к тем бедным христианам, которыми были его отец, мать и братья. Впрочем, и сам он с десяти до тринадцати лет помогал отцу мостить дороги и возить тачки, скитаясь вдали от дома.

Уже тогда он мечтал поступить к францисканцам, так как считал их монахами народа и бедняков, которым он хотел помогать и оказывать поддержку.

И он попытался это осуществить, но тяжелое воспаление легких заставило его возвратиться в семью.

Затем ему смогли подыскать место в пансионе того туринского священника, которого все уже считали апостолом беспризорной молодежи. Я имею в виду дона Боско, которому в конце 1886 года оставалось чуть более года жизни.

Прибыв в пансион, маленький Орионэ попросил специального разрешения исповедаться у дона Боско, который, как правило, занимался более старшими мальчиками, начиная с четвертого класса гимназии.

Чтобы быть уверенным в том, что он подготовил хорошую и полную исповедь, он заглянул в некоторые сборники «испытания совести» и почти целиком переписал их. Лишь на вопрос: «Ты убивал?» — он ответил отрицательно. Все остальные грехи он скопировал полностью, исписав несколько тетрадок.

Но стоило бы выслушать этот рассказ из его собственных уст:

«Держа одну руку в кармане, где были тетради, а другую за бортом пиджака, я, стоя на коленях и весь дрожа, ожидал своей очереди. "Что скажет дон Боско, — думал я, — когда я прочитаю ему все это?" Подошла моя очередь. Дон Боско какой-то момент смотрел на меня и, не дав мне открыть рта, сказал, протягивая руку: "Дай-ка мне эти твои грехи". Я протянул ему тетрадь, вытащив ее свернутой из кармана. Он взял ее и разорвал, даже не открыв. "Дай мне остальные". Их постигла та же самая участь. "А теперь, — заключил он, — твоя исповедь закончена, не думай больше о том, что ты написал, и не оборачивайся больше назад, не копайся в прошлом". И улыбнулся так, как только он умел улыбаться».

Для того, чтобы составить себе понятие о личности святого Джованни Боско и о гениальности его педагогического метода, подобный эпизод стоит многих томов.

Неудивительно, что когда Святой тяжело заболел, то шесть мальчиков из молодежного клуба во время торжественной мессы недвусмысленным образом предложили за него Богу свою жизнь. Среди них был и юный Орионэ.

Также и таинство Церкви проявляется во всей своей красоте, когда мы, охватывая их единым взглядом, видим вместе старого и мудрого священника, который исповедует и воспитывает робкого и склонного к нравственной скрупулезности мальчика. Сердца их обоих пылали любовью к Богу и к ближнему; оба сделали выбор в пользу святости. Теперь оба они одинаково святы и почитаемы Церковью.

Тогда естественно было предположить, что Орионэ останется среди салезианцев и со временем сделается одним из их самых верных и гениальных сподвижников. Тем более, что дон Боско — после той пресловутой

исповеди — сказал ему, преднамеренно глядя ему прямо в глаза: «Помни, что мы всегда будем друзьями».

Впрочем, Луиджи участием в курсе духовных упражнений уже готовил себя к поступлению послушником к салезианцам, следуя призванию, в котором он никогда не сомневался.

Сомнения появились во время молитвы, когда в его разуме возникла перспектива поступить вместо этого в епархиальную семинарию. Он прогнал эти сомнения, как искушение, но они усилились. Он провел целую ночь в слезах и в молитвах на могиле дона Боско, которая находилась посреди сада, прося у него три знака («Это было ребячество, — скажет он после, — но ничего не поделаешь!..»). Один из знаков, однако, был очень важным: речь шла о возвращении его отца к религиозной практике. Сбылись все три.

Последние тревоги исчезли на следующую ночь, когда ему приснился дон Боско, который, улыбаясь с поистине отцовской нежностью, помогал ему надеть сутану, что он должен был бы носить в семинарии.

Теперь мы можем с уверенностью сказать, что на небесах дон Боско знал, почему именно Орионэ не должен был стать салезианцем: в самом деле, деятельность дона Боско была рассчитана только на молодежь, а деятельность дона Орионэ должна была охватывать всех нуждающихся и облегчение всяческих лишений.

Он займется всевозможными «делами милосердия», которых, согласно катехизису, аж четырнадцать! В нем и в его служении будет чувствоваться что-то от всех других основоположников монашеских благотворительных учреждений, даже самых значительных. Мы это увидим.

Итак, он поступил в семинарию Тортоны, где закончил учебу в гимназии, проявив себя, по всеобщему сви-

детельству, действительно примерным учеником: он отличался в учебе, в любви к ближнему и в том захватывающем энтузиазме, который впоследствии всегда будет для него характерен. «Тогда я был хорошим!» — скажет он в старости, всегда с ностальгией вспоминая те годы, когда он научился страстно любить Христа и Его Церковь.

Когда он начал изучать богословие, умер его отец, он лишился даже той небольшой материальной поддержки, которой могла обеспечить его семья.

К счастью, в Александрии существовал обычай предоставлять трем самым бедным семинаристам возможность работать сторожами в соборе: они могли посещать учебные занятия в семинарии, но жили в комнатках под сводами собора, возле колокольни. Они прислуживали при двух-трех мессах в день, заботились о содержании в порядке облачений и свечей и получали небольшое жалованье, не считая чаевых со стороны каноников.

Это было немного, но на жизнь хватало: надо было только прилежнее учиться, потому что время таким образом проходило быстрее.

Там, в мансарде, служба Орионэ занимался, молился, работал... и готовился к своей миссии. Свободу от железной дисциплины семинарии он использовал не для развлечений, а для того, чтобы разжечь то пламя, которое дон Боско заронил в его сердце.

Комнатки под сводами собора сделали местом встречи для уличных мальчишек, которых Орионэ отыскивал и приводил к себе домой в большом количестве. Здесь он немного обучал их катехизису, развлекал их, играя с ними в прятки в просторных мансардах, а затем наступал и черед жареных каштанов. Одним словом, он делал то, что, как он видел, делалось в молодежном клубе дон Боско, но он делал это там, в вышине, среди старинных деревянных святых, отдыхавших среди пыли.

Естественно, возникали и некоторые проблемы. Иногда пожилые каноники слышали странный топот, доносившийся сверху; особенно ризница стала очень посещаемая, но не богомольцами и кающимися, а вереницами мальчишек, которые спрашивали, как пройти «наверх, к Орионэ».

Так не могло продолжаться. И в городе, когда его видели прогуливающимся с этой его шумной ватагой, многие смотрели на него с недоумением, а кое-кто даже подозрительно и с отвращением.

К тому же, возникла проблема с деньгами: небольшого жалованья ризничного сторожа больше не хватало с тех пор, как он начал помогать своим ребятам в их самой тяжелой нужде.

Как бы там ни было, по распоряжению начальства этот импровизированный молодежный клуб под сводами собора должен был прекратить свое существование.

Мальчишки оказались на улице. Они собирались на одной небольшой площади, и там их ждал Орионэ; потом он вел их к разрушенному замку, по дороге играл с ними, и на лугу проводил свой урок катехизиса: это был передвижной молодежный клуб.

Была Страстная Неделя, поистине время страстей для бедного служки, который не знал, как быть, и тем не менее был уверен, что Бог требовал от него именно этой необычной деятельности.

К счастью, епископ города был настоящим отцом. Он уже давно наблюдал за странным апостольским творчеством этого юного семинариста и считал, что приходские священники должны были бы взять с него пример и создать в свою очередь молодежные клубы.

Поэтому он позвал к себе Орионэ и предоставил в его распоряжение сад епископского дворца. От этого потерпела некоторый ущерб престарелая мать епископа, которая в первое же воскресенье увидела затоптанными все свои цветы, газоны и ухоженные аллеи.

Теперь на их месте был только как следует утоптаный двор и десятки резвящихся мальчишек. Зеленой осталась лишь старая сосна, так как говорили, что на ее вершине когда-то давным-давно явилась Богоматерь. Но были нужны качели, и в конце концов сосна дала отличные доски.

Орионэ был убежден, что и Богоматерь была рада — она, что улыбалась теперь с прекрасной статуи, — как мать, с радостью смотрящая на своих играющих ребятишек.

«Но были те, что ворчали, критиковали, смеялись и насмехались, и те, кто называл меня сумасшедшим» — будет он вспоминать много лет спустя.

Чрезмерная критика не оставляет синяков, но подрывает добрую волю и уверенность. И действительно, примерно через год епископ сообщил ему о необходимости закрыть клуб, хотя ребят насчитывались уже сотни.

В этом деле была замешена политика и юношеская напористость нашего святого («В молодости, — мило скажет он, — я немного занимался и политикой»).

Чтобы защитить Папу от нападков антиклерикалов, молодой человек произнес речь, в которой, как сам он рассказывает, он «упомянул Виктора Эммануила II и сказал то, что с моей стороны говорить было бы неосторожно. Случилось так, что по моим следам пустили полицию...»

И вот теперь префект, чтобы замять этот вопрос, требовал закрытия клуба, который, по его словам, мог сделаться пристанищем мятежников.

Луиджи принял эту новость, понутив голову. Он взял ключ и пошел вложить его в руки статуи Богоматери. Потом ушел плакать в свою комнатку. Он сидел там в темноте, прислонившись лбом к стеклу окошка, выхо-

дившего прямо во двор, напротив Девы. Послушаем рассказ его самого:

«Я стал смотреть вниз на клуб, который никогда больше не должен был открыться; молиться и плакать, ибо казалось, что все кончено. Я плакал, как плачет ребенок, с беспомощностью, невинностью и верой ребенка... И молился Богоматери, и предал себя самого и весь клуб в Ее руки...

И так вот, молясь и плача, и жертвуя всем, и предавая все Богоматери, не заметив этого, я положил руку на подоконник... и уснул... И мне приснился этот великий и святой сон, который я никогда не забуду».

Описание сна обширно и прекрасно, и жаль, что необходимо его вкратце пересказывать. Он увидел, как стена, что огораживала сад, исчезла, исчезли и дома, и образовалась просторная равнина.

От ограды сада остался лишь тополь, на котором стояла Богоматерь, неописуемо красивая, с Младенцем на руках, и ее мантия — прекраснее небесной лазури — все более расширялась, пока не покрыла огромную равнину, на которой толпились тысячи и тысячи ребятишек всех рас и цветов кожи, — насколько хватало взора; и их число возрастало, возрастало, и среди них были служки, священники, монахини...

Вернемся к его рассказу:

«Богоматерь обратилась ко мне, указывая на них. И из всей этой массы слышалось сладкоголосое пение *Magnificat*... (Величит душа моя Господа), и дети все пели, каждый на своем языке, и различные наречия сливались в один чудесный хор. Богоматерь присоединилась к этому хору... и я проснулся».

Его сердце было переполнено чувством мира и покоя.

То, что необходимо было закрыть этот клуб, перестало быть проблемой. Это означало, что следовало открыть клуб, большой по размерам и с новыми перспективами.

Случай представился очень скоро.

По приказу епископа только что была построена новая прекрасная семинария, которая, однако же, оказалась слишком мала для многочисленных желающих туда поступить. К тому же, возникла проблема у тех, кто был слишком беден, чтобы платить за пансион.

Орионэ предложил свои услуги с тем, чтобы открыть нечто вроде ее филиала: пансион для обучения неимущих мальчиков, которые, возможно, там могли бы подготовиться к принятию священного сана.

Епископ дал неопределенное разрешение, подумав, что у этого служки не было ни денег, ни дома, и уж тем более пансиона! Из осторожности он, однако же, взял свои слова назад еще до того, как закончился тот день. Когда же он позвал Луиджи, чтобы сказать ему, что не стоит больше и думать об этом деле, то услышал в ответ, что было бы страшно жаль. Все уже было готово: нашелся дом, и за его аренду уже заплачено за год вперед.

Как ему это удалось? Как только он вышел из епископской резиденции, один его друг сказал ему, что его отец сдавал внаем за четыреста лир в год дом, расположенный совсем поблизости от Тортоны. Орионэ тут же «закрепил» его за собой, попросив неделю времени на то, чтобы заплатить необходимые деньги. На обратном пути он повстречал знакомую старушку: они поговорили о том, о сем, пока речь не зашла и пансионе.

«Пансион? Я отдам туда внука! Сколько вы берете?»

«Немного: то, что вы дадите».

«Если я дам вам четыреста лир (все ее сбережения!), сколько времени вы сможете его держать?»

«До окончания гимназии!» — воскликнул Орионэ, чуть не прыгая от радости при этом очевидном знаке Провидения.

И епископ, поразмыслив, не захотел больше подвергать себя риску воспротивиться Небу.

Через год дома уже было недостаточно, и Орионэ получил в свое распоряжение старый заброшенный монастырь в центре Тортоны. Денег почти никогда не было. На питание шла плата за пансион — каждая семья давала, что могла — и жертвования, часто приходившие, как чудо. Преподаванием занимался сам основатель, который вел уроки итальянского, истории и географии, и какой-нибудь студент-богослов, одолженный епархиальной семинарией.

Тем временем, хотя он был всего лишь дьяконом, епископ стал часто посылать его проповедовать в приходы епархии.

Наконец, в 1895 году Орионэ был рукоположен в священники. В истории Церкви он представляет собой даже не редкий, а единственный случай семинариста, ставшего основателем монашеского учреждения. А оно уже было таковым, если учесть, что к этому служке обращались даже некоторые студенты из Турина и из Генуи.

В самом деле, в день его рукоположения епископ позволил ему облачить в сутаны шесть воспитанников пансиона, желавших готовиться к священству «под руководством дона Луиджи».

И более того, монсиньор разрешил нескольким семинаристам, которые чувствовали себя привлеченными предприятием Орионэ, оставить семинарию и заложить вместе с ним основы общинной жизни. Так родился Смиренный Институт Божественного Провидения.

Вокруг этого ядра «посвященных» жили одной семьей как бедные мальчишки, которые всего лишь хотели учиться, так и семинаристы, которые не могли позволить себе плату за пансион в семинарии, а также и те, кто хотел стать членом зарождавшегося института.

Кабинетом дирекции, то есть дона Орионэ, был вестибюль при входе в здание.

Через короткое время пришлось разделиться. Потому одна группа перебралась на холмы Вогеры, где она организовалась как «сельскохозяйственная колония», на сей раз затем, чтобы воспитывать с помощью работы тех мальчиков, что не имели склонности к учебе.

В 1898 году епископ из Ното, что на Сицилии, прочитав информационный бюллетень нового Института, написал дону Орионэ, молодому двадцатисемилетнему священнику, рукоположенному лишь три года назад, предложив ему здание, где можно было бы открыть епископский пансион по крайней мере для шестидесяти воспитанников. Он лично отправился на остров, чтобы заложить основы нового начинания; когда же он возвратился в Тортону, то привез с собой двенадцать служек сицилийской епархии, которые хотели поступить в его конгрегацию.

В том же году он основал общину отшельников Божественного Провидения. В древнейшем аббатстве на павийский Апеннинах он собрал мирян, привычных к работам в поле и желавших посвятить себя Господу в созерцании и в труде, по-бенедиктински.

В короткое время зародились многочисленные подобные общины, всегда расположенные в небольших пустынных монастырях или в сельскохозяйственных поселениях, как несущее ядро молитвы и труда.

Они были открыты в Пьемонте, в Ломбардии, в Умбрии, в Лацио, на Сицилии, где ученики дона Орионэ освоили и заставили вновь зацвести обширные, давно уже неплодородные территории.

Среди этих посвященных отшельников были и слепые: идет процесс канонизации одного из них — знаменитого «брата Аве Мария».

В 1915 году дон Орионэ начинает усеивать Италию клиниками под названиями «Маленькие Коттоленго». То,

что Коттоленго совершил в Турине в больших масштабах, он распространяет в миниатюре по всей Италии и по миру (при его жизни — девять вновь основанных учреждений!), чтобы принимать там самые отталкивающие человеческие недуги — тех, чье существование общество желает игнорировать любой ценой.

Больные должны были быть организованы в «различные семьи», согласно типу их болезни, тогда как Маленькие Коттоленго должны были принимать лишь тех, кому не удавалось найти места ни в одной другой больнице или в приюте: последних из последних, «какой бы национальности и религии они ни были, и даже без религии, так как Бог — Отец всех».

Еще в 1915 году дон Орионэ основал общину «Смиренных сестер миссионерок Милосердия» в качестве женской ветви всех своих заведений: в ведение сестрам были переданы детский сады, сиротские приюты, работа в приходах, воспитание девочек, помощь бедным и больным, а также выполнение женской работы во всех других заведениях.

Первых трех девушек, которым он дал монашеское облачение, он назвал: Сестра Федэ (Вера), Сестра Сперанца (Надежда) и Сестра Карита́ (Любовь). Позже он положил начало и другой женской конгрегации, предназначенной исключительно для заботы о храмах и для деятельности, связанной с богослужением.

В 1927 году он основал общину «Слепых Сестер Святых Даров»: для постоянного поклонения и непрерывной молитвы, которым он вверил миссию быть поддержкой и основой всех остальных заведений.

Мы уже говорили о сиротских приютах, и два землетрясения, о которых мы рассказали, дали мощный импульс их распространению. Добавим: приходы, храмы, школы, типографии, дома-интернаты.

Дон Орионэ приложил руку к основанию более ста учреждений и заведений, — прежде чем смерть забрала его в шестьдесят восемь лет от роду, — объехав не только Италию, но и Бразилию, Аргентину, Уругвай, Чили, Соединенные Штаты, Англию, Грецию, Польшу, Албанию, Палестину.

Он даже согласился отправиться в «Римскую Патагонию», — так он шутливо называл периферию Рима в квартале Аппьо, где Папа Пий X попросил его построить приход и большую школу.

В момент его смерти к различным ветвям его «Смиренного Института Божественного Провидения» принадлежали около 820 монахов и несколько сот монахинь.

Все это он называл «смиренной общиной (конгрегацией)», так как сам был смиренным.

Он путешествовал по миру, одетый, как последний из бедняков: в заплатанной сутане и в стоптанных башмаках; никогда не имея ни часов, ни кошелька; он распоряжался потоками денег, никогда не зная, хватит ли их на завтрашний день, чувствуя себя лишь «слутой Божественного Провидения». Название его конгрегации было связано для него со столь глубоким убеждением, что от Провидения он ожидал ответов и подарков, как ребенок ждет их от мамы.

Прибывали посетители с огромными суммами денег — как раз когда истекали сроки векселей — и рассказывали о странных внутренних побуждениях, которым они не могли противостоять, а добрый Орионэ улыбался, ибо он только что закончил спорить со статуей Богоматери или святого Иосифа.

Или же во время мессы на алтаре Кармельской Богоматери ему случалось немного отвлечься из-за своих тревог и ввести в текст литургии мольбу: «Святая Ма-

терь Божья, заплати за меня хоть аренду!» После мессы необходимая сумма, принесенная каким-нибудь неизвестным, ждала его в ризнице.

Или приходил из министерства, подосланный врагами-антиклерикалами, инспектор, чтобы убедиться в слабой экономической надежности этой «поповской школы»; но уходил униженный, ничего не предприняв. Он передавал начальству, что над ним подшутили, поскольку на письменном столе Орионэ он видел пачки банкнот. А дон Луиджи, смеясь, рассказывал своим сподвижникам, что на этом столе не увидишь и одной-единственной лиры.

Существует целая книга, содержащая его «цветочки», — то есть, благочестивые поступки, включая и самые наивные и деликатные.

Чудеса расцветали в его руках. Он сам рассказывал о них со спокойным простосердечием, боясь лишь того, что слушатели будут настолько неразумны, чтобы приписать ему заслугу того, к чему он не имел ни малейшего отношения...

Он надеялся, что так его сподвижники научатся верить в нежную доброту Бога.

Действительно, бывали и чудеса нежности. Он признавался своим близким друзьям:

«Я скажу вам то, чего никогда никому не говорил и что мне даже стыдно сказать, но пусть эту будет сказано к вящей славе Божией: в первые годы существования конгрегации, когда я ходил пешком проповедовать по селам и приходил в дом, разбитый от усталости, и часто по ночам ложился спать на какую-нибудь жесткую деревянную лавку, Господь поступал со мной особенно любовно: порой бесконечная доброта Божья вдруг мне давала ощущение или впечатление, будто скамья проваливается, делаясь рыхлой и податливой, как мягчайшая резиновая кушетка, как будто бы я погружался в мяг-

кий-премягкий тюфяк, в который проваливались мои усталые кости, получая от этого сладостное отдохновение...»

Сам Бог порой давал ему это удобство, которого он никогда не искал, поскольку ему казалось, что он бы украл его у бедных.

Потому он был действительно огорчен, когда однажды летом в послеобеденное время прибыл в дом для послушников и увидел, как двое из них удобно отдыхали на старом диване. Он велел вынести во двор этот «предмет роскоши» и сжечь его в присутствии всех.

Он говорил, что в его заведении следует трудиться в поте лица «от одной «Богородицы» до другой».

Сотни молодых людей просили принять их в его конгрегацию. И тем не менее «жизненная программа», которую он в себе воплощал и предлагал другим, не давала места иллюзиям:

«Эта маленькая и очень бедная община — ветошь Богоматери и Римской Церкви... это конгрегация Божьих оборванцев.

Знаешь, что делают с тряпками? Тряпками вытирают пыль, моют и натирают полы, снимают паутину и чистят обувь... Что ж, если тебе нравится быть Божьей тряпкой, тряпкой под ногами Бога, под непорочными ногами Пресвятой Богородицы; если тебе нравится быть тряпкой под ногами Святой Матери Церкви и в руках твоих Настоятелей, то это — твое место».

Он действительно мог употреблять эти выражения, ибо никто не воспринял бы их смысла в искаженном виде: дон Орионэ описывал прежде всего самого себя, свое бесконечное желание быть использованным для блага Церкви и мира; свою мечту быть управляемым руками Бога и Святой Девы, не оказывая при этом никакого сопротивления.

Он описывал не унижение, а достоинство.

Поэтому он никогда не избегал унижений, даже если иногда и делал это в шутку. Указывая на фотографию, запечатлевшую его верхом на смиренном и терпеливом ослике, он остроумно говорил: «Он да я — нас двое!». И присутствующие умилялись, думая о том, что это терпеливое упорство никогда его не оставляло.

Но, что больше всего поражало и что оставляло самое сильное впечатление, так это его безграничная и безмерная любовь к наместнику Христа на земле.

Он писал:

«Наш символ веры — это Папа, наша мораль — это Папа; наша любовь, наше сердце, смысл нашей жизни — это Папа. Для нас Папа — это Иисус Христос: любить Папу и любить Иисуса — это одно и то же; слушаться Папу и следовать ему — означает послушание и следование Иисусу Христу; служить Папе — означает служить Иисусу Христу; отдать жизнь за Папу — означает отдать жизнь за Иисуса Христа».

И он просил о том, чтобы к трем обетам: целомудрия, бедности и послушания был прибавлен особый, четвертый обет — «верности Папе». В то время ему не было это позволено. Но в наши дни дети донна Орионэ, подобно иезуитам, дают четвертый обет верности Папе.

Их основоположник утверждал, что все его труды для бедных и среди бедных имели это предназначение: зародить в сердце неимущих «нежнейшую любовь к Папе».

Он говорил: «Конгрегация не сможет жить, не должна жить иначе, как для Папы: она должна быть силой в его руках, она должна быть ветошью у него под ногами. Жить, трудиться и умереть с любовью к Папе...»

Когда его спрашивали, каково особое предназначение его Института, — поскольку многие посвящали себя делам милосердия, — он отвечал, что «его особая цель —

привлечь и соединить теснейшими и сладостнейшими узами весь разум и все сердце детей народа и трудящихся классов с Апостольским Престолом».

Конечно же, он сам лично помогал бедным и обездоленным: но если бы они любили его, а не Папу, он считал бы это большой ошибкой, так как он, Орионэ, был всего лишь милосердной рукой, действовавшей от имени Папы и направлявшей к нему.

К тому же Папа знал, что мог требовать от него чего угодно, любой жертвы и любого начинания.

Такого церковного сознания, столь сосредоточенного на служении Петра в Церкви, до того времени еще не знали, особенно в лице основоположника конгрегации, до такой степени погруженного в социальные нужды. И мир больше не увидит его вплоть до наших дней.

Это свидетельство еще ждет часа, когда его поймут и оценят достойным образом прежде всего те члены монашеских заведений, — ныне все более многочисленные, — что находят в своей деятельности в пользу бедных оправдание тому, чтобы культивировать свой «антиримский комплекс».

Многие в наши дни крайне неохотно подписались бы под тем, чему дон Орионэ спокойно учил: «Сначала Папа и Церковь... а потом, намного позже — хлеб и жизнь».

Для него было мечтой принести вечные обеты перед лицом самого Папы. Как об особой милости он попросил его об этом на аудиенции, готовый ждать, пока Папа соизволит назначить день для церемонии.

«Хоть сейчас», — улыбаясь, отвечал Пий X.

«Святой Отец, как известно вашему Святейшеству, необходимы по меньшей мере два свидетеля...»

И Папа, улыбаясь: «В свидетели возьмем моего ангела-хранителя и твоего».

Необходимо также рассказать о его деятельности проповедника и духовника, которой он занимался всегда охотно и с несомненной фантазией.

Когда речь шла о Боге и о душах, он мог сделаться даже актером.

Как-то вечером его пригласили проповедовать в местечко, где священнослужителей особенно ненавидели и смеялись над ними. Шел дождь, и он явился в грязных башмаках и в промокшей насквозь одежде. Он поднялся по лесенке на амвон, как пьяный, тяжело опираясь и по-вороньи каркающим голосом бормоча на диалекте — но так, чтобы все слышали — самые привычные оскорбления, что в тех местах можно было услышать в адрес служителей культа.

Приходской священник схватился за голову, думая, что он сошел с ума.

Но как только этот жалкий попик оказался на амвоне, — а все знали, кто он такой, — он взглянул на присутствующих с невероятной гордостью. Затем он начал: «Вот так, так здесь приветствуют священника, служителя Божьего, когда он проходит». Под конец он говорил о священстве так, что народ плакал.

В другом приходе проповедовали народные миссии, и результаты были ничтожны. В заключение дон Орионэ попросил вызвать десять духовников. Обескураженному приходскому священнику казалось, что и одного было более чем достаточно. Но все же он послушался.

В тот последний вечер, когда сельская церковь не спешила наполниться, и ризничий покорно звонил в колокола, вдруг вошел некто в потертом плаще, в старой потрепанной шляпе; он бросился на скамью и стал громко жаловаться: «Вот до чего я дошел! А ведь в доме моего отца у меня ни в чем не было недостатка...»

Короче говоря, это был дон Орионэ, представлявший притчу о «блудном сыне», и люди сбегались; кто-то пошел звать отсутствующих.

Когда церковь была переполнена, этот оригинальный священник взошел на амвон и стал говорить о прощении Божьем так, что все плакали. Среди всех прочих плакали и десять духовников, которых теперь оказалось слишком мало. Все местечко в тот раз исповедалось.

Мы подошли к концу нашего повествования. Шел 1940 год, и дон Орионэ находился в Сан-Ремо, немного опечаленный, поскольку ему приходилось умирать среди пальм, а не среди бедных. Он прибыл туда 9 марта и был очень взбудоражен: комната, хоть и лишенная какой-либо ненужной мебели, казалась ему слишком роскошной! «Я не в состоянии, я не могу оставаться здесь: сделай мне эту милость, посмотри расписание поездов!» — говорил он своему собрату. Потом успокоился: к счастью, в уголке была небольшая статуя Богородицы.

«Посмотри, какая она красивая, — сказал он. — Не кажется ли тебе, что мне осталось лишь закрыть глаза?»

Он закрыл их тремя днями позже, говоря: «Иисус, Иисус. Я иду!» В последний раз он почувствовал себя отправленным в миссию и был готов к немедленному послушанию.

Гроб с настоящим триумфом был доставлен в Торто-ну, в храм, который он построил в честь Богородицы-Заступницы. В каждом городе, через который проходила траурная процессия, — Генуе, Нови, Алессандрии, Милане — ее ждала огромная толпа.

В церкви святого Амвросия в Милане гроб ожидал святой кардинал Шустер.

Один писатель-францисканец, проезжавший на трамвае по улицам, стал свидетелем такого диалога между двумя рабочими, которые что-то делали, лежа на земле, и сообщил его в газету:

«Что случилось? Кто умер?»

«Дон Орионэ».

«А кто он — этот дон Орионэ?»

«Он был поп, но хороший человек».

Дон Орионэ наврядли бы улыбнулся.

БЛАЖЕННЫЙ ТИТУС БРАНДСМА
(1881-1942 гг.)

Отец Титус Брандсма — голландский кармелит, погибший от рук нацистов в концентрационном лагере Дахау. Церковь провозгласила его «блаженным», так как он пошел навстречу смерти сознательно, добровольно, во имя защиты христианских принципов от чудовища, которое в те годы пожирало Европу и души.

Тот факт, что он — один из немногих узников, получивших богословское определение «мученика» (в самом деле, в лагерях погибли тысячи других священников и мирян, точно так же отправленных туда за веру), зависел от провиденциального обстоятельства. Перед окончанием войны полиция безопасности уничтожила все архивы и всю документацию, касающуюся заключенных. Однако личное дело отца Титус (протоколы процессов, собранные против него доказательства; записи, которые он делал в тюрьме; фотография в тюремной униформе, сделанная товарищем по заключению) было спасено от мусоросжигательной печи. У того, кому было поручено уничтожить это личное дело, не хватило мужества выполнить приказ: «В этих бумагах, — сказал он, — есть что-то необыкновенное, я не смею их сжечь».

Так Церковь получила в свое распоряжение все необходимые доказательства, которые показывают вне всякого возможного сомнения, что отец Титус Брандсма был убит именно из ненависти к его вере и к его миссии священника, а не только по политическим мотивам.

Вот эту историю мы и должны рассказать.

Гитлер начал стремительное наступление против Голландии 10 мая 1940 года и захватил ее за три дня посредством вторжения с воздуха, которое уничтожило на земле те малые силы, которыми располагала эта страна.

Однако Титус Брандсма давно уже начал свою борьбу.

Он не был неизвестен: в тот момент ему было пятьдесят девять лет и он являлся профессором философии и «истории мистики» в Католическом Университете Ниймегена, где ранее был также ректором; он имел международное удостоверение журналиста и выполнял обязанности духовного ассистента голландских католических журналистов. Кроме того он был лектором, уважаемым в Европе и даже за океаном, и его исследования по «Духовности» пользовались авторитетом. Его библиография (недавно опубликованная) насчитывает — включая книги и статьи — 796 наименований.

Если Голландия не сделала почти ничего с той целью, чтобы подготовить вооруженное сопротивление нацизму, моральное и культурное сопротивление, напротив, оказалось однозначным и незамедлительным.

Уже в 1936 году, когда тревожные новости были еще не слишком распространены и не слишком понятны, была опубликована книга «Мнение голландцев о том, как обращаются с евреями в Германии». Это произведение содержало также и выступление Брандсма, столь неприятное для нацистов, что отголосок его дошел до Берлина.

Этот режим не столько беспокоила сама критика, сколько был невыносим тот факт, что профессор Брандсма напрямую обвинил их в «подлости».

«То, что делается сейчас против евреев, — писал он, — это проявление подлости. Враги и противники этого народа поистине малодушны, коль скоро считают, что они должны поступать таким бесчеловечным обра-

зом, и если так они думают проявить либо увеличить могущество немецкого народа; это иллюзия питаемая слабостью».

Нетрудно представить себе, как должны были жечь эти выражения тех, кто стремился навязать культ арийской расы, провозглашая ее силу, благородство и мистическое превосходство.

Во «Фридерикусе» — ежедневной берлинской газете — появляется статья под названием «Этот злонамеренный профессор», в которой голландскому монаху отвечали, что в Германии те из евреев, «что ведут себя спокойно и разумно», имеют в своем распоряжении «широкие возможности для самовыражения и развития». Поэтому профессор Брандсма должен только дать им совет, как «преуспевать наилучшим образом».

А пока в Голландии распускали слухи, будто этот монах «симпатизирует коммунистам».

Тут же у него на родине голландские нацисты подхватили полемику и ответили статьей под названием «Король Радборд или профессор Брандсма?»

«Король Радборд» был древним героем родины Титуса — Фризии, расположенной там, где голландские берега выходят к Северному морю: это гордая и суровая земля, на которой когда-то жили белокурые гиганты фризы; затем святой Виллиброрд обратил ее в христианство, и, по мнению автора статьи, раса выродилась.

Мораль заключалась в том, что теперь необходимо было сделать выбор: вернуться ли к благородной и воинственной сущности или продолжить смиряться с той, расслабленной, что проповедуется христианством.

Итак, голландцы предпочитают древнего героя или встают на сторону этого плюгавого и изможденного монашка, теряющего время на изучение христианских традиций своей земли?

Напыщенная аргументация заканчивалась выпадом: «О фриз, как ты измелчал по сравнению с твоими предками!»

Это были глупые нападки, но по-мнению экспертов-пропагандистов режима, они служили к распространению среди молодежи «нового евангелия» арийцев!

«Голландская Национал-социалистская Партия» (ГНП) образована уже в 1936 году, и епископы немедленно запрещают католикам вступать в нее.

В 1937 году Пий XI обнародует Энциклику «Mit brennender Sorge», в которой он характеризует нацизм как «вызывающий рецидив язычества», «отрицание единой Церкви», «явное отступничество».

В 1938 году Святой Престол требует от всех католических университетов отвергнуть на научной основе национал-социалистские теории, чтобы помочь верующим также и в культурном сопротивлении.

Тут же Титус в 1938-39 академическом году читает своим студентам курс о «пагубных тенденциях» национал-социализма, в котором рассматривает все основные тезисы: ценность и достоинство отдельной личности, будь она больной или здоровой; равенство и доброкачественность всех рас; первичная и нерушимая роль естественных законов по отношению в любой идеологии; присутствие и руководящая роль Бога в человеческой истории, в противопоставлении всякому политическому мессианству и любому обожествлению власти.

Он знает, что среди его слушателей есть и тайные агенты партии.

Затем в проповедях он более углубленно рассматривает религиозную сторону проблемы, объясняя, что любое превознесение расы, этнической чистоты, силы — это попытка упразднить Евангелие и поразить христианскую веру в самое сердце.

«Мы живем в мире, где теперь уже осуждают и любовь, утверждая, что это — слабость, которую необходимо преодолевать.

Не любовь, а развитие собственной силы. Пусть каждый будет как можно более сильным, и пусть слабые погибают!

Утверждая таким образом, что христианская религия со своей проповедью любви изжила себя и должна быть заменена древней германской мощью.

И они являются к нам с этими доктринами и находят людей, принимающих эти доктрины. А любовь остается забытой...

Но даже если нацизм и отрицает любовь, то именно любовью мы победим это новое язычество. История уже доказала это!»

Он не ограничивается лишь словесными выступлениями. В 1940 году он содействует проекту, позволившему тысяче евреев эмигрировать в Бразилию: разрешение бразильского правительства было получено самим Пием XII.

В начале 1941 года голландские епископы заявляют, что принадлежность к национал-социалистскому движению недопустима и классифицируется как тяжкий грех, «в том числе, когда в него вступают не для поддержки конечных целей движения, а ради выгод временного характера. Даже принуждение и угроза серьезного ущерба не являются достаточным оправданием».

В июле того же года правительство назначает комиссара «Профсоюзу католических трудящихся», который таким образом оказывается поставлен на службу партии. Епископы лишают профсоюз своего признания и предупреждают, что всем тем, кто продолжает в нем состоять, будет отказано в таинствах.

В декабре партии подчинен «Католический союз земледельцев» и «Федерация католических учителей». Епис-

копы требуют от их членов выйти из их состава под угрозой недопущения к таинствам (а ведь одна только «Федерация» насчитывала 13 000 членов!).

Тем, кто как всегда обвинял католическую иерархию в незаконном вмешательстве в общественно-политическую жизнь, епископы отвечали: «Нет. Речь идет не о политической власти. Речь идет о существовании или несуществовании христианства!»

Отец Брандсма со своей стороны объяснял, что нашествие подобной идеологии, которую он называл «зловещей ложью», было даже ужаснее самого военного вторжения.

Когда же произошло и это последнее и было образовано правительство коллаборационистов, он не побоялся написать: «Правительство, которое мы сейчас имеем, которое во всех случаях доказывало и доказывает свою слабость, которому не хватает самого элементарного осознания своих задач, долго не просуществует в цивилизованной стране».

Это было все то же обвинение, которое нацисты никак не могли переварить: вся эта показная сила и всемогущество оказывались всего лишь слабостью и несостоятельностью.

Если его послушать, то наш Титус, кажется, должен был быть сложен, как неукротимый борец.

В действительности он был болезненным человеком пятидесяти девяти лет. Сразу после нашествия ему пришлось лечь в больницу, поскольку, как он говорил: «ноги меня больше не держат, мои колени постоянно подгибаются».

Он пишет другу: «К счастью, я еще могу заниматься самым необходимым; что же касается остального, то я терпеливо покоряюсь».

«Самым необходимым» была смертельная борьба, которую он начинал.

У него всю жизнь было слабое здоровье. Сила его фризской расы, еще очевидная в отце, который провел свою жизнь, тяжело работая в поле и ухаживая за скотом, в нем всегда была лишь внутренней: нерушимая сила души и характера в хрупком теле.

Конечно, он выбрал жизнь в суровом монашеском ордене, каким был тогда Орден Кармелитов, и это еще более укрепило его дух, но тело осталось слабым.

Поэтому в годы обучения ему часто приходилось прерывать занятия; иногда он вынужден был откладывать экзамены и он даже перенес приступ туберкулеза, проведя много месяцев в постели между жизнью и смертью.

Он изучал философию и теологию в колледжах Ордена и вызывал там некоторую тревогу из-за определенных своих идей, которые тогда казались несколько «модернистскими».

После принятия священного сана он специализировался в Риме по философии и социологии и начал определять свою апостольскую направленность. Его привлекали две области, внешне далекие друг от друга: журналистика и изучение наследия христианских мистиков прошлого.

Как журналист он еще в студенческие годы начал трудничать с местными периодическими изданиями и основал журнал кармелитской культуры. Уже будучи священником, он станет главным редактором ежедневной газеты Осса — города, где находился его монастырь.

Как эксперт по мистической литературе, после долгой учебной поездки по Испании, он начал публикацию на голландском языке произведений святой Терезы Авильской. В 1923 году в Ниймегене основан Католический Университет, и Титусу предложена кафедра философии и истории мистики.

Его привлекает прежде всего этот предмет; следовательно, он специализируется в изучении великих мис-

тиков-кармелитов и в изысканиях о представителях средневековой голландской мистики.

С этой целью он создает соответствующий исследовательский институт, снабдив его собственным журналом и библиотекой и обогатив его насыщенным архивом старинных рукописей в фотокопиях (около 17 000), микрофильмов и диапозитивов, изготовленных им самим.

В качестве исследователя и лектора он совершает путешествия в Италию, в Германию и в Соединенные Штаты и организует конгрессы на родине и за границей.

В 1932 году, как мы уже упоминали, он назначен ректором университета.

Если его в чем-то и критикуют в то время, так это в том, что «профессор для всего и для всех находит время»: для учебных занятий, для проповеди, для благотворительной и миссионерской деятельности, для бесед с нуждающимися. Это причиняет некоторый ущерб его производительности в качестве ученого.

Когда умер Пий XI, один из собратьев Титуса сказал: «Не беспокойтесь, профессор Титус готов заняться и этим!»

В 1935 году голландские епископы доверяют ему миссию «духовного сопровождения» католических журналистов. В Голландии тогда существовало около двадцати периодических изданий, — в том числе и три — национального масштаба, — столь широко распространявшихся, что насчитывалось «по одному номеру на каждые пять жителей».

В 1937 году ему, с помощью его престижа, удастся объединить католическую партию, которая была разделена на две ветви. Таким образом, его заслугой стало образование «Единой Католической Партии».

О его жизни человека, «посвященного Богу» нечего сказать кроме того, что он заслужил всеобщее уважение той серьезностью и добротой, с которыми он реали-

зовывал свое монашеское призвание, успешно совмещая его с профессиональной деятельностью.

Очевиден факт, что он обладал глубоким взглядом на харизму кармелитов, и он обрисовал в общих чертах ее «богородичное сердце», на котором кармелиты и «движения», связанные с ними, постоянно и энергично настаивают еще и в наши дни.

Он писал:

«Характерная черта кармелитского призвания — и в более широком смысле призвания всех христиан — быть в свою очередь *theotokoi*, то есть людьми, вновь порождающими Бога, как Мария».

«Мария, мать всех людей — это пример того, как Бог вновь должен быть рожден в нас. Мы должны признать себя детьми Марии, ибо ее сын — наш брат. Она научит нас, как принять Христа, как породить его внутри нас и как вновь принести его в мир».

«Наш долг — оказать в себе гостеприимство Богу, как это сделала Мария».

Столь гармоничное существование, в котором наука естественным образом сливалась с молитвой и милосердием, являлась — хотя Титус не знал этого — длительной подготовкой к тем «необходимым обязанностям» к которым Бог внезапно его призвал.

Вернемся же к борьбе против нацистских захватчиков.

После первых стычек, о которых мы рассказывали, коса наконец-то нашла на камень.

20 февраля 1941 года «Голландский Монитор» публикует распоряжение нового Министра Образования, на основании которого служителям культа и монахам, преподающим в государственных школах, зарплата урезана на 60 процентов. Через четыре дня добавляется, что они ни в коем случае не могут занимать ответственных постов, как раз напротив: они должны быть с них сняты, если уже их занимают.

Отец Титус, являющийся также председателем «Союза Католических Школ», спрашивает Генерального Секретаря министерства о причине подобного решения. Ему грубо отвечают, что единственная цель — это урезать субсидии Церкви.

Через несколько месяцев поступает распоряжение, которое запрещает католическим школам принимать учащихся-евреев, даже если они исповедуют христианство: все они должны быть исключены из школ любого профиля и уровня.

Тогда Титус рассылает циркуляр:

«Мы считаем вопиющей несправедливостью и агрессией против миссии Церкви тот факт, что из школы силой изгоняют людей, принадлежащих к этой Церкви, либо тех, кто желает принять ее учение. В выполнении своей миссии Церковь не проводит никакого различия ни по половым, ни по расовым, ни по национальным признакам».

Так началось гражданское неповиновение, которое нацисты подавили год спустя, депортировав всех еврейских учащихся.

Одновременно остро встает вопрос публикации в ежедневных католических газетах объявлений Голландского Национал-социалистского Движения (ГНД). Их не принимают даже в том случае, если они платные. Тогда Министерство Пропанды уведомляет, что «запрещается отказывать в публикации», поскольку в этих сообщениях «не содержится ничего постыдного ни для отдельных лиц, ни для групп лиц».

В действительности они содержат нечто худшее: пропаганду и восхваление нацизма и его организаций.

Циркуляр Титуса не заставил себя ждать: «Ставим в известность дирекции и редакции, что они обязаны формально отказывать в публикации подобных сообщений, если хотят сохранить католический характер своих газет;

также и в тех случаях, когда подобный отказ влечет за собой угрозы, штрафы, временное или окончательное закрытие. Ничего не поделаешь. Нас довели до крайности».

В противном случае «они не должны больше считаться католическими... и не должны больше рассчитывать на читателей и подписчиков-католиков, и должны быть покрыты позором» (Циркуляр от 31 декабря 1941 г.).

Не прошло и двух недель, как полиция стала разыскивать отца Титуса, но так как он отсутствовал по служебным причинам, то его смогли найти лишь 19 января.

Он едва возвратился в монастырь после длительной поездки, как явились два агента Гестапо, выдавая себя за студентов и прося о срочной встрече с профессором Брандсмой.

Принятые с обычной сердечностью и любезностью, которую отец приберегал для своих студентов, они приказали ему с поистине немецкой точностью: «Вы должны следовать с нами в Арнхем на поезде, который отправляется в 18.30». Но прежде они пожелали обыскать его комнату.

Пока они все переворачивали и рылись в чемодане с письмами, Титус молча готовил дорожную сумку. Затем не без иронии предупредил этих двоих: «Пора, господа. Голландские поезда не привыкли опаздывать, чтобы дожидаться немецких полицейских».

Голландские епископы, которых он представлял в этой борьбе, рекомендовали ему: «В случае ареста сваливайте все на нас». Но Титус решил ответить за все лично.

Когда его привели в холодную тюрьму, он заметил с добродушной иронией: «Не всем случается попасть в тюрьму после шестидесяти лет честной жизни». Сопровождавший его агент не понял этой реплики, он подумал, что это жалоба, и огрызнулся: «Если вы не хотели сюда попасть, не надо было выполнять приказы архиепископа».

То есть, сам того не желая, он подтвердил то обстоятельство, что Титус попал в тюрьму за свое повиновение Церкви, — вот оно, столь же драгоценное, сколь и нежелательное свидетельство! И в самом деле, Титус ответил, что для него честь — быть арестованным по этой причине.

Процесс начался в городе Айя 21 января 1942 года.

Его допрашивал капитан Хардеген из специальной полиции, принадлежащей к СС. Он начал с мелочного воспроизводства всех его путешествий, поручений, выполненных по приказу епископов, и прежде всего тех, что имели отношение к печати.

Затем дело дошло до самых глубоких разногласий.

Отец Титус старался защитить позиции, занятые епископатом. Он не раз повторял: «Католическая Церковь выполняет распоряжения оккупационных сил и голландских властей лишь до тех пор, пока они не противостоят основам ее веры. Когда возникают разногласия с основами ее доктрины, Церковь отказывается в своем сотрудничестве и принимает на себя последствия этого».

И заключил: «Если угодно, линию голландского епископата я считаю своим личным убеждением».

На следующий день капитан потребовал от Титуса письменного ответа на такой вопрос: «Почему голландский народ, в особенности его католическая часть, противостоит Голландскому Национал-социалистскому Движению?»

Он должен был написать это ясно и с полным спокойствием. По этому случаю ему даже предоставили все необходимое, чтобы, по давней привычке, он мог выкурить свою трубку.

Не заставляя себя просить, он исписал девять часто разлинованных листов, да еще и мелким почерком.

Он ответил, что ГНСД отрицает традиции голландского народа, отрицает его историю, отрицает, прежде

всего, те христианские принципы, что укоренились в самом сердце людей.

Он пояснил, что «в течение веков, когда вера голландцев терпела притеснения, многие из них с энтузиазмом жертвовали своим общественным положением, собственностью, семьей и даже жизнью», и предупредил, что «многие готовы и сейчас отдать жизнь ради исповедания своей веры, если она будет терпеть гонения».

Он не забыл добавить, что голландцы отвергли эту партию потому, что она «ничтожным и инфантильным образом» находилась под влиянием Германии, а также из-за «чрезвычайной наглости и страшной некомпетентности многих ее руководителей»

В заключение он писал: «Любовь к свободе велика у нашего народа. Очень велика. Наш народ реалистичен, серьезен, он страдает и верит. Он спокойно ждет дня, когда он вновь будет свободным. Он горячо желает этого момента... Голландия — это все еще и по-прежнему Голландия».

Впоследствии он признается товарищу по заключению: «Я знал, что подписываю себе смертный приговор».

В годовом отчете о положении в стране, направленном в Берлин «полицией безопасности», профессор Брандсма не раз назван организатором хорошо структурированной антинацистской деятельности и его арест охарактеризован как «необходимый», так как его деятельность направлена на дискредитацию немецкого правительства и национал-социализма, а также на подрыв единства голландского народа.

С большой настойчивостью Хардеген рекомендует «длительный арест профессора Брандсмы с целью защиты», — с целью защиты партии, разумеется.

Тем не менее ему делает честь признание того факта, что «профессор Брандсма — действительно человек с

характером и с твердыми убеждениями», и в особенности он уточнял, что в намерения заключенного входило «защитить христианство от национал-социализма».

Так, со своей обычной пунктуальностью немецкие тюремщики подготовили доказательства и документацию, необходимые для того, чтобы Церковь однажды признала святость и мученичество этого своего сына!

В камере Титус начинает писать дневник:

«...Призвание к Церкви и священству обогатили меня таким удовлетворением и столькими радостями, что теперь я охотно принимаю все то, что мне может показаться отталкивающим. Я повторяю вместе с Иовом: "Господь дал — Господь взял; да будет благословенно вовеки имя Господне"... Хотя я еще не знаю, чем все это закончится, я знаю, что пребываю в руках Божьих: "Кто же сможет отлучить меня от любви Христовой?"»

«Разумеется, мне не хватает Мессы и Причастия, но Бог по-прежнему близок ко мне, Он во мне и со мной... Меня утешает и служит мне стимулом знаменитый отрывок, который святая Тереза хранила в своем молитвеннике: *Nada te turbe, nada te expande. Todo pasa. Dios no se muda... Dios basta* (исп.: "Ничто тебя не смущает, ничто тебя не ужасает. Все проходит. Бог не изменяется... Бога довольно")».

Он рассуждает, что как монах, он должен бы иметь привычку находиться в келье, в келье, которую «Подражание Христу» называет «сладостной», и комментирует: «Да, но когда ты оказываешься в тюремной камере поздно вечером, и дверь закрывают снаружи на тяжелый засов, то остаешься по меньшей мере в недоумении. К тому же то, что я оказался в тюрьме в моем преклонном возрасте, заставляло меня скорей улыбаться юмористической стороне дела, чем огорчаться его трагичности».

Полиция сообщила ему, что его поместили туда лишь на одну ночь, так что когда ему принесли постельное белье на следующее утро, после ночи, в течение которой его не покидало отвращение оттого, что он должен был спать на грязном соломенном тюфяке, он заметил, что теперь оно уже было ненужно. «Возьмите, — сказал ему молодой заключенный, разносивший белье, — я тоже думал пробыть здесь три дня, но возможно, пробуду три года».

На столике в камере он расставил как раз на виду три изображения из своего breviария: «Христа на Кресте» работы Беато Анджелико посередине, «Святой Терезы» справа и «Святого Иоанна Креста» слева. На полочке над кроватью он держал breviарий, открытый на том месте, где было прекрасное изображение Кармельской Богоматери с надписью : *spes omnium carmelitarum* (лат.: «надежда всех кармелитов»).

Так тюремная камера действительно сделалась для него подобна монастырской келье.

«В этой камере я чувствую себя как дома. *O beata solitudo!* (лат.: «О блаженное одиночество!»). Я один, это так, но никогда еще Господь не был мне так близок. Мне хочется кричать от радости, потому что Он вновь, в своей полноте дал мне найти Себя; я никого не жду, и никто не может прийти ко мне. Бог — мое единственное убежище, и я чувствую себя счастливым и под защитой. Я навсегда останусь здесь, если Ему это угодно. Редко я бывал так счастлив и доволен».

Там, в тюрьме, он начал писать «Жизнь святой Терезы», которую обещал одному издательству.

Но он таял на глазах. Когда его взвесили полностью одетым, весы показали 56 килограммов. Он уже страдал от тяжелой инфекции мочевого пузыря, вызванной кишечной палочкой. Холодное время года, конечно же, не

шло ему на пользу: «В холодные дни я постоянно дрожу», — записал он в своем дневнике.

Но в той первой тюрьме жизнь еще была в общем-то человеческой. Положение ухудшилось, когда его перевели в Амерсфорт — тюрьму, оборудованную немцами как «транзитный лагерь» для депортаций.

Это уже был настоящий лагерь, куда стогнали политических заключенных, чьим опознавательным знаком был красный треугольник (так называемых «коммунистов», к которым бросили и Титуса); голландских заложников, евреев, «толкователей» (тех, кто принадлежал к религиозной секте, пророчествовавшей с помощью Библии падение Гилера), офицеров голландской армии.

Другая группа состояла из 160 русских пленных. Они долго не продержались: в течение трех дней их оставили голыми на морозе. За два месяца умерла половина из них. Всех остальных пытали и убили.

Здесь Титус уже начал догадываться о том, какой крест ждал его.

Каждое воскресенье католики собирались вокруг него, и он, садясь на самую высокую койку, спокойно говорил. Казалось, это был нормальный разговор, в действительности же он медленно произносил текст мессы. У них не было всего необходимого для служения настоящей Евхаристии, но Титус по памяти читал молитвы, затем комментировал отрывок из Евангелия, затем шло «духовное причастие»: он по очереди смотрел в глаза каждому и произносил формулировку, которая тогда использовалась при раздаче святых облаток: «Тело Господа нашего Иисуса Христа да сохранит твою душу для вечной жизни. Аминь».

Стоять на карауле и предупреждать их о приближении надзирателей вызвались коммунисты.

Вечером каждый получал также благословение и начертание крестного знамения на лбу.

В Страстную Пятницу 1942 года охранники лагеря предаются разнузданной оргии. Потом они надевают венки из колючей проволоки на голову одному священнику и заставляют заключенных петь гимн: «О глава, увенчанная острыми шипами». Тем временем один из евреев принужден декламировать повествование о распятии.

Вечером того ужасного дня отец Титус тайно проводит лекцию-размышление о страдании.

Вот рассказ свидетеля: «Вокруг него заключенные сидели на койках, расположенных в три ряда. Весь барак вонял гнилыми сабо́, грязной одеждой и потом. Эти люди с обритыми головами смотрели на него потухшими и немного зловещими глазами... Прямо напротив меня, стоя на пустом ящичке из-под картошки, профессор Титус в своей серой униформе и рассказывал нам о Страстях... Слова, исходившие прямо из его сердца, проникали до глубины души. И весь барак молчал в то время, как этот хилый серый человек размышлял вслух со своего ящичка. Его глаза блестели из-за толстых стекол очков и заставляли забыть его оборванную и жалкую фигуру. Молчание сделалось почти давящим. Каждый боролся со своими проблемами и со своим горем, но отец Титус давал всем путь к их решению: нашу любовь к Богу».

Он сказал: «В этот день мы должны быть полны счастливой признательности, так как мы можем увидеть страсти Христовы в единении с нашим страданием».

Один из его слушателей рассказывал: «Мы в молчании вернулись в свои бараки; никто не говорил ни слова: нас коснулся Дух Божий».

Другие впоследствии говорили, что это был самый прекрасный момент их заключения.

Охранники пронюхали что-то насчет этого странного собрания, и на следующий день Титус был наказан: ему пришлось возить тяжеленный каток, служивший для выравнивания гравия на дороге.

В лагере его так любили, что все звали его «дядя Титус». К нему обращались за утешением евреи, протестанты, коммунисты, атеисты, и все слушали его каждое утро, пока он, сидя посреди помещения, рассказывал житие святого, чья память отмечалась в тот день. Да еще и жаловались: они хотели бы, чтобы рассказы были длиннее.

Один молодой заключенный — поскольку Титус сокрушался, что забыл четки, когда Гестапо уводило его из монастыря, — изготовил для него четки из кусочков дерева и меди.

Он пробыл в этой ужасной тюрьме до мая месяца, но уже не надеялся на людей: «Меня больше не выпустят, и я уж точно попаду в Ораниенбург или в Дахау, откуда не возвращаются».

Действительно, поступило распоряжение СС перевести его в Дахау: «Мне сообщили, что меня держат в заключении из опасения, по причине моей антинемецкой линии: боятся, что я плохо использую мою свободу, действуя против Германии».

Им известно, что он очень болен, но все тот же Хардеген объясняет ему, что в Дахау медицинское обслуживание заключенных — бесплатно, так как речь идет, как он буквально выразился, «о заведении, основанном на гуманной солидарности».

Титус комментирует в письме к брату: «Я вверил все в руки святого Иосифа, который принес маленького Иисуса из Египта в Назарет. Как Иисус и Богоматерь, я вверяю себя его могущественному заступничеству. Присоединись и ты ко мне в молитвах».

И он сохраняет в сердце ту утешительную мысль, которая лежит в основании его веры: «Бог — повсюду!»

Его поместили в тюрьму Клеве в ожидании сортировки; каждую неделю оттуда отправляли по сорок заключенных. Капеллан тюрьмы, который познакомился с ним в дни этого скорбного ожидания, сказал о нем: «Бог

дал мне благодать встретить человека, полного веры». Он был отправлен оттуда в цепях 13 июня 1942 года. Последние слова, которые капеллан услышал от Титуса, были: «Со мной не может случиться ничего плохого, потому что Господь сопутствует мне».

В этом он был совершенно уверен, тем более что накануне вечером он даже смог причаститься Святых Тайн.

Когда он прибыл в лагерь 19 июня 1942 года, первая его встреча была с «начальником блока» (одним из печально известных «Каро»), который питал особую ненависть к священнослужителям. Он стал бить Титуса доской — так, знакомства ради, и во время перехода развлекался тем, что пинал его в пятки до крови. Этого обращения он затем систематически удостоивался каждый день.

Видя его в этом плачевном состоянии, один эсэсовец посоветовал ему не беспокоиться, так как скоро он «отпразднует свое Вознесение из трубы крематория».

Ему дали номер 30492 — таково было число заключенных, предшествовавших ему... Когда в конце 1945 года лагерь прекратит свое существование, нумерация уже дойдет до 180 000, не считая тех, кто был убит сразу же, не получая номера... Однажды прибыли сразу более тысячи священников-поляков.

Лагерь был разделен на тридцать блоков, три из которых были предназначены для священнослужителей; каждый блок имел четыре двойных общих помещения, каждое из которых должно было содержать по сто заключенных. Однако это число доходило и до трехсот пятидесяти, так что несколько человек должны были спать на одних нарах. Впрочем, они так исхудали, что помещались там без труда!

Они должны были работать как каторжники по тринадцать часов в день, и не было ни воскресений, ни выходных. Включая работу, переходы и переключки, день

изнурительного труда начинался в четыре утра и заканчивался в девять вечера. Питание: по 250 граммов хлеба утром и вечером, обед — миска горячей воды с пригоршней красной капусты или свеклы, иногда по картофелине.

Ферма, куда Титус должен был ходить на работу выращивать лекарственные травы, — надо было распахать землю, мотыжить, выносить камни — называлась «Вилла любви». Хотя другие священники всячески старались ему помочь, они должны были поддерживать его во время перехода, так как он не выдерживал этого ритма, который был для него еще более тяжким из-за постоянных жестоких наказаний: пинков, ударов кулаком и плетью до крови. Остальные говорили, что «с ним обращались, как с истерзанным Христом».

Но никогда и ни по какому поводу из его уст не исходило ни малейшей критики в адрес его мучителей. Напротив, он сказал о надзирателе, ударившем его палкой так, что у него кровь пошла из носа: «Бедолага, мне так жаль его, я не могу на него обижаться».

Он вверял себя своей самой большой любви: Кармельской Богородице и Святым Дарам.

Рассказывает один из его братьев: «Вечером, когда мы возвращались, измученные работой, а часто также и побоями, Титус говорил мне: "Брат мой, Мария должна помочь нам и поддержать нас; если она покроет нас своей рукой, мы многое сможем вынести..."»

Особенно драгоценной была поддержка Святых Даров, которые ему удавалось получать почти ежедневно от содержащихся в лагере немецких священников, так как им была предоставлена чуть большая свобода. Одну частичку он сохранял в футляре для очков на следующий день; тем, что оставалось, причащались и по десять человек, каждый раз рискуя быть жестоко наказанными.

Ночь, — когда ему в течение многих часов не удавалось уснуть, — он проводил в поклонении этому кусочку

ку Святого Хлеба, поверяя ему всеобщее страдание. Он говорил, что и Иисус в Святых Дарах — так же «великий заключенный».

Однажды, когда его избили сильнее обычного, называя его при каждом ударе «мешок с дерьмом», тому, кто спрашивал его, очень ли он страдал, он ответил: «Ах, брат мой, я знал, Кто был со мной!»; и был очень доволен, так как прежде, чем упасть, он смог спрятать подмышкой футляр от очков, ставший его дароносицей.

Протестантский пастор, который познакомился с ним и восхищался им в том лагере, сказал, что отцу Брандсме удавалось сохранить «рай своего сердца в аду лагеря» и распространять вокруг себя мир и радость Христовы.

Он был так измучен, что собратья по заключению однажды посчитали необходимым порекомендовать его для госпитализации начальнику лазаретного отделения.

Тюремщик, казалось, был слишком расположен им помочь: Титуса увели, и никто его больше никогда не видел.

Все, что произошло вслед за этим, стало нам известно от одной совершенно особенной свидетельницы: от свидетельницы, чье имя не оглашается, так как ее разыскивает международная полиция по обвинению в том, что она стала причиной гибели тысяч депортированных.

Это она убила Титуса и покалась именно потому, что воспоминание о нем ее не оставляло. Тогда она была молодой девушкой и работала медсестрой, но из страха подчинялась бесчеловечным приказам врача-офицера. Фактически она приводила в исполнение все смертные приговоры. Сейчас это очень пожилая женщина, и с той поры она живет в покаянии и в муках из-за своего прошлого.

Это она рассказала «под секретом», что Титус «при поступлении в лазарет уже был в списке мертвых».

Это она рассказала об опытах, проводившихся над больными, в том числе и над Титусом, и о том, как против ее желания ей врезались в память слова, с которыми он переносил жестокое обращение: «Отче, да будет не моя воля, но Твоя».

Это она рассказала о том, что все больные ненавидели и обзывали ее самыми обидными словами; и о том, как она была поражена, что этот старый священник обращался к ней с деликатностью и уважением отца: «Однажды он взял меня за руку и сказал: "Какая Вы несчастная девушка, я буду молиться за вас!"»

Это ей заключенный подарил свои жалкие четки, сделанные из меди и дерева, а когда она раздраженно сказала, что они ей не нужны, потому что она не умеет молиться, Титус ответил ей: «Не обязательно читать полностью "Ave Maria"; говори только "Молись за нас, грешных"».

Это ей в тот день, 25 июля 1942 года врач отделения дал шприц с сенильной кислотой, чтобы она ввела ее в вену Титуса. Это был привычный жест, медсестра уже выполняла его сотни раз, но несчастная вспоминает: «Весь тот день мне было плохо».

Инъекция была сделана без десяти два; в два часа Титус умер: «Я находилась там, когда он скончался... врач сидел у постели со стетоскопом, для видимости. Когда сердце перестало биться, он сказал мне: "Эта свинья издохла"».

О своих мучителях Титус всегда говорил: «они тоже дети Господа Бога, может и в них еще осталось что-то...».

Бог даровал ему именно это последнее чудо. Лагерный врач издевательски называл инъекцию яда «инъекцией милости». И вот, в то время, как медсестра вводила ее ему, заступничество Титуса действительно вдохнуло в нее милость Божию.

На канонических процессах несчастная говорила, что лицо этого старого священника навсегда осталось запечатленным в ее памяти, поскольку в нем она прочла нечто такое, чего никогда не знала: «Он жалел меня!» Как Христос.

АНТОНИО МАРИЯ СИКАРИ

ШЕСТАЯ КНИГА ПОРТРЕТОВ СВЯТЫХ

**АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ, БЕНЕДИКТ НУРСКИЙ,
БРИГИТТА ШВЕДСКАЯ, АЛЬФОНС МАРИЯ ЛИГУОРИ
ФРАНСИСКО И ХАСИНТА МАРТО, ФАУСТИНА КОВАЛЬСКА,
МАДЛЕН ДЕЛЬБРЕЛЬ, ОТЕЦ ПИО ИЗ ПЬЕТРЕЛЬЧИНЫ**

Святой Амвросий
(334-397 гг.)

«Секрет этого человека — в его душе, которая на всю жизнь воспламенилась признательностью за то, что ее уловила благодать».

Так А. Хамман завершает краткий исторический очерк, посвященный святому епископу Амвросию.

«Уловленный благодатью» — это весьма реалистичное выражение, так как за одну неделю своей жизни он принужден был — в сорок лет — креститься и принять сан священника и епископа; он был рукоположен для одной из самых почтенных епархий Запада после того, как всячески пытался избежать павшего на него выбора; он не понимал, отчего этот выбор пал именно на него: ведь он был полностью поглощен своей карьерой магистрата и сенатора Римской империи.

Амвросий родился, вероятнее всего, в 334 году в Тревири, в Рейнской области, где постоянно пребывал двор Константина II, при котором его отец, также носивший имя Амвросий, занимал высокую должность префекта Галльской претории: в его обязанности входил контроль за всей юридической и гражданской администрацией Империи: от Британии до Марокко и от Германии до Атлантики.

Но в 340 году Константин II пал, потерпев поражение при Аквилее от своего брата Константа, и увлек за собой всех своих министров.

Поэтому, когда Амвросий был еще совсем маленьким, он вернулся в Рим с матерью, сестрой Марцелли-

ной и братом Сатиром, и там он получил воспитание, достойное отпрыска богатой римской аристократии.

О его матери нам почти ничего неизвестно, но мы можем сделать определенные выводы из той нежности, с которой епископ Милана впоследствии будет учить уважению и заботе, которые дети должны оказывать прежде всего своей матери:

«И выражением лица нельзя изменять почтению, коим мы обязаны родителям... Пусть ты окажешь всю необходимую поддержку твоей матери, — даже и тогда ты не отблагодаришь ее за все ее скорби, не отблагодаришь ее за все терзания, которые она перенесла ради тебя; не отблагодаришь за любовь, с которой она носила тебя во чреве; не отблагодаришь за пищу, которую она тебе давала, с нежной любовью прижимая свою грудь к твоим губам; не отблагодаришь ее за голод, который она терпела ради тебя, когда не хотела съесть ничего такого, что могло бы тебе повредить, ни прикоснуться ни к чему такому, что могло бы испортить ей молоко. Ради тебя она постилась, ради тебя она ела, ради тебя она отказывалась от пищи, которой желала, ради тебя она ела то, что ей не нравилось, ради тебя она не спала ночи; из-за тебя она плакала: и ты позволишь, чтобы она жила в нужде? О, сын, какого ужасного суда ты заслуживаешь, если не поддержишь той, что родила тебя! Всем, что ты имеешь, ты обязан той, которой ты обязан и тем, что существуешь» (Изложение Евангелия от Луки, 8, 74-75).

Подобные слова мог написать лишь тот, кто всегда смотрел на собственную мать с бесконечной благодарностью и почтением.

Семья Аврелиев Амвросиев принадлежала к христианской традиции: в числе ее предков была и святая мученица Сотера (возможно, сестра бабушки Амвросия), которая пролила кровь за Христа во времена гонения Диоклетиана.

Амвросий, уже став епископом, так будет рассказывать своим христианам ее историю:

«Эта девушка из семьи магистратов и консулов, прекрасная как ангел, решительно отказалась поклониться идолам; она с радостью подставила лицо под удары, пожертвовав его красотой... не пролив ни единой слезинки и не издав ни единого стога. Но никто не смог отнять у нее красоту души до тех пор, пока меч наконец-то ни дал ей смерть, которой она искала...»

И, тем не менее, он, потомок мучеников, не был и не будет крещен до зрелого возраста. В то время христианские семьи сразу же записывали своих детей в оглашенные, но долго откладывали их крещение за исключением тех случаев, когда те подвергались смертельной опасности. Многие крестились в зрелом возрасте, большинство — непосредственно перед смертью.

Особенно знать не была расположена крестить своих сыновей: общественная жизнь тогда была пропитана языческими обычаями и обрядами, и, будучи крещеным, труднее было выполнять определенные общественные обязанности, одним из примеров которых можно назвать магистратуру.

В доме Амвросия — в семье магистратов — царил глубоко религиозный дух, так что его сестра Марцеллина в день Рождества между 352 и 354 годами попросила у Папы Ливерия покрывало Дев, полностью посвятив себя любви Христовой.

Но ни Сатир, ни Амвросий не просили крещения, хотя и жили в дружбе с епископами и святыми: возможно, у них были дружеские отношения и с великим изгнанником и защитником веры Афанасием Александрийским, который вместе с другими египетскими монахами нашел убежище в Риме, пробыв там около двух лет.

Один из немногих известных нам эпизодов отрочества Амвросия имеет отношение как раз к этим частым

визитам иерархов, которым женщины его дома спешили поцеловать руку: тогда мальчик подражал епископу и тоже протягивал руку для поцелуя сестре и ее подружкам-девам. «Я тоже буду епископом», — в шутку говорил он.

Биографы вспоминают об этом эпизоде с почтением, находя в нем скорее пророчество, чем ребяческую забаву.

Тем временем мальчик проходил свои курсы грамматики, риторики и права, будучи уже предназначен к карьере императорского чиновника. У него также не было недостатка в хорошем знании греческого языка.

Получил он и прекрасное музыкальное образование, которое тогда было очень распространено среди знати.

Как раз в те годы Церковь подверглась последнему жестокому гонению по воле императора Юлиана Отступника.

В 365 году, в возрасте около 31 года Амвросий стал адвокатом в префектуре Сирмийской претории, в столице нижней Паннонии, что на Дунае.

Именно туда в 368 году прибыл префект Сикст Петроний Проб, друг семьи Амвросия; его юрисдикция распространялась на всю дунайскую Европу, а также на Италию и на Северную Африку. Новый префект тотчас же высоко оценил блестящего адвоката, который, как говорит биограф, «защиту в процессах вел великолепно».

Поэтому в 370 году Амвросий был назначен губернатором (лат.: *consularis*) итальянских провинций Лигурия и Эмилия с центром в Милане (Медиолане).

По словам Паолина, который был секретарем Амвросия и его первым биографом, префект Проб, прощаясь с Амвросием перед его отъездом, сказал ему: «Поезжай и веди себя не как судья, а как епископ!»

Из этого пожелания можно заключить, что Милан был сложным городом, но возможно, оно выдавало и укор совести в том, чем не смог быть сам префект: не взирая на то, что он был христианином (но он примет

крещение лишь в шестьдесят лет!), богатейший Проб, ровесник Амвросия, уже в те годы пользовался своей огромной властью в целях стяжательства.

Милан тогда насчитывал около ста тридцати тысяч жителей и был по большей части языческим.

Со времен Диоклетиана он считался императорской резиденцией. И поэт-современник уже тогда воспевал его с излишним восторгом: «В Милане все чудесно!» Это был город коммерсантов, где люди много трудились и были горды своим трудом. О жизни христиан мы знаем немного: известно лишь, что Церковью управлял Аусенций, епископ-арианин, которого силой навязал городу император.

После того, как прошли времена великих гонений, пытавшихся уничтожить новую веру извне, арианская ересь стала чем-то вроде гонения на Церковь изнутри, — гонения еще более жестокого и опасного, ибо она в недвусмысленной форме или же более скрыто и утонченно отрицала Божество Иисуса.

Некоторые из последователей александрийского пресвитера Ария, который положил начало этому еретическому течению, были готовы на все: они были готовы «сделать уступку почти во всем», некоторые даже признавали и почитали Христа как «истинного Сына Божьего», — лишь бы только не утверждалось, что Он — «истинный Бог».

Но в этой последней, опасной, разнице, тонкой, как волос, крылась бездна.

В самом деле, если Слово не признавалось в качестве истинного Бога, — еще прежде всякого уточнения, и объяснения, и различия, — то уже невозможно было утверждать, что Бог действительно воплотился, что Он действительно снизошел ради человека и его спасения.

И то не был вопрос, касавшийся лишь узкого круга богословов, споривших между собой о том, необходимо

ли признать, что Сын Божий «единосущен Отцу» (это определение дано Никейским Собором в 325 году), или же достаточно сказать, что Он имеет «сходную с Отцом сущность».

Если допустить, что учение ариан — понятное как угодно, но в любом случае отрицавшее божественность Сына Божьего — было истинно, то в христианстве не оставалось больше ничего действительно божественного, а потому не оставалось больше ничего божественного в Церкви и в Благой Вести, провозглашаемой ею.

Стремление Церкви к тому, чтобы зависеть исключительно от Бога, ограничивалось пугающим образом.

Поэтому был неизбежен тот факт, что императоры IV века покровительствовали арианам: в сущности эта доктрина предавала Церковь в их власть, и таким образом легче было возродить идею о том, будто император — это земной образ Высшей Власти Божией: убеждение, которое было не только очень древним, но и обретало новый блеск в рассуждениях некоторых арианских епископов.

И христианскому императору было уже совсем не сложно считать себя, согласно божественному праву, *Episcopus Episcoporum* (лат.) — епископом всех епископов.

В те годы епископы почти всех больших городов Востока были арианами, и они были «навязаны» императором Констанцием II: истинные епископы подверглись ссылкам и гонениям.

На Западе положение было не столь серьезно, так как Констант был католиком, но дело приняло иной оборот, когда после его смерти Констанций II сделался единственным императором.

Вспыхнули конфликты: в Риме Папу Ливерия по приказу императора арестовали и сослали в нынешнюю Болгарию; Иларий из Пуатье, великий защитник ортодоксии (православия), был сослан в Малую Азию; в Ми-

лане был силой водворен Авксентий, епископ-арианин, который прибыл из Каппадокии и даже не знал латыни.

Иларий из Пуатье, пребывая в ссылке, не побоялся послать епископам Галлии свое сочинение, направленное против императора.

Он писал с невероятным мужеством: «Теперь пора заговорить, ибо прошло время молчать. Мы ожидаем пришествия Христова, ибо Антихрист победил. Пожертвуем жизнью за наше стадо, ибо вор проник в овчарню, и вокруг нее, рыкая, бродит лев. О Боже, если бы Ты дал мне родиться во времена Нерона и Декия... тогда, по крайней мере, все знали, что они гонители... Ныне же мы сражаемся против гонителя, скрытого под маской, против врага, который нас обольщает, против антихриста Констанция, который не разит нас в спину, а поглаживает по животу [...]. Он исповедует Христа, чтобы затем отречься от Него, возводит церкви, чтобы уничтожить веру, у него всегда на устах Твое имя, о Христе, и он делает все, чтобы люди не верили, что Ты Бог, как и Отец. О Констанций, ты притворяешься христианином, но ведь ты новый враг Христов...»

Когда происходили эти события, Амвросий еще был студентом в Риме, но теперь, когда он в тридцать пять лет прибыл в Милан в качестве губернатора, он увидел город, где вот уже около пятнадцати лет вера христиан подвергалась тяжким испытаниям по вине епископа-арианина (Авксентия), которого тот же Иларий из Пуатье называл «дьяволом», «охраняемым теми, кто имеет власть, и любимцем мира».

Новый магистрат смог выполнять свои обязанности — с чувством меры и проницательностью, которые были всеми признаны — чуть более трех лет. И наступила та судьбоносная осень 374 года, когда Авксентий умер. Уже многие годы католические епископы ожидали случая, чтобы наконец-то дать настоящего пастыря имперскому

городу, но все знали, что его избрание будет крайне нелегким.

Согласно обычаям, выбирать его должны были духовенство и верующие епархии, — то было собрание, претерпевшее глубокий раскол: с одной стороны были все те, кого Авксентий за двадцать лет своего епископства склонил к арианству, особенно рукоположенные им пресвитеры, а с другой — католические епископы области и все те священнослужители и верующие, что сохранили истинную веру под наставлением Илария из Пуатье и Филастрия из Брешии.

Опасались не только серьезных беспорядков, но даже поговаривали и о «разрушении города» в том случае, если бы произошла вполне предвиденная смута.

По этой причине Амвросию, во имя поддержания порядка, пришлось отправиться в собор, переполненный христианами, и случилось так, что он вынужден был подняться в пресвитерий, где находились епископы, — с тем, чтобы говорить к народу и призвать его к спокойствию.

Он был небольшого роста, с аристократическими чертами лица, с властными манерами человека, привыкшего командовать, со связной и убедительной речью.

Неизвестно, отчего это случилось, но из собрания до неся возглас (говорят, что это был крик ребенка, который, возможно, хотел позабавиться): «Амвросий епископ!»

Собрание всколыхнулось от подобной провокации: католики знали, что он принадлежал к старинному римскому семейству, находившемуся в дружеских отношениях с Папой; арианам он был известен как честный магистрат, беспристрастный в приговорах и верный императору. Этот крик превратился в овацию.

Амвросий буквально сбежал: он даже не был крещен и неплохо продвинулся в своей светской карьере, да к тому же он не имел никакой подготовки в церковном учении. Существовали и церковные законы, запреща-

шие избрание христиан, которые совсем недавно сделались таковыми.

Беда была в том, что и присутствовавшие епископы не выдвинули ни единого возражения.

«Как я сопротивлялся, чтобы меня не рукоположили в епископы!» — скажет впоследствии Амвросий.

Он не только сбежал, но и тотчас же стал заниматься своей прежней профессией с крайней строгостью и даже с некоторой жестокостью, дабы люди потеряли к нему расположение.

Он дошел до того, что приводил к себе в дом уличных женщин с тем, чтобы народ посчитал его недостойным, но и это не помогло.

Он укрылся в пустынной келии, но его нашли и там.

Он бежал из Милана, но, пробродив целую ночь в тумане, из-за которого он потерял направление пути, наутро оказался все еще поблизости от городских ворот.

Возможно, биограф забавляется, предлагая нам драматичный сценарий призвания этого изысканного сорокалетнего сенатора.

Но эта история подошла к концу, когда сам император Валентиниан выразил свое одобрение. Будучи скорее суеверным, он увидел в этом странном единодушии знак с небес — да и в самом деле это был знак! — так что он повелел всякому, кто укрывает Амвросия, выдать его...

В результате тот должен был принять крещение, и он пожелал получить его из рук католического епископа. Было 30 ноября 374 года. Неделью спустя, пройдя все надлежащие промежуточные степени, он был рукоположен в епископы.

Зная, что он многому должен был научиться («Я погружен в туман невежества!» — часто говорил он со смирением), он начал с того, что избрал своим «отцом и учителем в вере», а также в качестве своего личного

наставника старого и мудрого священника по имени Симплициан.

Здесь неплохо будет забежать вперед: когда после двадцати трех лет епископского служения Амвросий будет находиться при смерти, он, услышав, как у его постели поговаривают о том, чтобы избрать именно Симплициана в качестве его преемника, прошепчет: «Да, он старый, но зато добрый». Так и произойдет.

Но вернемся к началу епископства Амвросия: первым делом он отдал миланской Церкви, которая была довольно бедной, все свое состояние, в том числе и имения, принадлежавшие его семье на Сицилии и в Африке.

Так он пожелал незамедлительно преподать следующий урок: что Церкви служат не грабя ее, — а многие арианские епископы именно этим давали повод к соблазну — а отдавая ей всю собственную энергию и все собственные средства.

Затем он стал жить в чисто монашеском воздержании — он решил, что в будни ему достаточно лишь одного приема пищи, вечером — и прилагать все свои силы к изучению церковной доктрины, знания которой ему не хватало.

«Когда я оказался оторван от судов и от магистратуры, — говорил он своим священникам, — я должен был начать учить еще прежде, чем у меня было время научиться». Поэтому он знал, что ему придется «учиться и учить» одновременно, и делал это со всей честностью, к которой был привычен.

Все свободное время он посвящал быстрому чтению про себя (а тогда почти все обычно читали, произнося слова вслух), и за этим занятием его увидит Августин, когда прибудет в Милан около 384 года, спустя десятилетие после тех событий, о которых мы рассказали.

Вот его свидетельство:

«Не раз (так как вход никому не был запрещен, и не было принято объявлять ему о приходе посетителей) я видел его читающим в моем присутствии именно так, безмолвно и никак иначе. Поэтому, после того, как мы подолгу оставались там, сидя в молчании, — кто посмел бы побеспокоить человека, столь напряженно сосредоточенного? — мы уходили, полагая, что в то краткое время, которое было у него в распоряжении для восстановления умственных сил, он как бы отдыхал от суеты всех прочих своих обязанностей и, наверное не хотел, чтобы его отвлекали...» (Исповеди, 6,3,3).

Обязанности епископа тогда были изматывающими: от него зависела ежедневная литургическая молитва; обучение тех, кто готовился к крещению; забота о кающихся и о монахинях; помощь вдовам, сиротам и бедным; он должен был защищать людей от всякого рода притеснений, в том числе и от слишком высоких налогов. Даже для того, чтобы добиться справедливости, христиане предпочитали представлять свои дела на суд епископа, и это порой отнимало целые дни.

Но как только у него была возможность, Амвросий посвящал себя изучению Священного Писания, и говорил, что ему казалось, будто бы он «погружался в море»; он вновь и вновь обдумывал эти божественные слова, как бы пережевывая их, ибо, как он говорил, ему хотелось, чтобы их суть проникла «до глубины его души».

Знание греческого языка позволило ему познакомиться с лучшими христианскими писателями того времени: Оригеном, Василием Кесарийским, Дидимом Слепцом, Афанасием Александрийским.

А ночью он писал.

Уже в первые годы ему удалось сочинить некоторые догматические трактаты «О вере», чтобы разъяснить императору истинно католическое учение. Позже он со-

чинит трактаты «О святом Духе» и «О таинстве воплощения Господня».

Эти произведения не были оригинальными в том смысле, что Амвросий повторял то, чему он сам научился из своего чтения; но эксперты нашего времени утверждают, что он обладал необыкновенной способностью схватывать суть проблем, усваивать их решение и затем превосходить своих учителей «в поиске четких формулировок», в которых истинная вера выражалась и сохранялась совершенным образом.

Но он был особенно гениален в своей манере комментировать Писание. Всегда восторгаясь Словом Божиим, он говорил, что оно — пища: простое молоко и убедительный мед для укрепления слабых, питательный хлеб и пьянящее вино — для сильных.

В комментарии он вкладывал все свои знания, в том числе и светские, «так что его произведение [о "Семи днях Сотворения мира"] сделалось настоящей и, можно сказать, лучшей "Естественной Историей" его времени».

Он особенно любил преподавать христианское учение в форме размышлений о персонажах Ветхого Завета.

Например, он рассказывал историю бедного Навуфея, которого царь Ахав велел убить, так как хотел забрать себе его виноградник; и этот пример служил ему для рассмотрения самых серьезных проблем социальной справедливости. «Не один только бедняк Навуфей был убит: каждый день какой-нибудь Навуфей терпит притеснение, каждый день убивают бедняка... Чего вы хотите достичь, о, богатые? Природа, которая рождает всех бедными, не знает богатых... Природа, которая не признает различий, когда мы рождаемся, не признает их и когда мы умираем... О богатые, вы — рабы, и ваше рабство плачевно, ибо вы рабы заблуждения, рабы жадности, рабы алчности, которая никогда не будет удовлетворена... Не говорите: "Я дам завтра". Бог не выно-

сит, когда ты говоришь "Я дам завтра!" Ты [богач] не даешь бедному твое, — ты даешь ему то, что ему принадлежит... Ты лишь возвращаешь должное...» (Набот, 1,2 и ниже).

И если он говорил это дающим милостыню, то можно себе представить, что он говорил многочисленным барышникам и ростовщикам того времени.

Он пояснял, что богатства, «покрытые пылью, когда их копят, начинают сиять, когда их используют для помощи бедным» (там же, 12,50-52).

В проповеди Амвросий умел очаровывать. Августин, который прибыл в Милан в качестве профессора риторики, ходил слушать его, когда еще интересовался не столь идеями епископа, сколь его ораторской славой, и он признается: «Сладостность его речи завораживала меня...» (Исп. 5,13,23).

Кончилось тем, что этот молодой африканский адвокат — умнейший и терзавшийся своим поиском — не смог более провести различия между прелестью формы и красотой содержания, и путь обращения начал открываться перед ним.

Особую заботу в жизни и в сочинениях Амвросий проявлял по отношению к девам, посвятившим себя Христу, так как в них он видел прославление самой глубинной сути христианской веры.

Амвросий является одним из немногих Отцов Церкви, которые считают, что женщина лучше мужчины, и он доказывает это, поясняя, что мужчина был сотворен из бесформенной глины, тогда как женщина взята от мужчины, то есть от хорошо сформированного создания. И даже проблему первородного греха Амвросий, в отличие от других авторов его времени, рассматривает таким образом, что Ева предстает менее виновной, чем Адам.

Он всегда проявляет внимание к достоинству женщины, супруги и матери в то время, еще пропитанное

язычеством, когда женственность была унижена, а семья пребывала в стадии разложения; и так же с этой точки зрения христианские девы, по его мнению, являются великолепным примером свободы и достоинства женщины.

Перед глазами Амвросия — возвышенный пример в лице его сестры Марцеллины. Когда он пишет к ней, он так адресует свои письма: «От брата — госпоже сестре, которая для него дороже жизни и драгоценнее очей».

Но посвященные девы — это не только славный протест против языческого общества; они, — утверждает Амвросий, — пребывают в самом сердце христианства, там, где воплощаются два основных выражения веры: беспокойный поиск Христа и встреча с Ним.

«Посмотри, как Христос любит, чтобы Его искали, и как Он не любит болтовни... Христу угодно, чтобы Его искали подолгу...», — объяснял он им. А затем описывал счастье встречи: «Если бы [душа] Его искала, если бы она Его желала, если бы она Его жаждала, если бы она усердно молилась, если бы она вся была обращена к Слову, — вот тогда она вдруг услышала бы Его голос...» («Призыв к девственности», 9,57 и ниже).

Поиск, ожидание и встреча для Амвросия являются основными выражениями христианского опыта, и необходимо постоянно поддерживать их жизнеспособность: среди забот дня, в молитве, и особенно когда мы приступаем к чтению Писания.

Один из его самых любимых примеров — это образ молодой жены, которая «на дюнах, на берегу моря неутомимо ожидает Супруга, и всякий раз, как она замечает вдали корабль, она надеется, что на борту его находится спутник ее жизни, и она боится, как бы кому другому не выпало счастье прежде нее заметить любимого, и что не она скажет первой: "Я увидела тебя, муж мой!"» («Комментарий к псалму СХVIII», XI,9).

Посвященные девы, и, прежде их всех, Дева Мария для него были Церковью, влюбленной в Христа, и потому он очень часто говорил о них христианам.

Ходили слухи, что матери запрещали дочерям ходить на его проповеди, ибо слишком многие из них поддавались очарованию и избирали этот путь. Но Амвросий жаловался, что их было слишком мало.

Когда он говорил о Христе, то заставлял слушателей влюбиться в Него: «Мы имеем все во Христе Господе. Если хочешь исцелить рану, то Он врач; если ты горишь в лихорадке, то Он источник воды живой; если грех и зло угнетают тебя, то Он справедливость, Он святость; если ты нуждаешься в помощи, то Он сила; если боишься смерти, то Он жизнь; если желаешь неба, то Он путь, ведущий туда; если хочешь бежать от мрака, то он свет; если ты голоден, то Он питание и пища» («Девственность», 16,99).

Всем христианам он подавал суть того же учения, особенно когда призывал к Евхаристии. Он говорил им: «Если хлеб — насущный, почему же ты принимаешь его раз в год?.. Принимай ежедневно то, что ежедневно идет тебе на пользу! Живи так, чтобы быть достойным получать его каждый день!.. Если ты получаешь его каждый день, то всякий день для тебя — это сегодня [...]. Если сегодня Христос — твой, то Он воскресает для тебя во всякий день... Сегодня — это когда Христос воскресает» («Таинства», У,4,25).

А своих священников он любил так, что не побоялся сказать им: «К вам, которых я породил в Евангелии, я питаю не меньшую любовь, как если бы вы были моими детьми в браке!» («Обязанности», I,7,24).

Так Амвросий создавал живую Церковь, но Церковью были для него и четыре соборных храма, существовавшие тогда в Милане, к которым он питал ревнивую любовь.

Прибыв в город, красавица-императрица Иустина, мать Валентиниана II, бывшая арианкой, потребовала для себя церковь, чтобы праздновать там Пасху со своими единоверцами, и не скрывала намерения назначить своего епископа. Амвросий смог ей противостоять, так как наконец-то существовал закон, запрещающий еретикам публичный культ.

Прямое столкновение, однако, произошло в Страстную неделю 386 года, когда Иустина явилась к нему после того, как она провела новый закон, который предоставлял всем христианам, в том числе и еретикам, свободу культа.

Теперь она была уверена, что Амвросий уступит. Сначала ариане просили собор за пределами городской стены, и Амвросий отказал. Они вновь пошли в наступление и потребовали Новый Собор — самый большой, расположенный в центре города. А иначе на голову епископа падет обвинение в сопротивлении императору с последующим наказанием ссылкой, если не смертью.

Амвросий возразил, что его долг — отдавать кесарю кесарево, но как раз-то соборы и не кесаревы.

Его диалектика обаятельна: «Что может быть почетнее для императора, чем сказать, что он сын Церкви?.. Действительно, император — внутри Церкви, а не над ней...»

Тем временем верующие, сплотившись вокруг Амвросия и «не смыкая глаз ни днем, ни ночью», жили в соборах, подвергавшихся угрозе и осажденных солдатами.

Чтобы сломить сопротивление народа, всех торговцев обложили налогом в двести фунтов золота, который они обязаны были заплатить в течение трех дней.

Те отвечали, что готовы были заплатить вдвое больше, лишь бы только сохранить свою веру и свои церкви.

На церковном дворе кто-то уже приготовил повозку, которая должна была увезти в ссылку епископа.

«Вы не должны страшиться, — проповедовал Амвросий, — какое бы страдание я не должен был вынести, я буду терпеть его во имя Христа».

Лишь в Великий Четверг, когда уже опасались худшего, император повелел снять осаду, так как с одной стороны солдаты угрожали перейти на сторону епископа, а с другой стороны Максимиан, с которым Валентиниан разделял власть, написал ему, осуждая насилие по отношению к католикам, и письмо содержало угрозу воспользоваться создавшимся положением. Что в действительности и было сделано на следующий год.

Но те ночи осады, проведенные в молитве, останутся в истории: Амвросий использовал их, чтобы дать своему народу возможность пережить на собственном опыте монашеские бдения, соответствовавшие обстоятельствам: он обучил его антифонному (то есть, двумя чередующимися хорами) пению псалмов и сочинил для него прекрасные гимны, которые еще и сегодня, подобно драгоценным украшениям, обогащают литургию.

Они вошли в употребление по всему Западу.

Пусть эту картину опишет Августин, который тогда еще наблюдал за ней глазами неверующего: «Всякую ночь, готовая умереть со своим епископом, бодрствовала толпа Твоих верных в церкви... Моя мать, раба Твоя, которая по усердию своему была в первом ряду во время бдений, жила молитвой. Да и мы сами, хотя еще и холодные и лишенные тепла Твоего Духа, все же чувствовали себя возбужденными от ошеломленной тревоги города. Вот тогда-то и стали петь гимны и псалмы, по обычаю восточных областей, чтобы народ не ослабел от скуки и печали, — это новшество сохранилось и доныне, и ему подражают многие, да и почти все стада Твоих верных в других частях света» (Исп. 9,7,15).

Говорили, что Амвросий своими гимнами «околдовал людей». И он соглашался с этим: «Это именно так, я не

отрицаю: это великое волшебство, самое могущественное среди всех других. Да и что может быть могущественнее, чем исповедовать Троицу, которая каждый день восхваляется устами всего мира? Все состязаются в провозглашении своей веры, все научились хвалить в стихах Отца, Сына и Святого Духа. Потому-то стали учителями все те, что едва могли быть и учениками» («Речь против Авксентия», Письмо LXXV, 34).

Таково волнующее определение литургического пения: оно позволяет нам прелестью своих выражений и мелодий сделаться «учителями в вере», даже если мы не богословы.

Сам Августин признается: «Сколько слез я пролил, слушая звуки твоих гимнов и песнопений, что сладостно звучали в твоей церкви! Сильно было волнение: эти звуки вливались мне в уши и растворяли в моем сердце истину, возбуждая в нем горячее чувство набожности. И то были благодатные слезы» (Исп. 9,6,14).

История с соборами сделала Амвросия самой сильной и искренней личностью в обсуждении вопросов, касавшихся отношений между Церковью и Государством. В прошлом он был магистратом и хорошо знал права императора: он не только уважал их, но и готов был поставить себя им на службу, когда его сотрудничество было необходимо. Но затем он стал епископом Святой Церкви Божией, а в качестве такового считал своим сыном и императора.

Мы не можем обойти вниманием некоторые знаменитые эпизоды: одни из них являют в нем сердце отца христиан, другие же свидетельствуют о том, как он умел склонить даже императоров к сыновнему повиновению.

Вспомним, прежде всего, поражение при Адрианополе в 378 году — первое, что римляне потерпели от варваров-вестготов, оставив в их руках огромное количество пленных, которых не в состоянии были выкупить.

Амвросий не замедлил сломать священные сосуды своих церквей и этим золотом заплатил выкуп за многих.

Ариане воспользовались этим, чтобы продемонстрировать свое негодование. «Лучше спасти живые тела, чем сосуды из металла!» — отвечал им Амвросий и написал по этому поводу целые страницы потрясающей теологии: разве эти сосуды не содержали в себе кровь Христову? И разве эта кровь не была пролита за многих? В таком случае не может быть ничего прекраснее и целесообразнее, нежели взять чашу и использовать всю ее для выкупа: кровь, которую она содержала, — для выкупа душ, а золото, из которого она сделана — для выкупа тел.

«Как прекрасно, если говорят: когда церковь выкупает толпы пленных — их выкупил Христос!.. Вот золото Христово, что спасает от смерти!» («Обязанности», II).

Но нежность, с которой он смотрел на детей Церкви, распространялась на всех нуждающихся, и всякого человека он считал чудесным творением Небесного Отца.

Амвросий так объяснял своим верующим причину сотворения человека: он говорил, что Бог трудился шесть дней, чтобы создать красоту мира, а затем «почил», сотворив человека, — таким образом, Бог создал разум и сердце человека, дабы у Него было место для отдыха.

Но этого принципа великолепной антропологии ему не было достаточно. Он добавлял также, — со своей головокружительной мыслью, которая изначально стремилась объять весь изумительный замысел Божий, — что «Бог почил оттого, что наконец-то у Него был человек, которому Он мог простить грехи!»

Вот так Амвросий созерцал единым взором и единой любовью как Небесного Отца, который отдыхал в Адаме от своего созидательного труда, так и Христа, который, как он утверждал, почил на кресте, чтобы дать нам свою милость.

То не была законченная теология, но она являла христианам образы, достойные мечты.

И если таков человек, — существо, нуждающееся в милосердии, — то таков и император.

В 388 году вся империя, как на Востоке, так и на Западе была в руках Феодосия Великого, резиденция которого находилась в Милане. Он не только открыто был католиком, но и в 380 году провозгласил католичество официальным вероисповеданием Империи.

Но когда он впервые пришел на Божественную Литургию, которую совершал Амвросий, то его ждал сюрприз: если в Константинополе трон императора находился в пресвитерии, рядом с сослужащими, то в Милане он обнаружил, что его трон, конечно же, был поставлен на почетное место, — но только в той части церкви, что отведена для верующих.

«Наконец-то я нашел настоящего епископа!» — по свидетельству современника, воскликнул Феодосий, хотя он и признавался, что разницу между епископом и императором он «усвоил с некоторым трудом».

Это был знак, но также и подготовка события чрезвычайной важности, которое останется в истории.

Ужасное происшествие случилось в Фессалониках: толпа побила камнями командующего тевтонским гарнизоном и протащила его труп по улицам. Чтобы наказать толпу, охваченный гневом Феодосий позволил солдатам отомстить за своего командира, на два часа предав в их руки народ, присутствовавший на бегах в цирке.

Солдаты устроили резню. Поговаривали о семи тысячах погибших; даже если по всей вероятности их было лишь несколько сот, ужас от этого был не меньше.

Тем временем император возвращался в Милан. Амвросий решил оставить город, дабы не встречаться с ним, а пока велел доставить ему личное послание: «Ты чело-

век, — написал он, — и ты подвергся искушению: победи его. Грех изглаживается не иначе, как слезами и покаянием... Это я советую тебе, этого я прошу у тебя; я увещаю и предостерегаю тебя... я не посмею принести [евхаристическую] жертву, если ты захочешь при этом присутствовать. Я люблю тебя, о, император, я люблю тебя искренне и сопутствую тебе моими молитвами».

В те времена каяться — означало быть отлученным от евхаристии на месяцы и годы, а тем временем присутствовать на богослужениях, стоя в стороне, в месте, отведенном для кающихся, поручать себя молитвам общины, поститься и предаваться другим видам умерщвления плоти; а также являться на людях в покаянной одежде и со смиренным видом.

Всего этого Амвросий посмел требовать от императора в те времена, когда все считали, что тот поставлен выше любого закона. Из уважения к его достоинству он ограничил лишь время покаяния до ближайшего Рождества, то есть примерно на полгода.

Император снял царские одежды, как обычно он поступал лишь в случаях официального траура, и пребывал среди кающихся с истинным и глубоким смирением. Люди плакали от умиления, видя его таким великим и таким смиренным.

Когда Амвросию доведется произносить надгробную речь в честь Феодосия, умершего в 395 году, он не раз повторит: «Я любил этого человека, ибо он предпочитал тех, кто порицал его, тем, кто ему льстил... Я любил этого человека, который публично оплакивал в церкви свой грех... Он, император, не постыдился того, чего стыдятся простые граждане, — публично принести покаяние, а впоследствии и дня не проходило, чтобы он не плакал о своей ошибке».

Биограф говорит: «Впервые в истории монарх публично признавал себя подчиненным некоторым вечным

законам правосудия, а епископ требовал для себя права судить даже императоров и отпускать им грехи».

Одним из последствий этого, имевшим и социальное значение, было провозглашение закона, которого пожелал Феодосий, и согласно которому всякий вынесенный смертный приговор должен был приводиться в исполнение через тридцать дней, «чтобы всегда была возможность для его изменения и для жеста милосердия».

Последние годы своей жизни Амвросий провел, заботясь, как отец, не только о своей епархии, но и о соседних церквях, куда его обычно призывали для восстановления мира. В Верцелли, куда он отправился, когда его уже лихорадило, говорили, что «он, как луч солнца, осветил весь город».

И он начал писать трактат «Благо смерти», в котором увещевал, прежде всего, самого себя: «Поспешим к Жизни, станем искать Того, Кто живет!» (там же, 12,52-57).

Его агония началась в Страстную пятницу 397 года.

Рассказывает его секретарь и биограф Паолин: «[В последние дни] он видел Господа Иисуса, который шел к нему и улыбался... И в то время, как он нас оставил, чтобы отлететь к Господу, с пяти часов вечера до того часа, когда он предал дух, он молился, раскинув руки в форме креста». То были первые часы Великой субботы («Жизнь Амвросия», 47,1,2,).

Некоторые из молодых людей, прощавшихся с мертвым телом Амвросия, утверждали, что на лбу у него сияла звезда.

Возможно, это всего лишь легенда. Но все-таки прекрасно, когда молодежь видит сияющую звезду на лбу своего епископа.

Святой Бенедикт

(около 480-около 547гг.)

В V веке от Рождества Христова Римская Империя распадалась.

Вандалы начали переходить границу на Рейне, и это было настоящее переселение целых племен: с женщинами, детьми, повозками, стадами.

В 410 году на глазах у изумленного мира Рим пал и впервые был разграблен войсками Алариха.

Затем, в первые две трети века завершился его упадок.

В середине века пронеслась ужасная угроза Аттилы и его гуннов, пришедших с севера, и сразу же Рим был вновь разграблен вандалами Гензериха, которые опустошили Италию, провинции Африки и вернулись со стороны моря, покорив Сицилию и Сардинию. Вследствие чего города империи остались без зерна.

В 476 году в Равенне был убит последний император Запада, и варвар Одоакр взял власть; несовершеннолетнего сына убитого пренебрежительно называли «Ромулом-императоришкой» (лат.: *Augustolo*).

В 490 году пришел к власти Теодорих Великий и основал в Равенне королевство Восточных Готов, попытавшись объединить, в том числе и в культурном плане, римский и германский дух. Но эта попытка потерпит провал тридцать лет спустя из-за несовместимости арианской веры готов и католической веры римлян.

Бенедикт родился в окрестностях Нурсии около 480 года; таким образом, он был еще ребенком, когда империя распалась. Рим, куда он отправился подростком, что-

бы начать учебу, преследовали бедствия: неоднократные неурожаи и наводнения при разливах Тибра, эпидемии, междоусобицы, разложение административной и религиозной структур общества.

Казалось, город поистине агонизировал, хотя, как утверждает свидетель-современник, «Рим умирал, смеясь», не желая отказываться от удовольствий и распутства, которые часто сопровождают упадок.

Нелегкая задача — рассказывать о жизни того, кто станет впоследствии Святым Покровителем Запада: история не интересовалась им, и нам неизвестно почти ничего, кроме чудес и Устава, который он написал для своих монахов.

Некоторые авторы говорят, что лицо Бенедикта плохо видно «из-за слишком яркого освещения». Единственный, кто нам рассказал о нем, преисполнил его личность сверхъестественным блеском.

О его жизни поведал Святой Григорий Великий, посвятив ему книгу своих «Диалогов» около пятидесяти лет спустя после смерти святого Патриарха.

«Диалоги» представляют собой произведение, находящееся на полпути между историей и философски-богословским размышлением, но великий Папа уверяет нас, что сведения он получил из первых рук от четырех бенедиктинских аббатов (среди которых был и преемник Бенедикта), которым он дал пристанище в Риме после того, как Монтекассино было разрушено лонгобардами (в 587 году).

Нам, современным людям, жизнь, рассказанная в чудесах, кажется недостаточно документированной и мало интересной с исторической точки зрения, но идея Папы Григория Великого четко определена: история проступает очевидным образом в результатах деятельности Бенедикта, в его монастырях, что распространяются по Европе, в «Уставе», который тщательно описывает ори-

гинальный человеческий образ; но личность Бенедикта — это воплощение благодати Божьей.

Поэтому он пишет: «Бенедикт, человек Господень, имел дух того Единого, кто благодатью искупления, данной нам, исполнил сердца своих избранных; это о Нем говорит Иоанн: "Это был Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир", и еще говорит: "И от полноты Его все мы приняли"» (Д. II, 8).

Собирая свидетельства о чудесах Бенедикта, рассказывая и комментируя их подходящими случая духовными размышлениями, святой Григорий уверен, что он дает нам его точный портрет, соответствующий образу Христа и Его святых пророков и апостолов.

Более того, о чудесах он повествует, желая доказать с как можно большей очевидностью, что в личности Бенедикта жили сила и «стиль» Иисуса, а также и Петра, Моисея, Илии, Елисея, Давида и так далее, — по мере того, как чудеса Бенедикта вновь воплощали в жизнь чудеса библейских персонажей.

«По моему мнению, этого нашего святого исполнил дух всех праведников» (Д. II, 8), — сообщает Григорий, убежденный, что о таком человеке невозможно рассказать в хронике, он может быть только «открыт», и это именно так: чудеса открывают его нам.

Итак, доверимся мудрости этого Папы, который уж точно не грешил спиритуализмом. До того, как его избрали Папой, он занимал должность Римского префекта и был послом в Константинополе, а в качестве Папы должен был заниматься всеобъемлющей деятельностью: общественной, культурной, политической, религиозной. Он представлял собой единственную сохранившуюся власть, шла ли речь о том, чтобы духовно повлиять на весь христианский мир или организовать снабжение и вершить правосудие в Римской области, или унять лонгобардов, или организовать обращение в христианство

варваров вплоть до далекой Англии, или дать толчок к созданию *Schola cantorum* — Школы церковного псалмопения (которое называется именно «григорианским пением»).

Для подобного человека собирать свидетельства о чудесах — означало не отгородиться от действительности, а проникнуть в самое ее сердце.

«Был человек Бенедикт по имени и благодати...» (от лат.: *Benedictus*-Благословенный), — так начинается повествование святого Григория, сразу же представляя нам отрока, который уже обладал, — в соответствии со вкусами того времени, — мудростью зрелого человека.

Бенедикт — мальчик из состоятельной семьи, и он приехал в Рим из области Нурсия, чтобы посвятить себя изучению литературы.

Но «вечный город» выглядит уже скорей как пропасть гибели, где можно легко себя погубить, и он понимает, что прежде всего должен «искать самого себя», реализуя тот идеал «жизни наедине с собой», который является изначальным условием спасения в то время, когда создается впечатление, будто рушится все вокруг.

Так он бежит из Рима: этот опустошенный мир, упивающийся последними наслаждениями, ему кажется пустыней; поэтому он предпочитает настоящую пустыню, в соответствии с самыми древними и чистыми монашескими традициями.

Он бежит, *solī Deo placere desiderans* (лат.: «желая угождать только Богу»), на деле положив начало одному из тех великолепных правил, учителем которых он сделается.

И, размышляя об изучении литературного наследия, оставленного Бенедиктом, святой Папа создает еще одно изречение с чудесным античным колоритом: «Он удался, зная, что ничего не знает, и премудро невежественен» (лат.: *scienter nescius et sapienter indoctus*) (Д. II, пролог).

Три года Бенедикт жил в одном селении в семидесяти километрах от Рима, в обществе ухаживающей за ним няни и поселившись в церкви; уже там он положил начало своей деятельности чудотворца, дабы избавить от некоторых домашних неприятностей ту, что ухаживала за ним с такой любовью.

Но нелегко жить в одиночестве, когда совершаешь чудеса, и Бенедикт опять бежал, — на этот раз совсем один, — укрывшись в недоступной пещере в Субиако.

Там он прожил три года, пользуясь помощью одного местного монаха, который периодически приносил ему хлеб.

Бог распорядился так, что это одиночество должно было прекратиться три года спустя: в день Пасхи Он подсказал одному соседнему священнику, готовившему себе праздничную трапезу, пойти и разделить ее с отшельником, живущим на горе.

Затем пастухи начали обмениваться с ним пищей: они приносили ему от своего стада необходимое из продуктов, а молодой отшельник взамен предлагал им пищу своей проповеди.

Начиналась общественная миссия Бенедикта, но прежде он должен был пройти испытание искушением и окончательно очиститься.

В соответствии с древними канонами «искушений в пустыне», отшельника охватило жгучее воспоминание о прекрасной девушке, которую он видел во время своего недолгого пребывания в Риме, и этого было достаточно, чтобы воспламенить его сердце, разум и плоть.

Бенедикт потушил этот огонь, воспламенив другой, более материальный и мучительный: он бросился нагим в заросли колючего кустарника и крапивы, так что тело и в самом деле загорелось: «Снаружи он горел от боли, но внутри угас огонь греха», — комментирует мудрый Папа.

Много веков спустя, в иные времена Франциск Ассизский по той же самой причине решит погрузиться в холодный снег.

Оба, однако же, проявили немалую мудрость, ибо поняли, что невозможно избавиться от пыла чувственности, полагаясь лишь на духовные устремления.

Как бы там ни было, но победа была окончательной. В повествовании она преследует ясно выраженную цель: убедить нас в том, что Бенедикт не сделался учителем других христиан прежде, чем сам он научился полному самообладанию.

Прошло немного времени, и монахи из Виковаро (что между Субиако и Тиволи) пришли просить его, чтобы он сделался их настоятелем. Бенедикт согласился после долгих возражений, но монахи тотчас же об этом пожалели — как только поняли, что он требовал полного соблюдения устава.

Они стали искать легкого средства, чтобы избавиться от него, и решили отравить за обедом вино в его кубке.

Но они забыли, что правила предписывали благословлять кубок с вином перед тем, как пить его, и таким образом, когда Бенедикт осенил его крестным знамением, кубок, естественно, раскололся, ибо «смертельное питье не выдержало знамения жизни».

Возможно, чудо испугало монахов, но Бенедикт пришел к выводу, что для него лучше было их оставить, так как он не хотел «истощать свои силы» в попытке исправить «тех, кто не хотел исправиться».

С той поры монахи и желавшие ими стать приходили к нему, но приходили лишь те, кто действительно желал духовного наставления.

Одним словом, учеников было так много, что Бенедикт, почти этого не заметив, сделался основателем двенадцати монастырей, рассеявшихся по той области: в каждом жили по двенадцать монахов.

Совершенно и благоразумно это библейское число (двенадцать на двенадцать), забегая вперед, представляет собой «эскиз» гармоничной бенедиктинской архитектуры. Это были монастыри, куда, согласно обычаю, сохранившемуся надолго, принимали и детей — сыновей знати — на воспитание.

Так начинается прекрасная история-легенда (в смысле истории без хроники, но которая все же может послужить примером) отношений между Бенедиктом, «маленьким святым Плацидом» и «юным святым Мавром» — учениками, которых он оберегал, воспитывал, любил и растил как истинных своих сыновей и наследников.

Тот, кто рассказал о его жизни, донес до нас некоторые не только чудесные, но и символические эпизоды этой первой «бенедиктинской истории» (еще не было основано Кассино, и настоящая история Бенедикта-основателя еще не определилась).

Прежде всего, это рассказ о монахе, которому не удается быть монахом, то есть ему не удается «жить наедине с самим собой»: в момент молитвы и безмолвия он впадает в искушение и праздно слоняется.

За будничностью эпизода скрывается и заявляет о себе крупный спор, который вот-вот должен был возникнуть между бенедиктинским монашеством, полностью основанным на постоянстве места жительства (стабильности) его членов, и монашеством, существовавшим прежде и отягощенным весьма распространенным недостатком: нестабильностью и материальным и духовным *vagatio* (лат.: блужданием) монахов.

Только Бенедикт смог увидеть, что рассеянного и праздношатающегося монаха в действительности увлекал прочь «маленький черный демоненок», и аббат исцелил его «хорошим ударом палкой», коль скоро не было другого способа победить «сердечную слепоту». Удар по-

лучил монах, но ощутил его «демоненок»-искуситель, который после этого навсегда бежал вон.

Затем следует история о трех монастырях, построенных среди слишком отвесных скал, где поблизости не было воды, что вызывало жалобы монахов. Эти библейские жалобы подобны жалобам избранного народа в пустыне, и Бенедикт, как новый Моисей, дал им воду, пробившуюся ключом из скалы. Однако прежде чем совершить чудо, он отослал монахов «с ласковыми словами утешения», а затем провел ночь в молитве среди тех засушливых скал, а помогал ему в молитве маленький Плацид, который был очень послушным монахом.

Еще один эпизод рассказывает о «простоватом готе», попросившем, чтобы его приняли в монастырь. Бенедикт послал его рубить кусты ежевики на берегу озера, и варвар размахивал серпом до тех пор, пока лезвие не соскочило с деревянной ручки и не утонуло в воде. За карикатурным эпизодом скрывается проблема сосуществования в монастырях между цивилизованными, умелыми латинянами и грубыми, неловкими варварами. «Простоватый гот» сознался перед Мавром в своей вине и во вреде, причиненном общине, и стоял перед ним *tremebundus* (лат.: трепеща). Но тут вмешался Бенедикт: он погрузил в воду деревянную ручку, железное лезвие всплыло и наделось на нее.

Этот эпизод, полный наивной поэзии, не только открывает нам, что Бенедикт, это — новый пророк Елисей, ибо последний совершил такое же чудо тринадцатью веками раньше (сравн. 4 Цар. 6,1-7), но позволяет биографу вложить в уста святого Патриарха слова, которые похожи на приглашение в гостеприимное объятие для всех варваров, приходивших в монастырь: *Ecce labora, et noli contristari* — (лат.) «Вот, работай и не огорчайся».

Еще одно происшествие случилось с маленьким Плацидом: будучи немного легкомыслен, он пошел на озеро

за водой, погрузил ведро слишком резко и упал в воду, которая понесла его прочь.

Бенедикт увидел это в духе из своей кельи и поспешил послать Мавра: тот побежал на помощь. Только когда он уже вытащил на берег маленького собрата, Мавр осознал то, что шел по воде. Охваченный священным ужасом, он рассказал о случившемся святому аббату, и Бенедикт объяснил, что все это — заслуга безусловного послушания со стороны Мавра. Тот, однако, возражал, что вся заслуга была в приказе Бенедикта. Плацид решил сей добродетельный спор: он сказал, что увидел у себя на голове накидку аббата и тотчас подумал, что это Бенедикт вытащил его из воды.

Так послушание и власть гармонично переплетались между собой, и ученики поняли, что Бенедикт был подобен новому Иисусу, который повелел Петру идти по воде.

Естественно, Григорий завершает эту первую часть своего повествования, говоря, что «те места вдоль и поперек воспламенялись любовью к нашему Господу Иисусу Христу» (Д. II, 8).

История Монтекассино начинается вследствие угодного Богу необходимого разделения, хотя поначалу и казалось, будто демон взял верх.

Короче говоря, был один священник, «злобный в своей зависти», который делал все, чтобы повредить делу святого: сначала послал ему «отравленный хлеб», но Бенедикт разоблачил угрозу; затем устроил в саду монастыря непристойное представление с участием нескольких девушек, — с тем, чтобы «отравить» его монахов.

Наконец Бенедикт, понимая, что эта злоба направлена против него, окончательно обустроил эти монастыри, назначил им добрых настоятелей, а затем оставил их на произвол судьбы, взяв с собой лишь нескольких братьев.

Стоит ли говорить, что едва Бенедикт отправился в путь, как тот злобный и коварный священник стал жерт-

вой несчастного случая и умер, но святой Патриарх упрекнул Мара за то, что тот принес ему известие с некоторым чувством удовлетворения, и назначил ему епитимию. Сам же он испытывал великую скорбь.

И все же он не вернулся назад, а направился в сторону Кассино — это была скала, расположенная на склоне высокой горы, на вершине которой в то время еще находился храм, посвященный Аполлону.

Когда Бенедикт приступил к разрушению языческого храма и алтаря и стал проповедовать местным жителям Благоую Весть, разразилась неистовая борьба с Сатаной. Монахи утверждали, что они слышали горестный крик: «Проклятый, а не Благословенный, что тебе до меня? Зачем ты меня преследуешь?». Это было предсказание, что вновь заложенный монастырь должен будет способствовать разрушению царства Сатаны, а пока следовало ожидать одного испытания за другим.

Во всякой помощи, что им приходила при постройке аббатства, монахи видели заботливую руку Бога, и точно так же в самых непреодолимых трудностях они видели гнетущую руку Сатаны.

И действительно, то была земля, усеянная идолами.

В таких случаях Бенедикт приходил на помощь своей молитвой: нужно ли было сдвинуть обломок скалы, как будто бы вросший в землю, или усмирить какое-нибудь помрачение, нашедшее на монахов; или же когда построенная стена вдруг обрушивалась на одного из мальчиков, что воспитывались в общине.

Тогда могущество святого являло себя в таком величии, что способно было даже возвратить к жизни отрока, умершего от дьявольской злобы.

Другие чудеса ему нужны были для того, чтобы помочь монахам соблюдать устав. Так, по божественному внушению Бенедикт знал, когда монахи, находившиеся

в пути, нарушали его: например, если они ели за пределами монастыря или принимали подарки.

Таким же образом он разоблачал намерения и козни тех, кто пытался обмануть его, или же внутренний ропот тех, кто в своем сердце не желал ему подчиниться.

Эпизод, оставшийся памятным в истории, касается Тотилы, короля готов, который безнаказанно разгуливал по Италии и приблизился к Горе Кассино (Монте-кассино) из любопытства к славе Бенедикта.

Чтобы испытать святого, король послал к нему своего оруженосца, одетого в королевскую одежду, со всеми регалиями и со свитой знати. Бенедикт не дал ему даже подойти. Он крикнул издалека: «Сын мой, сними эти одежды, они не твои!». Все попадали на землю, пораженные даже не тем, что обман был раскрыт, а «быстротой», с которой их разоблачили.

Когда Тотила прибыл собственной персоной, но не смел приблизиться и стоял на коленях вдалеке. Бенедикт поднял его и сказал ему без обиняков: «Ты делаешь много зла, и много зла ты уже сделал. Раз и навсегда положи конец твоей злобе. Ты войдешь в Рим, пересечешь море, будешь царствовать девять лет, а на десятый умрешь».

Говорят, что после этого Тотила был уже не таким жестоким, как прежде.

В ушах Бенедикта звучали даже слова, произнесенные мысленно другими людьми, — поясняет его биограф, повествуя даже о самых «духовных» чудесах: это прозорливость в отношении души и слабостей ближнего, способность предвидеть события, вещие сны; власть над душами, простиравшаяся чуть ли не до потустороннего мира; сила его заступничества на земле и на небе.

Все это объясняет следующая формулировка: то действует «благодать Бенедикта». Святой настолько пере-

полнен духовными дарами, что может щедро раздавать их повсеместно.

Затем следуют чудеса исцелений и «изобилия», характерные для всякой «мессианской эпохи»: избавление одержимых от нечистой силы; исцеление прокаженных; облегчение, принесенное заключенным и страждущим; снятие долгов и чудесное приумножение запасов (хлеба, масла) в голодное время.

Подчеркивается и милосердная помощь самым обездоленным, которым Бенедикт повелевал «отдавать все на земле, чтобы ничего не потерять на небе», так что однажды он разгневался, когда монах-ключник попытался ревниво сохранить последний сосуд с маслом.

Только раз Григорий описывает Бенедикта в его страдающей человечности: не в тот момент, когда он совершает чудеса, а когда он предается рыданиям, — таким увидел его знатный гость монастыря, внезапно вошедший в комнату аббата.

Ему Бенедикт признался: «Весь этот монастырь, что я построил, и все то, что я приготовил для братии, по воле Всемогущего Бога должно достаться в добычу варварам. С большим трудом я вымолил, чтобы из всего, что здесь есть, пощадили хотя бы людей».

Так и случится несколько десятилетий спустя, уже после смерти Бенедикта, во время нашествия лонгобардов.

В самом деле, никто из друзей Божьих не может быть избавлен от страданий и от своей темной ночи.

Последнее рассказанное чудо являет нам Бенедикта почти дрожащим от беспомощности. Перед ним предстал отчаявшийся отец, несущий на руках тельце мертвого сына: «Верни мне сына, верни мне сына!» — бессмысленно кричал этот человек, убежденный, что его крик, обращенный к Бенедикту, достигнет Бога.

«Разве я взял у тебя сына?» — спросил у него сконфуженный Бенедикт, но когда он понял, что от него тре-

бовали чуда воскрешения умершего, он тут же отослал вон других монахов: «Удадитесь, братья, удалитесь! Не для меня эти чудеса! Только Святые Апостолы могут их совершать! Зачем вы хотите взвалить на меня груз, который я не могу нести?». Затем чудо все-таки свершилось — Бенедикт вымолил его у Бога «ради веры этого человека, что просит воскресить ему сына».

Теперь, когда рассказчик дошел до апогея своего повествования, он поведал также, в первый и единственный раз, о поражении Бенедикта. «Было нечто такое, чего он не смог получить, хотя он этого и желал».

Внезапно Бенедикт выходит из своего таинственного и возвышенного ореола, и мы узнаем кое-что о его привязанностях.

Так мы открываем для себя, что у него есть сестра-близнец, которую он очень любит и которая, как и он, с детства посвятила себя Богу.

Мы узнаем, что почтенный Патриарх уделяет ей один день в году: целый день он проводит в гостях в ее монастыре «беседуя с ней на священные темы», включая и время ужина.

И вот что рассказывается о его последнем визите. Едва вечером наступил час, когда Бенедикт должен был возвратиться в монастырь (устав строго запрещает ночевать за его пределами), Схоластика попросила брата на этот раз сделать исключение из правил: «Не оставляй меня в эту ночь, прошу тебя: так мы сможем до утра говорить о радостях небесной жизни». Но она получила почти возмущенный ответ: «Что это такое ты говоришь, сестра!»

На небе не было ни облачка. Схоластика скрестила руки на столе и опустила на них голову. В короткое время небо покрылось тучами, и разразилась такая буря с молниями, с громом и с потоками дождя, что Бенедикт всю ночь не мог ступить за порог.

«Да простит тебя Всемогущий Бог, сестра моя, — сказал Бенедикт, — что ты сделала?» И Схоластика с чисто женской логикой отвечала: «Видишь, я просила тебя, и ты не захотел меня послушать. Тогда я попросила моего Господа, и Он меня услышал. Теперь иди же, если сможешь, возвращайся в свой монастырь!»

Так Бенедикт вынужден был подвергнуться чуду.

Причины было две, как объясняет святой Папа Григорий.

Первая: в христианстве все является вопросом любви. Сам Бог — это Любовь, а потому логично, что «больше смогла сделать та, что больше возлюбила». И вот в этом заключительном суждении Григорий в один миг делает относительными все чудеса, о которых он рассказал, и превращает их — в том числе и в пользу Бенедикта, — что, само собой, разумеется, — в вопрос любви.

Вторая: Бог знал, что эта встреча брата и сестры была последней. Схоластика умерла три дня спустя. Бенедикт послал своих монахов за ее телом, чтобы похоронить его в могиле, которую он приготовил для себя. «Потому и случилось, что как при жизни их души всегда были едины в Боге, так и после смерти их тела не были разлучены даже могилой» (Д, II, 34).

Так мы достигли кульминационного момента повествования, и оттого чувствуем необходимость почерпнуть из другого источника биографии Бенедикта, к которому святой Григорий отсылает читателя, когда пишет:

«Среди стольких чудес, которые сделали знаменитым по всему миру этого Божьего человека, мы должны поместить сияющее великолепие его учения. В самом деле, он написал для монахов «Устав», поистине замечательный своей умеренностью, и ясный и блистательный (лат.: *luculenta*) в выражении. И если кто хочет лучше узнать его обыкновения и жизнь, то в наставлениях «Устава» сможет найти поступки, в которых он сам выражал соб-

ственное учение, ибо он не мог учить иначе, нежели сам жил» (Д, II, 36).

То, что «Устав» должен некоторым образом отражать жизнь нашего святого, — это совершенно очевидно в особенности там, где он описывает качества и обязанности аббата, а они, — говорит Бенедикт, — «все уже указаны в том имени, которым его называют: "Отец!"».

Главное событие евангельской истории — приход на землю Сына Божьего и дар Его Духа, который делает нас способными призывать Бога именем Абба («Отец!») становится, таким образом, самым сердцем монастыря, где живут дети, что обращаются этим именем к своему Настоятелю.

А тот знает, что его долг — являть волю Божию словами и жизнью, всегда помня «об имени, которое он носит»: он знает, что должен быть отцом, «чистым, воздержанным, милосердным», который всегда позволяет «милосердию взять верх над правосудием».

От него Бенедикт требует нелегкого равновесия любви, способной одновременно распространяться на всех и оказывать предпочтение всякому в соответствии с его потребностями.

Отец сдержанный и снисходительный, сильный и мудрый; не беспокойный и не тревожный, не угнетающий, не ревнивый, способный на нежность и на бесконечное терпение, но также и на строгость и решительность.

Отец, который всегда «предпочитает милосердие правосудию», но никогда не пренебрегает исправлением недостатков.

Отец, внимательно наблюдающий за своими детьми и за их различными характерами, — так, чтобы «у сильных всегда был идеал, к которому они могли бы стремиться, а у слабых — возможность не падать духом».

Прилагательные, образы, пословицы следуют одни за другими под пером Бенедикта, порой — с некоторым

юмором, как, например, когда он увещевает аббата не быть как тот пастух, что, «гоняя стадо, в один день доводит до смерти всех овец», или когда он советует «быть осторожным и не сломать сосуд, соскабливая с него ржавчину».

Другие советы по красоте подобны программным девизам: «Аббат да заботится о том, чтобы его больше любили, чем боялись» (лат.: *studeat plus amari quam timeri*); «Да будет ему известно, что он должен более приносить пользу, нежели командовать» (лат.: *magis prodesse quam praesse*); «Пусть он будет умерен, ибо умеренность — мать всех добродетелей».

За многими выражениями просматривается личный опыт Бенедикта: его педагогические открытия; планы хорошего руководства, которые он, должно быть, разработал в течение многих лет; разочарования, которые он, вероятно, пережил, и успехи, которых он с Божьей помощью добился.

Но, прежде всего, «Устав» — это описание здания, которое Бенедикт постепенно возводил. Можно сказать, что он спроектировал грандиозную, но, по своему обыкновению, невероятно простую постройку.

То была эпоха, когда казалось, будто все расслаивается — как церковное, так и гражданское общество, как монашеская, так и мирская жизнь, — и Бенедикт мыслил «семейными» терминами: монастырь — это целое «общество», управляемое как семья.

В своем завершенном состоянии монастырь должен заключать в себе все то, что нужно для жизни: «воду, мельницу, огород и помещения, где бы заниматься различными ремеслами...»

С одной стороны, сам монах не нуждается больше в том, чтобы бродить по миру и искать себе необходимого для существования, а с другой — в темные века, что наступают, скорее мир придет жить в сени и под покровом

вительством монастыря в поисках того порядка, той запланированности, которые невозможно будет отыскать в ином месте.

В бенедиктинский монастырь приходят жить, как братья, под руководством единого Отца все те, кто этого желает, лишь бы они со своей стороны обещали послушание и постоянство пребывания. Не делаются различия между свободными и рабами, ни между воинами и крестьянами, ни между невежественными и учеными.

Не делаются различия в возрасте, принимают и отроков: в аббатстве всегда есть школа, где дети, которых любят как сыновей, уже готовятся к монашеской жизни; «Устав» действителен и для них, хотя аббат должен приспособливать и смягчать его в соответствии с их возрастом.

Не делается даже и то различие, которого больше всего можно было бы ожидать: предварительная оценка духовных склонностей и анализ призвания.

Почти на каждой странице «Устава» выглядит само собой разумеющимся то, что в монастыре живут на равных правах послушные, способные, терпеливые, покорные, добродетельные, умные монахи, и другие — строптивые, злые, гордые, непокорные, беспокойные, нахальные, недисциплинированные, бесполезные...

Все вместе они составляют «стадо аббата», и он должен пасти их, давая каждому нужную пищу и подходящее лекарство. В конце пути (... в конце «Устава») Христос возьмет их всех вместе и «всех вместе (лат.: *pariter*) поведет к вечной жизни».

Во вступлении Бенедикт называет свой монастырь «школой, где учатся служить Господу»; вскоре после этого он скажет, что это «мастерская», где все работают, имея в своем распоряжении «инструменты добрых дел».

Читая длинный список «рекомендуемых инструментов» (около 74), не стоит удивляться, если мы найдем перечисленными вместе: основные заповеди (включая

«не убий» и «не прелюбодействуй»), дела милосердия (в том числе и «погребение усопших»), искушения, которым следует противостоять (среди которых «не давать выхода гневу», «не таить обиду», «не плести обман»), пороки, которые необходимо искоренять (например, рекомендации не быть «лентяями», «пьяницами», «обжорами», «сонями», «ворчунами») и добродетели, которые должно культивировать (среди которых «почитать старших» и «любить младших»).

Тот факт, что Бенедикт задерживается на ряде скорей тяжеловесных рекомендаций, свидетельствует о том, что считается нормальным также и призывание многих непоколебимых и закоренелых грешников: времена таковы, что монастырь невозможно себе представить убежищем избранных и рафинированных душ, это скорей переделка и спасение всего мира, который, будучи христианским лишь отчасти, как будто бы проваливается в бездну.

Но среди всех этих неудобоваримых призывов сияют руководства к высочайшей мистической жизни, предложенные как проблески идеала тому, кто «может понять»: от великолепного «Доверить Богу свои надежды» до впечатляющего «Желать вечной жизни со всяким духовным вожделением», и до заключительного и умиротворяющего «Никогда не терять надежду на милосердие Божие» (лат.: *Et de Dei misericordia numquam desperare*).

И конечно же невозможно забыть изумительный афоризм: «Ничто не ставить превыше любви Христовой», который Бенедикт помещает в начале «Устава» (лат.: *Nihil amori Christi praeponere*) и к которому он возвращается в конце с еще большей требовательностью (*Cristo omnino nihil praeponant* (лат.) — «Ничто не должно быть превыше Христа»).

Над всем этим должно стоять послушание аббату, прежде всего послушание «без промедления», свойствен-

ное тем, кто «считает, что не имеет ничего дороже Христа», и которое приводит братьев к смиренному желанию «повиноваться друг другу».

Существование, предписанное «Уставом», полностью организовано вокруг двух видов «труда» (лат.: *opus*): труд для Бога и ручной труд. Действительно, монахи — это «работники Господни».

Opus Dei (лат.: труд Божий) — общая молитва всех монахов — это труд, который должен совершаться «перед лицом всех ангелов»; он отмеряет часы дня и ночи. Он дает возвышенную и очищающую ориентацию всем тяготам земного существования.

Также и в этом случае первостепенную важность имеет радикальное расположение сердца: *Nihil operi Dei praeponatur* (лат.: «ничто не следует предпочитать труду Господню»), точно так же, как и не должно ничего предпочитать любви Христовой.

Opus manuum (лат.: ручной труд) — это работа, которой все должны заниматься в оставшиеся часы дня. В эпоху, когда работа — занятие рабов, Бенедикт делает ее критерием человеческого достоинства, братской солидарности и духовной жертвы.

Даже с инструментами, необходимыми для работы, необходимо обращаться как со «священными алтарными сосудами». Даже эконо монастыря должен заниматься управлением и следить за всем на основании критерия глубокой человечности, которой движет вера: он также должен вести себя «как отец общины», и его задача должна состоять в том, чтобы «никто не тревожился и не огорчался в доме Божьем».

Ora et Labora (лат.: «Молись и работай»): этот краткий девиз, что сделается впоследствии традиционным, описывает монаха, который должен трудиться с Богом и для Бога, но который также знает, что Бог трудится с ним и в нем.

Вот так монахи — под руководством этого «Устава» (который Бенедикт в конце называет «небольшим Уставом для новичков») — научились делать «героической повседневную жизнь и повседневной — героическую» с тем же ритмом, с которым они учились «осваивать земли и давать их цивилизациям», прежде освоив и отдав Богу свое сердце.

С течением веков «Европа будет покрыта сетью образцовых ферм, центров животноводства, очагов высокой культуры, духовного усердия, искусства жить, воли к действию, — одним словом, цивилизации высокого уровня, возникшей из беспорядочных волн варварства. Вне всякого сомнения, святой Бенедикт является Отцом Европы. Бенедиктинцы, его дети, — отцы европейской цивилизации», — так писал Лео Мулен. Он любил напоминать, что даже хорошие манеры за столом, которые мы сегодня соблюдаем (скатерти, салфетки, цветы, молчание, чистота, последовательность блюд, взаимная вежливость, правила поведения), были изобретены монахами, сделавшими из еды — «кушание» (итал.: *pietanza*), то есть нечто, связанное с благочестием (лат.: *pietas*): это пища, полученная и потребленная с благодарностью и уважением.

Во времена первого аббатства (Монтекассино) работа имела отношение чисто к обустройству монастыря и прилегавших к нему владений.

Постепенно монахи научатся осваивать земли, удобрять, орошать их, и, наконец, управлять самыми настоящими фермами, в том числе и животноводческими. А также питомниками и опытными теплицами.

Они обучатся сами и будут обучать других виноградарству, эксплуатации лесов, использованию лекарственных трав.

Они позаботятся о том, чтобы скопировать в их холодных канцеляриях-скрипториях (лат.: *scriptoria*) все

произведения классической античности, которые ныне нам известны лишь благодаря их заслугам.

Монастыри сделаются также финансовыми центрами и веками будут выполнять функции депозитных и ссудных банков.

Говорят, что в Европе нет мест, где бы не осталось следов от деятельности монахов, и многие города взяли свое начало от какого-нибудь аббатства.

«Устав» лежал в основе всего этого: он спас и построил Европу не оттого, что предлагал подробный и надежный план восстановления, а оттого, что подавал пример жизни, в которой «человеческое достоинство получало повседневное признание» (Бернар де Жувенель) и, — добавим, — это достоинство признавалось во всякой деятельности в течение дня, от самой священной до самой смиренной.

Целью Бенедикта, а затем и его монахов было не возмещение дефектов разлагавшегося общества, а всего лишь возможность осуществить призвание, которое Бог дает человеку.

В общем, Бенедикт верил, что даже в пустыне (географической и нравственной) можно открыть «школу, где обучают служить Господу» (лат.: *schola dominici servitii*); но он понял, что в те годы и в те века подобная «школа» должна была просто-напросто взять на себя преподавание всего «человеческого»: от вежливости до чувства меры, от нежности до серьезности, от почитания Бога до почитания собственных братьев и уважения к собственным обязанностям.

Ему было чуть более шестидесяти лет, когда Бог сделал ему последний подарок. Однажды ночью, когда Бенедикт безмолвно молился, стоя перед окном, некий свет медленно распространился вокруг, так что казалось, все засияло, как среди бела дня. И вот, «во время этого видения произошло, как сам он впоследствии скажет, не-

что необычайное, : перед его глазами предстал весь мир, как бы сосредоточенный под одним-единственным лучом солнца».

Даже святой Григорий Великий, рассказывая этот заключительный эпизод, затрудняется объяснить значение, да и саму возможность подобного видения. Тем не менее, он объяснял его так: «то не уменьшились земля и небо, а душа провидца расширилась».

Вот та подробность, что часто повторяется в опыте многих святых и которую стоит подчеркнуть: последняя молитва, последнее видение, касающееся Бога Творца и красоты всех Его созданий.

Первый пункт Символа веры является также и последней истиной, в которую они полностью верят и которую они ощущают во всей ее полноте.

Теперь святой Патриарх знал, что приблизился к концу своего пути. Он велел отвести себя в часовню монастыря, причастился, а потом «с помощью учеников, поддерживавших его слабые члены, остался стоять, подняв руки к небу, до тех пор, пока не скончался, шепча свою последнюю молитву».

Он умер так, как жил, в позе Молящегося, тогда как некоторые монахи из дальних монастырей имели видение дороги, покрытой коврами и поднимавшейся прямо к небу, к Востоку, а некий голос пояснял им: «Это путь, по которому Бенедикт, что дорог Богу, взшел не небо».

Так заканчивается повествование о жизни того, кто был «Благословенным по имени и благодати».

Далее, в другой книге своих «Диалогов» святой Григорий добавит еще один эпизод, касающийся святого Патриарха, который может послужить в качестве заключения к нашему рассказу и в качестве предупреждения.

Папа рассказывает историю отшельника с горы Марсикано, который в те же самые годы жил, закрывшись в

пещере, и для того, чтобы остаться верным своему намерению, даже привязал свою ногу к скале толстой цепью.

Когда Бенедикт узнал об этом, он послал сказать ему: «Если ты раб Божий, то держать тебя привязанным должна не железная цепь, а цепь Христа».

Он хотел сказать ему и нам, что единственная неразрывная связь — это любовь Иисуса.

Святая Бригитта Шведская
[Сопокровительница Европы]
(1303-1373)

Когда Бригитта родилась в 1303 году «в самой северной стране мира», Европа еще была духовно объединена одной и той же культурой, одной и той же цивилизацией (искусство, обычаи, язык) и общей верой.

Образованные люди того времени являлись и считали себя гражданами мира и смотрели на Рим как на свой идейный и духовный центр.

В том «средневековье», которое многие совсем не умно презирают, какой-нибудь мальчик мог родиться в деревне в Южной Италии, учиться в университете в Неаполе, специализироваться в Германии в школе немецкого профессора и стать доцентом Парижского Университета, чтобы затем быть затребованным в Неаполитанский Университет (так, например, случилось со святым Фомой Аквинским).

И в трех самых больших университетах того времени (Парижском, Болонском и Оксфордском) учились студенты со всего европейского континента.

Епископы и аббаты европейских городов занимали свои кафедры независимо от того, кто они были по происхождению: итальянцы, французы, англичане или принадлежали к какой-нибудь другой национальности: на архиепископской кафедре Кентербери находился итальянец (святой Ансельм), в аббатстве Сито — англичанин (Стефан Хардинг), в Дании занимался реформированием монашеской жизни французский каноник, во

Фландрии посредником между французами и бургундцами выступал шведский епископ...

В общем, то, что сегодня мы робко пытаемся планировать, — то есть Европу, объединенную без границ между религиями, государствами и расами — Римской Церкви удалось реализовать в Средние века, обратив в христианство варваров и сопротивляясь исламу.

Ко времени рождения Бригитты это единство, достигшее своего апогея в первый крупный Юбилей 1300 года, находилось под угрозой: 1303 год — это год серьезного оскорбления в Ананьи, когда гонец Филиппа Красивого дал пощечину Папе Бонифацию VIII, а затем задержал его в качестве пленника. Папа умер от горя. Вскоре после этого (в 1305 году) папская курия переехала в Авиньон, где и пребывала семьдесят лет (как раз столько, сколько продлится жизнь Бригитты), под влиянием короля Франции.

Тем временем назревали самые серьезные трагедии: сначала кровавый конфликт между Францией и Англией, такой бесконечный, что он войдет в историю под названием «Столетней войны» (1337-1435 гг.), а в середине века — ужасная «черная чума» (1348-1350 гг.), которая уничтожила почти треть всего европейского населения.

Вот на этом фоне и вырисовывается сильная личность и деятельность Бригитты Шведской.

Она родилась в Упландии (около пятидесяти километров от Стокгольма). Ее отец, Биргер Перссон, губернатор и судья области, являлся одним из самых заметных и уважаемых лиц Королевства: в самом деле, он — автор первого христианского законодательства Швеции, которое с 1295 года пришло на смену языческому. Мать, Ингеборг Бенгтсдоттер была особой королевской крови, поскольку принадлежала к царствовавшей тогда династии Фолкунгов.

Даже находясь в ожидании ребенка, мать отправилась в паломничество в храм святой Бригитты в Чел-Дара, что в Ирландии, и едва не погибла в кораблекрушении. Спасшись, она услышала внутренний голос, возвестивший ей: «Ты спасена ради плода, что носишь во чреве».

Замок-поместье Финстад, где девочка появилась на свет, являлся также центром духовной жизни и религиозного обучения, и там Бригитта росла в близких отношениях с раем: в семь лет, когда все девочки хотят стать королевами и мечтают, чтобы кто-нибудь возложил им на голову корону, она видит Богоматерь, которая с улыбкой дарит ее ей. А в десять лет, после одного из праздников, как только пиршественный зал опустел, она видит в его глубине израненного человека, влачащего тяжелый крест. «Кто причинил тебе эти страдания?» — спрашивает девочка, и ответ неизлечимо ранит ее: «Мне сделали это те, кто забывает меня и кто презирает мою любовь».

Бригитта этого не забудет. Ей нет еще и двенадцати лет, когда умирает ее мать: она была столь благочестивой, что на смертном одре сказала плачущим близким: «Порадуйтесь со мной, ибо Господь призывает меня».

Девочку берет в свой дом тетка, жена Великого Канцлера Шведского королевства, который на семейном гербе пожелал иметь не меч Фолкунгов, а изображение Девы с Младенцем.

Хотя Бригитта и мечтает посвятить себя своему Иисусу, в четырнадцать лет ее выдают замуж за восемнадцатилетнего Ульфа Гудмарссона, и она вынуждена подчиниться.

Супруги поселяются в Улвазе (что означает «страна волков»), на берегу озера Борен, и Бригитта получает титул «принцессы Нерисской», под которым впоследствии станет известна и в Италии.

Они живут счастливо: один за другим восемь детей — четыре мальчика и четыре девочки — рождаются на

радость всему дому, и все они, когда придет время, будут обучаться в монастырских школах, согласно обычаям той эпохи.

Бригитта глубоко любит мужа, и помогает ему: именно она учит его читать и писать (что было редкостью в то время), осваивать законы и право. В общем, она готовит его к тому, чтобы он в свою очередь стал губернатором области. Но она учит его так же молиться, ибо она совсем не отказалась от своих прежних идеалов.

В замке-поместье она учится всему тому, что должна уметь «волевая женщина» (такая, какой ее описывает Библия): смотреть за домом и за детьми и заниматься их обучением; руководить приготовлением теста, хлеба, пива, водки и сыра; знать толк в возделывании огорода и в хранении продуктов, в стирке и в уходе за скотом; знать, как должны идти работы на мельнице и в кузнице, в мастерских стеклодува и гончара...

Впоследствии, когда она станет записывать мистические откровения, которыми Бог преисполнит ее, Бригитта охотно будет использовать живые и реалистические сравнения и символы, взятые из ее опыта хозяйки дома.

Но она находит время и на то, чтобы руководить переводом на шведский язык Библии, которая становится ее «самым драгоценным сокровищем».

Она полна жажды Бога: она читает Писание и все духовные тексты, которые ей только удастся найти; воспитывает детей с волей и нежностью; втайне изнуряет себя постами и покаянием, но так, чтобы это не наносило ущерба внешнему достоинству ее ранга.

Каждый день, прежде чем приступить к трапезе, она приглашает к себе двенадцать бедняков и служит им за столом, а по четвергам моет им ноги, чтобы почтить пример Иисуса.

Она открывает небольшую больницу и лично ухаживает за больными. С особенным вниманием она принимает падших девушек и помогает им изменить свою жизнь, снабжая их приданым.

Что касается воспитания детей, которым она занимается первые двадцать лет брака, то достаточно вспомнить прекрасный педагогический принцип, которого придерживается Бригитта. Ей открыла его Пресвятая Дева в тот день, когда просто сказала: «Трудись над тем, чтобы твои дети были также и Моими детьми».

Впоследствии хроники будут вскользь упоминать, будто бы речь идет о чем-то само собой разумеющемся: «У Бригитты Шведской было восемь детей, — все они святые», но это не означает, что их воспитание не стоило ей тяжкого труда, разочарований, слез и молитв.

Среди всех детей ее вторая дочь Карин (Екатерина) — та, что будет ей ближе всех, и что будет помогать матери в ее деятельности, — ныне столь же известна, и ее почитают под именем святой Екатерины Шведской.

И как святой теперь почитается даже Нильс Хермансон — молодой педагог, которого Бригитта выбрала для своих детей. Именно слушая уроки, которые он давал ее детям, Бригитта немного обучится и латыни.

В тридцать три года Бригитта призвана ко двору в качестве первой Дамы молодой королевы Бланки Намурской, которая стала женой короля Магнуса.

В качестве свадебного подарка она преподносит королеве Библию на шведском языке. Она становится крестной королевского первенца и использует свое влияние, чтобы смягчить придворные нравы, которые тогда еще были скорее варварскими, добиваясь, прежде всего, более благоприятного для неимущих финансового законодательства.

За те пять лет, что она живет в королевском дворце, она осознает политические проблемы, терзающие Евро-

пу. Затем, как по политическим мотивам, так и оттого, что она отвергает ту, все более вопиющую, безнравственность, что распространяется при дворе, она просит позволения вернуться в Улвазу.

Между тем приближается дата серебряной свадьбы, и супруги принимают решение совершить паломничество в Сантьяго де Компостэла.

Для семьи Бригитты паломничества стали глубоко укоренившейся традицией уже по крайней мере в четырех поколениях: родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки и так далее, — все совершили хотя бы паломничества в Компостэла и в Иерусалим.

Так пара пускается в это путешествие, для совершения которого нужно было, по меньшей мере, два года пути пешком или в повозках, от одного храма к другому.

На обратном пути Ульф тяжело заболел, и супруги надолго остановились в аббатстве Алвастры — первом цистерцианском аббатстве Швеции. Он выздоровел, но оба супруга уже вынашивали идею посвятить себя Богу.

Ульф был принят в аббатство в качестве послушника и с помощью Бригитты свято подготовился к скорому концу, который он предчувствовал.

После смерти мужа, Бригитта, уладив все семейные вопросы, поселилась в домике поблизости от монастыря и провела там более двух лет, погрузившись в новый радостный брак с тем Иисусом, которого она любила с детства.

Монахи, позволившие ей в качестве исключения жить вблизи монастыря, где покоились бранные останки Ульфа и куда уже был принят ее сын Бенедикт, порой беспокоились, видя, как эта благородная дама проводит долгие часы в холодной церкви аббатства.

Но Бригитта отвечала с улыбкой: «Мое сердце горячо, а в моих мыслях будто пылает огонь».

Там она получила свою миссию: «Женщина, послушай меня, — сказал ей однажды ее небесный Господь. —

Я твой Бог и хочу говорить к тебе. Я говорю с тобой не только ради тебя, но и ради спасения других людей... Я избрал тебя и принял тебя как мою Невесту, чтобы открыть тебе Мои тайны, ибо так Мне угодно».

И следует череда видений и откровений, которая уже не прекратится.

Кажется, что Бригитта стала близка с Небом, но это произошло очень простым и основательным образом: идет речь о призыве к труду.

Однажды Пресвятая Дева является ей и говорит: «Мой Сын зовет тебя своей невестой, поэтому я называю тебя снохой. Бог и я сама постарели в человеческих сердцах, так что никто больше не обращает на нас внимания. Точно так же, как престарелые супруги ставят сноху работать в доме и по хозяйству, мы теперь прибегнем к тебе, чтобы сообщать свою волю нашим друзьям и всему миру».

Мир теперь становится ее новым замком-поместьем, и она должна управлять им с той же энергией и с тем же благоразумием, с которыми когда-то управляла своим домом.

Этот «семейный реализм» является постоянной характеристикой мистического опыта Бригитты. В аббатстве она подружилась с одним старым монахом, который тогда уже ожидал смерти. И лучше того: он ожидал прихода Пресвятой Девы и рассказывал Бригитте о том, как его когда-то поставили работать в монастырскую пекарню, но ему эта работа никак не давалась. Тогда он стал молиться перед изображением Богоматери, висевшем на стене пекрани, и Мария ему сказала: «Ты иди в церковь молиться, а я хлеб испеку сама. Я умею его печь с тех пор, как жила в Назарете». И с того дня Богоматерь работала вместе с другими монахами, только никто этого не замечал.

Бригитта слушала наивный рассказ и совсем не удивлялась. С ней Мария поступала так же.

Иногда Дева сначала расспрашивает ее о роскоши, в которой она жила при шведском дворе, — хотя Бригитте и стыдно вспоминать об этом, — а затем рассказывает ей в ответ о своих скорбях во время страстей своего Божественного Сына. Так, из горького сравнения Бригитта понимает, что такое настоящая любовь и, напротив, что такое любовь (и браки, и семьи), построенная вокруг культа собственного удовольствия.

Как же мало люди любят Бога! И как Он выпрашивает любви у своих созданий!

«Но ты, невеста Моя, которую Я себе избрал и к которой Я говорю, люби меня всем сердцем! Люби меня более сынов и дочерей, и родителей, или же любого другого человеческого создания, ибо Я, создавший тебя, из любви к тебе не пожалел предать Мои члены на мученье. И скорей, чем потерять тебя, Я бы предпочел, чтобы Меня распяли еще раз. Если ты сделаешь, как я говорю, Мое сердце почиет в твоём сердце...»

Раз, когда ее духовник, мэтр Матиас, похвалил ее за глубину ее откровений, она ответила: «Я всего лишь муравей перед Богом. Если великий Господин посылает бедного мальчишку с поручением к своим друзьям, нет никакой причины хвалить того мальчишку».

Между тем она должна вновь начать путешествовать как посланница Всевышнего и является к королевским дворам и ко двору Папы в Авиньоне, чтобы провозгласить волю и суд Божии.

О королях Франции и Англии, ожесточенных в своей изматывающей войне, она публично говорит: «Они как два лютых зверя! Один с жадностью стремится пожрать все, что может ухватить зубами, и чем больше он ест, тем более он голоден и тем более неутолим его голод. Другой — хочет вознестись и господствовать над всеми. Оба зверя хотят пожрать сердца друг друга, и их ужасные голоса слышны повсюду, и вот их крик: "Бери-

те золото и богатства мира и не щадите христианской крови!"»

Всем Бригитта предписывает мир, во имя Божье.

Клименту VI она напоминает, что он должен быть миротворцем между двумя воюющими королями; кроме того, требует, чтобы он исправился от некоторых серьезных пороков, чтобы он объявил юбилей на 1350 год и возвратил папский престол в Рим.

Передавая слова Божии, она пишет ему буквально следующее: «Будь внимателен к дням жизни, которые тебе остались, ибо ты возбудил Мой гнев, делая то, что тебе нравилось, вместо того, чтобы выполнять твой долг. Но скоро... таким же образом, как Я вознес тебя выше всех, Я тебя низвергну, предав ужасным мукам... если ты будешь упорствовать и не слушаешь Моих слов... Я потребую у тебя отчета, почему ты не приложил усилий к восстановлению мира между двумя королями и почему ты склонился к одной из сторон...»

И передает Папе также следующие слова Христа: «Ты более жесток, чем Иуда: тот продал лишь меня, тогда как ты продаешь и моих братьев ради низкой выгоды...».

Порой из уст Иисуса она слышит (и затем, нимало не медля, их повторяет) суждения на грани допустимого, как, например, когда Он говорит ей: «Священники сделались Мне невыносимы». Но «откровение» безупречно с догматической точки зрения, поскольку Иисус тут же добавляет: «Даже если бы и худший из людей был священником, то, произнося во время мессы слова: *Hoc est corpus meum* (лат.: "Это есть Тело Мое"), он действительно освятил бы хлеб, и тот пресуществился бы в Мое Тело, и Я, истинный Бог и истинный человек, сошел бы перед ним на алтарь... Но такие священники — предатели, продающие и предающие меня хуже Иуды, и когда я думаю о язычниках и о иудеях, то не нахожу среди них никого, кто был бы столь же виновен!»

Очевидно, многие не принимают ее всерьез и думают о ней как тот пьяница, что однажды предстал перед ней во время обеда и сказал: «Правильно делаете, госпожа моя, что едите и пьете как прочие смертные. Так и продолжайте: хорошо ешьте и пейте, и спите еще лучше. Вы слишком предаетесь постам и бдениям и слишком много мечтаете, хоть никто и не верит тому, что вы говорите. Если бы Богу угодно было с кем-то говорить, то ведь полно попов и монахов, с которыми он бы мог беседовать, — Он не стал бы искать себе красивых дам».

Откровения, которые получает Бригитта, преследуют две цели: некоторые делают ее посланницей божественной воли и понуждают ее провозглашать пламенные суждения Бога о людях и народах; другие влекут ее к тесной дружбе с ее Господом Иисусом.

Часто Мария рассказывает ей происшествия и переживания своего отрочества в Назарете, воспоминания о рождении и детстве Иисуса, размышления и пояснения, касающиеся Его страстей.

Многие описания отдают народным благочестием того времени, но чувствуется, что наиболее характерный аспект Откровения заключается в поучениях, в чувствах, в добрых намерениях, которые она должна усвоить и передать другим людям.

Иногда она становится участницей богословских и философских дебатов, и ей предлагают решения, полные здравого смысла, мудрости и мистической глубины.

Существует даже целая книга под названием «Книга многих "почему"?» В видении, проезжая на лошади по берегу озера, Бригитта видит ученого и надменного монаха, «нетерпеливого и раздражительного», — она его хорошо знает, — который, взобравшись на лестницу, уже почти дотянулся до трона Господа Иисуса и надоедает Ему потоком вопросов, полных лукавства и самонадеянности.

Это настоящее нападение на Небо, начавшееся у самой земли: «Я спрашиваю у Тебя, судья, а Ты отвечай мне: Ты дал мне уста — почему я не должен говорить так, как мне хочется? Ты дал мне два глаза — почему я не должен смотреть на то, что мне приятно? Ты дал мне слух — почему я не должен слушать то, что мне нравится? Ты дал мне руки — почему я не должен делать ими то, что мне заблагорассудится? Ты дал мне ноги — почему я не могу пойти куда хочу?».

Так начинается допрос, который бросают в лицо Богу, и никогда больше так, как в этом старинном средневековом видении столь неистово не предвосхитил себя современный человек, которого отделяет лишь один шаг от его практического атеизма.

Бога не отрицают, но призывают на суд, чтобы удалить Его из жизни и из конкретного существования: все это — опираясь на фундамент чувств и их непосредственных прав.

И каждый вопрос обостряется выражением окончательного презрения: «Что Ты можешь возразить на это?»

Затем следуют, один за другим, около восьмидесяти вопросов: от самых чувственных («Зачем Ты дал нам чувства, если мы не можем жить, следуя инстинкту? Зачем Ты дал нам пищу и питье, если мы должны ограничивать себя в них? Зачем Ты дал мужчине и женщине инстинкт обладания друг другом, если, в конце концов, они не могут свободно ему следовать?..») до самых философски запутанных («Почему есть хищные звери и существа бесполезные и вредные, как черви и личинки? Почему есть день и почему ночь?»), до самых сложных («Почему существует зло, смерть и несправедливость?»), до самых утонченных («Почему мы не сотворены, как ангелы? Почему мы состоим из души и тела? Почему надо подчиняться другим, когда у нас самих достаточно рассудка и благоразумия?»), до самых богословских («По-

чему Бог явился во плоти, которая есть “мешок для червей”? Почему Христос не сошел с Креста? Почему Он не наполнил мир своим сияющим могуществом? Почему Он верил свое учение тяжелой и утомительной проповеди?.. Почему есть расхождения в четырех Евангелиях?»).

Последний (восьмидесятый) вопрос звучит так: «Если одна-единственная человеческая душа — дороже целого мира, отчего Твои друзья и посланники не могут достичь всех душ?».

На каждый вопрос — а многие из них как будто бы опережают изощренность некоторых современных критиков — Христос отвечает терпеливо, хотя и знает заранее, что его слова не обратят на путь истинный надменного монаха, и каждый его ответ скорбно начинается словами: «Друг мой...»

Но, терпеливо перенеся изматывающий допрос (который представляет собой настоящую Вершину (лат.: *Summa*) практического неверия, которое уже распространялось в позднем средневековье), Христос возражает: «Вот, ты мне задал свои вопросы о многих вещах, и на все я терпеливо ответил. Теперь же — во имя Моей Невесты, здесь присутствующей [то есть Бригитты], хочу я задать тебе один вопрос: ты человек одаренный, довольно разумный, чтобы знать разницу между добром и злом. Почему же тогда ты больше любишь все то, что преходяще, чем — то, что вечно?».

И монах вынужден сам себя осудить, грубо ответив: «Потому что я хочу действовать вопреки здравому смыслу, предпочитая плоть, а не душу».

В другом подобном же случае Бригитта услышит из уст Иисуса эти крайне печальные слова — более жесткие, нежели всякое осуждение, — по-прежнему обращенные к гордому и чувственному монаху: «Мои страдания ничего для тебя не значат... а поэтому ад открыт перед тобой».

Вот каково неслыханное призвание Бригитты, северной принцессы!

Она носит в своем сердце мечту, которую внушил ей сам Бог, но которую она не сможет осуществить при жизни: основать Орден Пресвятого Спасителя: монастырь для 60 затворников, которым бы содействовала отдельная от них небольшая община, состоящая из 13 священников, 4 дьяконов и 8 прислужников, — так, чтобы их общее число достигло числа первых друзей Иисуса (72 ученика плюс 12 апостолов плюс апостол Павел), и все это под руководством настоятельницы, представляющей Пресвятую Деву.

Она будет всячески лелеять эту мечту: выберет место для аббатства (в Вальдстене), опишет его архитектуру, сформулирует для него правила, будет настойчиво просить разрешения у Папы, но сможет поселиться там лишь после смерти, когда туда будут перенесены ее останки.

Но вся ее задача при жизни заключается в олицетворении Церкви-Невесты в самом центре христианства: Церкви-Невесты мудрой и любящей, как мать, — подобно Марии, — которая хранит на земле семью Божью; Церкви-Невесты, влюбленной в Христа и постоянно внимающей Троидиному Богу.

Это времена упадка, когда любовь христиан все более охладевает, и даже папы, епископы, священники и монахи, кажется, гибнут в нелюбви: даже Рим, святой город, лишенный своего Папы, подобен супруге, потерпевшей измену, или разоренному дому. А Европа усеяна кладбищами из-за черной чумы.

Но вот, перед наступлением 1350 года Церковь встрепенулась: Папа из своей чужеземной курии в Авиньоне, прислушавшись к призыву шведской принцессы, объявляет юбилейный год и указывает христианам тот «путь в Рим», который сам он не решается предпринять.

Бригитта первая слышит в своем сердце голос, говорящий ей: «Отправляйся в Рим, где улицы из золота, как в небесном Иерусалиме, и они все еще обгарены кровью мучеников».

И она пускается в дорогу, хотя багряный и золотой цвета она увидит лишь очами своей души, ибо Великий Город пребывает в упадке.

С небольшой свитой принцесса Нерисская пересекает всю Германию, потом Швейцарию, после чего переходит перевал Гран-Сен-Бернар, и, наконец, едет по дороге, что ведет в Милан, а затем в Геную, где кортеж садится на корабль, направляющийся в Остию.

В тот момент в Рим стекалось около миллиона паломников, но зрелище города не было столь славно, как того можно было ожидать.

Вид средневековой церкви Святого Петра — с рядом в сто колонн из мрамора и красного и зеленого гранита, с мозаиками времен Константина и с Триумфальной аркой на фоне ее — был внушителен, но великое множество других церквей оставались заброшенными.

«Многочисленные храмы стоят без крыш и дверей и сделались отхожим местом для скота и для христиан», — констатировала Бригитта со скорбным реализмом, а многие площади города превратились в пастбища...

Город еще не оправился от землетрясения 1348 года, во время которого были разрушены Латеранская базилика, базилики Святого Павла за городской стеной и Святых Апостолов, а также часть Колизея.

Холмы Рима по большей части были необитаемы и превратились в пастбища и заросли, поскольку акведуки были разрушены, — так что все население теснилось между Капитолием и Ватиканом.

Кроме того, Бригитта открыла для себя плачевное состояние безнравственности, в котором жил народ, и бесконечные распри, и родовую месть, в которых погрязло

дворянство. В своих, постоянно продолжавшихся, откровениях она слышала суровые суждения Иисуса обо всем этом: «Рим похож на поле, поросшее плевелами...», — и она принялась так молить Пресвятую Деву: «О Матерь милосердия, смилуйся над Римом, молись за него!..»

Во время мистических бесед Пресвятая Дева и Христос Господь часто называли Рим «средоточием гордыни», в какой-то мере опережая на несколько веков самые жестокие оскорбления, которые впоследствии будут в ходу в протестантских брошюрах.

И шведская принцесса становится для Авиньонских пап корреспондентом из Рима, посылающим свои отчеты о «несчастном городе».

В первое время она живет во дворце, который предоставил в ее распоряжение один французский кардинал (брат Папы), пребывающий в Авиньоне: вся группа шведских паломников живет в по-монашески — в послушании наставнику-богослову, который духовно руководит ею и удовлетворяет ее материальные нужды.

Каждый свой день Бригитта начинает с исповеди, затем совершает «паломничество» в одну из римских церквей, ибо она убеждена, что все святые места были в свое время омыты кровью мучеников. Проходя по городу, она держит в руках нечто вроде четок, на которых можно завязать множество узлов — по одному за каждое сказанное ею нелюбезное или высокомерное слово, чтобы затем вспомнить о них и покаяться.

Что же до всего остального, то каждый свой даже самый незначительный поступок она сопровождает молитвой: сам Иисус научил ее использовать простые и красивые выражения. Например, надевая покрывало, она должна сказать: «Помилуй меня, Господи, ибо я не сохранила для Тебя одного красоту моего лица».

Так Бригитта становится очень известной личностью среди римлян — дворян и плебеев — часто она окружена толпой нищих, надеющихся на подавание.

Кое-кто говорил, что ее видели сияющей, как бы окруженной сверхъестественным светом. Дома все то время, что она не посвящает молитве или рукоделию, идет у нее на изучение латыни, которая дается ей нелегко: она хочет подготовиться, чтобы иметь возможность лично говорить с Папой, когда придет время.

Иногда сам Иисус помогает ей преодолеть трудности грамматики, связывая правила со сладостными духовными рассуждениями.

Как-то раз Бригитте особенно не давалось различие между активной формой глагола *praevenire* (лат.: опередить, предупредить) и его пассивной формой, поскольку она состояла в одной-единственной букве (*praeveniri* — лат., быть опереженным, быть предупрежденным). После окончания урока Иисус ей сказал: «Сегодня из грамматики ты усвоила пословицу, которая гласит: "Лучше опередить (*melius est praevenire*), чем быть опереженным (*quam praeveniri*)". Так вот же, это верно: Я опередил тебя сладостностью моей благодати!»

Но Небо желало от нее предельной конкретности в отношении всех аспектов существования.

Сама Бригитта рассказывала, что как-то раз, полная усердия, она обратилась к Пресвятой Деве, говоря так: «Помоги мне, дорогая моя Мать, любить твоего Сына в совершенстве... Привяжи мое сердце к любви Христовой, соедини его с Ним и оторви его от всякой земной привязанности...» Но она услышала довольно холодный ответ: «Сшей-ка лучше юбку дочери! Вместо шелковой юбки у нее — грубая шерстяная, да к тому же старая и в заплатках!»

В самом деле, за несколько месяцев до этого к ней присоединилась Карин, овдовевшая в восемнадцать лет. То была — настоящая белокурая красавица, сводившая с ума римлян: за группкой паломников теперь обычно следовала свита молодых господ, которые осыпали ее любезностями, а в дом ей приносили послания, подарки

и любовные предложения. Молодой Орсини (отпрыск одной из самых знатных римских семей) даже замыслил ее похитить.

Карин пришлось закрыться в доме, и там она почти что умирала от скуки и печали, пока ей наконец-то не удалось с помощью матери обрести полную безопасность, навсегда влюбившись в Христа (который не раз защищал ее с помощью гораздо более изобретательных и деликатных чудес от посягательств претендентов из человеческого рода), и став такой «сильной» женщиной, что Папа Урбан VI скажет ей много лет спустя: «Видно, что ты сосала молоко твоей матери!»

Положение в Риме все более ухудшалось: паломников было столько, что им даже не удавалось войти в город, а многие из них подвергались нападениям разбойников и грабежам.

Тем, кому удавалось проникнуть в узкие улочки, порой грозила опасность быть раздавленными и задушенными толпой; лавки устанавливали непомерные цены, в том числе и на товары первой необходимости, и даже каноники церкви Святого Петра ругались между собой при разделе пожертвований.

И положение еще более осложнилось, когда Легат Папы распорядился, что пребывание паломников в святом городе должно было длиться не больше недели: народ взбунтовался против него, и ему пришлось бежать, а паломники хуже прежнего оказались предоставлены самим себе.

Возвращение Папы в Рим делалось все более необходимым, и казалось, что была даже некоторая надежда на возврат императора Карла VI Богемского, утонченного гуманиста и доброго католика, так что Петрарка назвал его «спасителем и избавителем, посланным Богом».

Бригитта написала ему письмо с таким вступлением: «Император Христос пишет императору германскому», но все было напрасно.

Когда во время страшной грозы молния ударила в собор Святого Петра и расплавил его колокола, Бригитта согласилась с римлянами в том, что это был небесный гнев против Папы, который сидел себе во Франции и не боялся суда Божьего.

О нем Христос говорил в Откровениях: «Тот, кто должен бы провозглашать: "Придите ко мне, дабы обрели покой ваши души", — кричит: "Придите поглядеть на мою роскошь, превосходящую великолепие Соломона. Идите в мой дворец, опустошите ваши кошельки и найдите погибель вашим душам!" И потому я осуждаю его, ибо он пренебрег стадом, что я доверил на сохранение Петру».

Это суждение звучит тем более сурово и даже несправедливо, что историки считают Климента VI одним из лучших пап авиньонского периода: его описывают милосердным, приветливым, кротким. И, тем не менее, он был единственным Папой, который не сделал ничего ради избавления от французского господства, обещав этим свой образ «общего отца христиан».

Так звучали крайне жесткие послания, которые Бригитта передавала, выходя из своих видений. Но Христос также говорил ей с надеждой: «Мои друзья скоро приведут мне новую невесту — прекрасную, грациозную и почитаемую!»

Но были ли, в самом деле, в мире эти друзья? Когда Бригитта с тоской спрашивала об этом Пресвятую Деву, та отвечала: «Мой Сын подобен королю, который царит над семьюдесятью княжествами. В каждом княжестве лишь один человек — остался ему верен!». И, тем не менее, эта группка из семидесяти друзей окажется непобедима...

Видения следуют одно за другим: Бог побуждает Бригитту передавать очень суровые послания, содержащие осуждение и угрозы проклятия в адрес пап, кардиналов, священников («Они держат Бога в своих руках, но нет

Бога в их сердце!»), но также в адрес царствующих особ, дворян и простых христиан («Они отдаляются от Евхаристии — хлеба жизни, как будто она отравлена»).

Пунктуально упоминаются и осуждаются даже богохульства и проклятия простолюдинов.

Хроника того времени рассказывает: «В первые пятнадцать лет, что провела в Риме Христова Невеста, ожидая приезда Папы и Императора, она получила множество откровений, касающихся положения вещей в Риме, — откровений, в которых Христос укорял римлян в их грехах, угрожая им суровыми наказаниями. Когда эти откровения стали известны, и их прочли римлянам, те воспылали к Бригитте смертельной неприязнью; некоторые говорили, что она ведьма, и как таковую хотели приговорить ее к костру».

«Наводящая порчу и ведьма», — так называли ее.

Вследствие первого обвинения люди бежали от нее прочь, так как оно вменяло ей в вину все несчастья, что обрушивались на город. Второе угрожало ее жизни.

Так, однажды вечером перед дворцом кардинала, где жили шведская принцесса и ее белокурая дочь, собралась толпа пьяных мужчин и женщин, которые потрясали факелами и кричали: «Вон ведьму! На костер!»

Но «ведьма» была в часовне, и ее утешал ее небесный Жених. Когда она вышла оттуда и увидела своих домашних, плачущих и перепуганных, она сказала с улыбкой: «Разве не пора петь вечерню?», и вот по этому-то случаю Бригитта, наученная самой Пресвятой Девой, завела для своих домочадцев обычай заканчивать вечернюю молитву гимном «Ave maris stella» (лат.: «Здравствуй, звезда моря»).

Тем временем, однако же, после многих лет пребывания в Риме материальные нужды дали о себе знать, и пришел день, когда в доме ничего больше не оставалось, — лишь книги и предметы христианского культа.

«Что ж мне, искать работу?», — спросила Бригитта у Пресвятой Девы во время одного из ежедневных видений.

«А чем ты сейчас занята?» — спросила ее небесная собеседница.

«Учу латынь, молюсь и пишу», — ответила Бригитта. И действительно, каждое утро у нее была встреча с ангелом, диктовавшим ей прекрасные и глубокие откровения о милостях, дарованные Богом Пресвятой Деве (дошедшая до нас книга так и называется: «Ангельская речь»). И Богоматерь согласилась, что это была слишком важная работа для того, чтобы искать другую. Поэтому она заключила с улыбкой:

«Тогда проси милостыню во имя Иисуса Христа».

Так римляне, привыкшие в течение долгих лет видеть, как шведская принцесса раздавала щедрое подаяние, в один прекрасный день увидели ее сидящей вместе с нищими у дверей церкви.

Но это продлилось недолго, ибо одна римская княгиня подарила ей свой дом на Кампо деи Фьори, избавив ее от нужды.

Когда Бригитте было необходимо утешение, она пускалась в паломничество: все храмы были для нее домом — местом желанных встреч, на которые она чувствовала себя приглашенной.

«Приди в мою келью и ешь и пей со мной», — услышала она обращенную к ней фразу в церкви Святого Франциска в Трастевере и отправилась в паломничество в Ассизи, дойдя так же до Сполето и Фолиньо.

Войдя в маленькую часовню Порциункола (ту, где получали самую старинную индульгенцию), она имела видение самого Франциска, который принял ее, говоря: «Добро пожаловать в мою келью, Бригитта! Добро пожаловать туда, куда я тебя приглашал. Но есть еще одна келья, и она еще более мне принадлежит, и это — послушание. Оставайся в моей келье!»

Иногда сам Христос повелевал ей предпринимать па-ломничества в многочисленные храмы, которыми тогда изобиловало Королевство Обеих Сицилий («ибо там погребены смертные останки многих Святых, которые любили Меня всем сердцем»), обещая ей новые важные откровения при каждом священном свидании.

Со святыми Бригитта вела диалоги так, как будто она была их родственницей: она приходила в храм, вставала перед алтарем святого Покровителя, обращалась к нему и просила рассказать важнейшие моменты его истории: обращение, мученичество, чудеса...

И так же она вела себя с жителями сел и деревень, через которые проходила, рассыпая повсюду откровения и чудеса, так что еще и сегодня в некоторых затерянных селениях юга Италии старики предают из уст в уста истории, песни и литании, упоминающие и святой Бригитте, которую считают покровительницей, способствующей доброй смерти.

Куда бы она ни приходила, она провозглашала суд Божий: говорила ли она с князьями, с епископами, с торговцами или с простыми людьми, ее выражения всегда были непосредственны, а образы богаты и сумрачны.

Когда она, заглядывая вперед, описывает переживания души, представшей перед испепеляющим огнем Божиим, Бригитта не опасается упоминать о демонах и муках, но также и о дьяволах, сетующих на то, что великий гнев Божий смягчается, лишь только Бог вспоминает о том немногом благе, что сотворил человек: «Ведь мы же знали, — кричат тогда демоны, — одна слезинка (буквально: «чуть-чуть водички!»), да все эти вздохи — и гнев Божий рассеялся!».

Но предсказания будущего суда, который Бригитта описывает сейчас в мрачных и ужасных красках, позволяет ей тотчас же продиктовать условия, необходимые для спасения. Знаменитой Неаполитанской королеве Иоанне

(знаменитой как своей красотой, так и безнравственным поведением, которая соблазнила даже сына Бригитты, заставив ее ужасно страдать) она не боится заявить от имени Бога, что «до сей поры та жила скорей как потаскуха, чем как королева» и что пришел для нее час обращения на путь истинный, если она не хочет «быть обещенной перед всеми ангелами и святыми Божиими».

Наконец, в 1367 году — после тех многих лет, что Бригитта умоляла его об этом и даже пророчествовала это среди всеобщего неверия — пришла весть, что Папа возвращается в Рим, и также ожидали императора.

Папа приехал, к безудержной радости римлян. Но ликование было кратким. Когда Бригитта поняла, что Папа Урбан собирается преспокойно вернуться в Авиньон, она обратилась к нему от имени Небес с устрашающим посланием. Богоматерь говорила в нем: «Я привлекла его сюда, как Мать привлекает свое дитя... и вот, он поворачивается ко мне спиной и ускользает от меня. Если он вернется во Францию, он получит такой удар, что будет щелкать зубами, и взор его помутится, и все члены его задрожат...»

Письмо было столь ужасно, что никто не хотел его доставить. Тогда Бригитта отнесла его лично, но и это не помогло. Урбан возвратился во Францию и умер там два месяца спустя; его похоронили, — как сказал Петрарка, — «среди великих грешников Авиньона», хотя Бригитта и молилась о его вечном спасении и добилась его.

Когда же стало ясно, что и новый Папа не намерен возвращаться в Рим, Бригитта услышала Божие повеление: «Отправляйся в Иерусалим!»

Церковь-Невеста, воплощенная в Бригитте, должна была вернуться почти физически к самым истокам своей веры.

Она прибыла в Святую Землю со всем сопровождением, но, потерпев кораблекрушение у самых берегов

Джаффы, паломники смогли спастись лишь благодаря тому, что выбросили в море весь груз. Ее привезли к берегу на лодке, где, тогда как все стонали, она сидела *tota suavis et pacifica*: (лат.) «спокойно и безмятежно».

Начиналась весна, и путешествие пешком от одного святого места до другого было утомительно, но сладостно.

Благодать, которую она получила, состояла не только в посещении святых мест и погружении в молитву, но также и в том, что ее сопровождали ее обычные откровения: в Вифлееме Богородица рассказывает ей о Рождестве Иисуса (со многими нежными подробностями), в часовне на Голгофе Иисус показывает ей о своих страстях.

Спустившись с места распятия, она казалась подавленной невыносимым бременем. Она пробормотала: «Не могу больше». Ее усадили в сторонке и выслушали ее мучительное повествование.

Следует прочесть полностью хотя бы это «откровение», чтобы попытаться понять, кем была Бригитта для своих современников: она олицетворяла церковь, которая видит, осязает, созерцает, страдает, — Церковь-Невесту, являющуюся самим телом Христовым:

«Когда я была на Голгофе и плакала навзрыд, то увидела моего Господа, лишенного одежд и избитого, которого иудеи вели на распятие, глядя на него со злобой. Я увидела, что в скале было сделано углубление, и они готовы были совершить свое жестокое деяние. И наш Господь мне сказал: «Ты, присутствующая здесь, запомни, что именно в этом углублении поставили крест в шестом часу Моих Страстей». И тотчас я увидела, как евреи установили крест в углубление, сделанное в скале, а затем молотом вбивали вокруг него куски дерева, чтобы он стоял крепко. Когда закрепили крест, то сделали как бы деревянную лестницу до той высоты, где его ноги должны были быть прибиты. После чего его толкнули на ту лестницу с оскорблениями и насмешками: тогда как он

поднимался по доброй воле и не возражая, как агнец, ведомый на закланье. И когда он поднялся по лестнице, то сам, без принуждения протянул правую руку и раскрыл ладонь, прижав ее тыльной стороной к древу Креста. И тотчас те безжалостные люди пронзили ему руку гвоздем — как раз там, где кость всего толще.

Потом подняли его левую руку, грубо притянув ее веревкой, и пригвоздили ее таким же образом. Затем растянули все его тело на Кресте, поместили голени одну над другой и так прибили ступни вместе двумя гвоздями, и растянули все его члены так неистово, что все вены и нервы у него лопнули. Сделав так, ему надели терновый венец, и шипы пронзили благословенную главу так глубоко, что кровь залила его очи, и алой кровью залита была борода и святой Лик... И тогда как я, не помня себя от горя, смотрела на всю эту жестокость, я увидела его святую Мать истерзанной, дрожащей и еле живой... И когда ее Сын увидел ее и других своих плачущих друзей, он измученным голосом доверил ее Иоанну... И видно было по его лицу и слышно было по голосу, что сострадание к матери пронзало его сердце, как самая острая стрела. Тогда его прекрасные глаза, казалось, погасли, уста были раскрыты и кровоточили, лицо было бледно и измождено, все тело мертвенно-бледно и безжизненно, так что казалось совершенно обескровленным. А кожа его девственного тела была так нежна и тонка, что от каждого удара на ней оставались кровоподтеки. Порой он пытался выпрямиться на кресте от чрезмерной муки, которую испытывал... Тогда он вскричал: "Отче, зачем ты меня оставил?" Его уста были бледны, живот впал... И вновь он вскричал: "В руки Твои, Отче, предаю дух Мой!" И на миг поднял голову, но тотчас опустил ее и предал дух..."

Это «откровение», которое мы прочли не полностью, с одной стороны — идеально завершает историю Бри-

гитты — историю, начавшуюся в годы ее детства (когда Иисус сказал ей: «Мне сделали это те, кто забывает и презирает мою любовь») и которая в этот момент достигает полноты любящего сострадания, какое она испытала от имени Церкви, — а с другой стороны — дает нам представление о том, кем была Бригитта для тех, кто ее знал и кто ее слушал: та, что жила одновременно с Иисусом; та, что видела Его, слышала, говорила с Ним, обнимала его.

В тексте, который мы прочли и которому равен по великолепию рассказ о Рождестве Иисуса, начинающийся словами: «Я увидела прекрасную отроковицу, которая была беременной...», нет ничего, кроме того, что любой христианин может прочесть и уловить в Евангелиях: сверх того там можно найти лишь восприятие той, что при этом присутствует, — той, что находится там в то время, как происходят эти события; той, что получила эту благодать именно потому, что она должна была поведать о ней...

Ее современники и почитатели были так тронуты этой совершенно необыкновенной особенностью Откровений Бригитты (особенностью, которая может быть определена лишь как глубоко церковное познание), что кое-кто хотел, чтобы Церковь официально признала их как «слово, вдохновленное Богом»: это, конечно же, преувеличение, но оно свидетельствует о потрясающем влиянии, которое они имели в те времена, когда служители Церкви, к сожалению, «редко» проповедовали «Слово Божие» и учили ему.

Тогда говорили, что она была «как свет, зажженный в последние дни этого нечестивого мира».

Действительно, нам известно, что когда Бригитта, вернувшись в гостиницу, записала все видения, что получила в дар, она услышала Иисуса, Который так их прокомментировал: «Все, что ты сейчас видела, — это то, о чем

не заботятся князья мира сего. Они, конечно же, не думают отправиться в паломничество в места, где Я родился и страдал: они лучше пойдут на бега. Да и прелаты моей Церкви предпочитают светские развлечения размышлениям о Моих Страстях и о Моей Смерти...»

Она возвратилась в Рим, чтобы вновь вразумлять, чтобы вновь умолять Папу, дабы он решился наконец-то *venire Romam* (лат.: приехать в Рим). Но ее не слушали.

Теперь она уже была старой и утомленной: ей было почти семьдесят лет, и путешествие в Святую Землю принесло ей счастье, но также и заставило ее пережить немало тягот.

Теперь она постоянно находилась в своей комнате, где каждое утро служили святую мессу; и вот, именно в те последние дни она испытала самые сильные искушения — в том числе и самые унижительные, каких ей никогда не доводилось испытывать за всю свою долгую жизнь. «Почему эти искушения должны меня мучить именно сейчас?» — смущенная, спросила она у своего Господа.

Ей ответила Пресвятая Дева: «Это с тобой происходит для того, чтобы ты поняла: без помощи Божьей ты ничто, и если бы мой Сын не сохранил тебя, то не было бы ни одного греха, который бы ты не совершила... Какие бы искушения ни одолевали тебя, не обращай на них внимания, не прекращая молиться...»

И так она оставалась безмятежной, невзирая на внутренние бури.

Кто видел ее в те последние дни, говорил: «Она была ко всем ласкова и всем улыбалась...»

Поскольку она всегда улыбалась, врачи говорили, что она идет к выздоровлению. Богоматерь заметила: «Они не знают, что говорят!»

Последние слова, которые Бригитта (именно она, что должна была столько говорить и писать) сказала дочери

Карин как бы для того, чтобы указать ей и нам простой путь к святости, были: «Терпение и молчание!»

Рассказывает ее духовник и доверенное лицо: «За пять дней до того, как Бригитта умерла, явился наш Господь Иисус Христос, встал перед алтарем, который был в ее комнате, и сказал: "Я поступил с тобой как Жених, который прячется от невесты, чтобы заставить ее еще более пламенно его желать..."»

И с этим наконец-то исполнившимся желанием Бригитта умерла.

Таково историческое повествование о жизни новой сопокровительницы Европы: для наших европейских наций, от Швеции до Италии она была сильным и нежным олицетворением Церкви — Невесты и Матери.

Святой Альфонс Мария Лигуори
(1696-1787 гг.)

XVIII век был для Церкви особенно «холодным», так как через него прошли течения просветительства и янсенизма.

Просветительство заявляло притязания на то, чтобы верить человеческую судьбу одному лишь голому разуму, и с жестоким озлоблением нападало на христианскую веру.

Янсенизм (осужденный в 1713 году) проповедовал трудное спасение и милость Божью, даруемую лишь немногим.

Для того, чтобы бросить вызов Вольтеру, вождю просветителей, и ригористам (сторонникам суровости), наследникам Янсения, Бог призвал Альфонса Лигуори, генуэзца и «очень симпатичного святого неаполитанца»: неаполитанца со здравым смыслом, как назвал его Бенедетто Кроче; христианина умного и образованного как его противники и даже более их, но обладавшего горячей верой, богатой и непосредственной, как вера ребенка.

С другой стороны, такой святой Альфонс был просто необходим, поскольку Вольтер однажды хвастливо утверждал, будто его «Богиню разума» почитают даже в Неаполе.

Если верно то, что в одной только Франции в том веке было опубликовано более двух тысяч антирелигиозных произведений и антиклерикальных пасквилей, то столь же верно и то, что распространение сочинений и

брошюр Лигуори мало-помалу достигло головокружительных цифр: более двадцати тысяч изданий (именно так!). Если их распределить на те двести лет, что прошли после его смерти, — пишет один ученый, — то можно сказать, что «новое издание какого-нибудь из произведений святого Альфонса выходило в свет через каждые три-четыре дня».

Поэтому нет ничего странного в том, что его считают «самым популярным из всех когда-либо существовавших писателей».

Гарнак непосредственно сравнивал между собой Вольтера и святого Альфонса Лигуори и называл их «двумя лидерами душ латинских народов».

Оба они — практически ровесники — прожили очень долгую жизнь (восемьдесят четыре года француз и более девяноста — неаполитанец); она продлилась почти весь век и позволила им глубоко повлиять на современников.

Итак, представим себе юного неаполитанского патриция, сына капитана королевского флота и аристократки испанского происхождения, воспитанного в семье плеядой блестящих наставников, который явился на экзамен по риторике для поступления в Неаполитанский Университет. Серьезность экзамена была гарантирована именем экзаменатора, выдающегося философа Джанбаттиста Вико. Но сколь бы это ни казалось невероятным, абитуриенту было всего двенадцать лет. Наш Альфонсо уже знал латынь, греческий, французский, испанский, философию, математику, географию, но занимался также и живописью, архитектурой, композицией, верховой ездой, фехтованием...

Итак, в двенадцать лет он поступил на факультет права.

В шестнадцать лет он защитил с отличием дипломную работу (защита проходила на латыни) *in utroque iure*, то есть как по гражданскому, так и по церковному праву: на четыре года раньше того возраста, что был пред-

усмотрен Регламентом, и ему пришлось просить специального разрешения на это у испанского вице-короля.

После двух лет стажировки юноша начал заниматься профессиональной деятельностью и в короткое время стал одним из самых известных и авторитетных адвокатов Королевства.

Из «Перечня приговоров» Неаполитанского суда видно, что с 1715 (Альфонсо всего девятнадцать лет) по 1723 год (ему двадцать семь) адвокат де Лигуори выиграл все свои дела.

Между тем его отец становится контр-адмиралом и для своего первенца, который в двадцать шесть лет уже является послом нового неаполитанского вице-короля, он мечтает о должности председателя Священного Королевского Совета.

Его беспокоит лишь тот факт, что годы проходят, а Альфонсо никак не решается жениться, хотя уже и пора бы.

Конечно, — думает отец, — следует учесть то обстоятельство, что молодой человек пережил разочарование: его обручили с его юной двоюродной сестрой Терезой де Лигуори, которая носит двойной титул — дочери князя и маркизы, но та бросила его, в пятнадцать лет сбежав в монастырь кармелиток, — более чем на полтора века предвосхитив историю Терезы из Лизье (в том числе и в духовной жизни, ибо она умерла в состоянии святости в двадцать лет).

Никто и не подозревает, что это именно Альфонсо убедил ее в том, сколь прекрасно призвание затворницы.

Через сорок лет после смерти девушки он с благоговением напишет историю ее жизни.

Одним словом, никому не было известно, что молодой адвокат и сам давно уже посвятил себя Пресвятой Деве.

Тогда в Неаполитанском Университете был обычай, который может нам показаться странным, но он был характерен для пламенной религиозности южных краев.

В день, когда им присваивалась ученая степень, новоиспеченные доктора наук должны были дать такую клятву:

«Я непоколебимо верую в духе и признаю всем сердцем, и твердо провозглашаю устами, что ты, Матерь Божья, Приснодева, была полностью избавлена [...] от всякого пятна первородного греха [...]. Публично и в частной жизни, до последнего дыхания я буду провозглашать это учение и приложу все усилия к тому, чтобы и все мои ближние его приняли и его провозглашали. Это я утверждаю, это обещаю, в этом клянусь...»

Тогда привилегия Непорочного Зачатия не была признана Церковью как истина веры, и уже несколько веков богословы спорили о ней. Но именно с XVII века испанские, а также итальянские университеты, связанные с Испанией ввели *votum sanguinis* [буквально (лат): «обет крови»], то есть клятву защищать Непорочную даже ценой жизни.

Во времена Альфонсо клятва для многих была формальной. Для него же это было нечто вроде акта посвящения. В восемнадцать лет он тайно дал обет целомудрия. И свою любовь к Пресвятой Деве он выражал даже в живописи: из-под его кисти выходили такие напряженные и чистые лики Богоматери, что они побуждали к молитве.

Это сочеталось с особым благоговением перед Евхаристией: в своей роскошной одежде, в элегантном парике и со шпагой кавалера на боку — которую он носил, следуя обыкновению молодых дворян Неаполя, — Альфонсо посещал не только гостиные и игорные столы (это была страсть, из-за которой он кое-чем рисковал в духовном отношении), но также и очень часто выступал в роли почетного стража при Святых Дарах.

Впоследствии эти два его благочестивых устремления сделаются двумя книгами, исполненными страстности и очень широко распространившимися: «Визиты к

Святым Дарам» (более 2000 изданий на разных языках) и «Прославление Марии» (около тысячи изданий на разных языках), которую некоторые знатоки считают прекраснейшей из всех когда-либо написанных на итальянском языке книг о Пресвятой Деве.

Это, — как говорил один знаменитый критик, — «две итальянские книги, самые читаемые и вызывающие самое усердное повиновение не только в Европе, но и во всем мире».

В его молодые годы Дева и Евхаристия воплощали собой для Альфонсо наивысшую конкретность христианского идеала: они воплощали красоту и человечность нашей веры, ее величие и смиренную «народность». И он был страстно верен этим двум «привязанностям».

Вместе с тем в нем жило человеколюбивое стремление посвящать свои силы «Неизлечимым» — больнице без врачей, без лекарств, без санитаров, где скапливались отбросы общества, лишенные всякого достоинства и всякого «ухода» кроме того, что безвозмездно оказывали им некоторые добровольческие общества. Это была скорей не больница, — утверждают авторы хроник, — а «человеческая свалка», «зловонная клоака»...

Несколько раз в неделю Альфонсо ходил туда заправлять постели, менять белье, врачевать язвы...

Таким образом, все было готово к тому, чтобы Бог призвал его. Так всегда случается, когда христианин пламенно любит Деву Марию, Евхаристию и бедных.

Случай представился в том зале суда, где он привык пожинавать лавры. Весной 1723 года адвокат де Лигуори выступал в на шумевшем процессе герцога ди Гравина (племянника Папы) против великого герцога Тосканского.

В процессе был также замешан император, и на карту была поставлена огромная сумма в шестьсот тысяч дукатов.

Альфонсо был уверен в победе, так как он имел в своем распоряжении неопровержимые доказательства. Однако в один прекрасный момент он заметил, что его аргументам не придавали значения: судьи, да и сам председатель, которого он всегда уважал за честность, были заранее подкуплены.

После того, как с чувством великого отвращения из-за перенесенной несправедливости Альфонсо снял с себя тогу, он, к огорчению своих близких, решил никогда больше ее не надевать.

Они надеялись, что это негодование скоро пройдет, но встревожились по-настоящему, когда стало очевидно, что он пренебрегал даже и некоторыми для всех возделенными почестями: будучи приглашен ко двору на день рождения императрицы, он там не представился, а пошел к своим «неизлечимым».

Именно в этот день, в тех зловонных коридорах он как будто бы услышал голос, говоривший ему: «Оставь мир и отдай себя Мне!», — и в тот момент ему показалось, что вся больница дрожала.

Он встрепенулся, думая, что ему пригрезилось, и вновь принялся за работу. Когда же, наконец, пришло время покинуть это пристанище горя, и он спускался по наружной лестнице, голос слышался вновь и еще громче: «Оставь все и отдай себя Мне!»

Его ответ был полон готовности: «Боже мой, вот я: делай со мной все, что угодно!», — и, движимый любовью к своей Богоматери, он тотчас же направился в ближайший храм, и, подражая примеру старинных рыцарей, возложил на его алтарь свою шпагу.

Было 29 августа 1723 года: «День моего обращения», — как всегда будет говорить Альфонсо.

Его отец был охвачен беспокойством: он пытался убедить себя, что еще есть время; он тешил себя мыслью,

что необходимо несколько лет учебы, прежде чем этот его сын сможет стать священником, и изобретал разные способы его отвлечь, поскольку в любом случае тот должен был заниматься дома, по обыкновению дворян того времени.

Главное, чтобы он не надел на себя эту черную сутану... Чтобы он не смог ее купить, отец лишил его всякой материальной поддержки. Альфонсо раздобыл себе сутану в лавке старьевщика.

Когда родитель заметил его, проходившего по коридорам дворца в подобном облачении, он испустил яростный вопль: такого сына он не хотел даже видеть!

И они не виделись целый год: когда контр-адмирал уходил в море, Альфонсо оставался во дворце; когда же родитель возвращался из своих походов против турок, Альфонсо вновь избегал его.

Но рано или поздно это должно было случиться: стоило только чуть-чуть ошибиться в расчетах, и они столкнулись лицом к лицу. Вопль повторился; отец отрекся от него столь решительным образом, что даже друзья семейства из осторожности начали избегать этого молодца с горячей головой, порвавшего со своими богатыми и могущественными родственниками.

Между тем Альфонсо занимался, а в свободное время нес церковное служение в качестве служки среди неаполитанской бедноты.

Это казалось невероятным, но раньше он никогда не видел бедных кварталов, расположенных у моря; теперь он заметил, что существовала как бы невидимая граница, которую дворяне никогда не пересекали и за которой теснились отверженные мира сего.

Чтобы до конца познать эту нищету и принести ей хоть какое-то облегчение, он даже вступил в общество, оказывавшее помощь приговоренным к смерти.

Он был рукоположен в священники в тридцать лет.

Биограф свидетельствует, что в Неаполе тогда была недобрая поговорка, гласившая: «Хочешь попасть в ад — стань попом».

Возможно, это была критика в адрес некоторых тогдашних священнослужителей, которых более беспокоил доход с церковного имущества, чем их служение, отчего они и рисковали своей душой.

Возможно, поговорка означала, что духовенство было слишком многочисленно, и некоторым его представителям не удавалось свести концы с концами.

Или, быть может, она выражала даже некоторое восхищение перед теми, кто избирал священный сан из любви Христовой, и был готов погрузиться в тот «ад», которым являлись городские окраины, изобилующие убожеством.

«Пятнадцать целей», которые поставил перед собой Альфонс при вступлении в священный сан, свидетельствуют о его духовной чувствительности.

Процитируем лишь две из них ради особой красоты избранных им формулировок:

«Бог послушается моего голоса, — пишет он, имея в виду священную власть, которая ему давалась, — а я буду повиноваться ему».

«Святая Церковь оказывает мне честь, — добавляет он, осознавая достоинство, к которому он вознесен, — а я буду почитать ее святостью моей жизни».

Этот новый священник тотчас же очаровал Неаполь своей необыкновенной проповедью: с одной стороны, он говорил прекрасно и убедительно (он конечно же не забыл свое искусство адвоката), с другой же стороны он выражался привычно, просто, — так, что все могли его понять.

В те времена законы красноречия предписывали проповедникам пышные и вычурные формы с тем, чтобы лучше подчеркнуть благородство темы и культуру оратора.

Целью проповеди было вызвать восхищение.

Альфонс же говорил: «Когда проповедуешь, делай это так, будто ты беседуешь с кем-то в комнате».

Позднее, когда он станет основоположником и настоятелем конгрегации, предназначенной для миссий в народе, он даже скажет:

«Я проклиная братьев, которые проповедуют так, что их не понимает большинство присутствующих».

И будет учить, что следует говорить таким образом, чтобы было понятно и неграмотному крестьянину, и женщине из народа, которая только что управилась с хозяйством.

Мало того: должно быть понятно и тому, кто опоздал и пришел к середине проповеди.

Порой будет даже случаться, что, слыша проповедника, затерявшегося в высоких сферах культуры или вникающего в слишком тонкие вопросы, он тотчас будет посылать одного из своих братьев, чтобы тот стащил с амвона злополучного оратора.

Что касается этого, то широко известен следующий эпизод. Умер знаменитый проповедник-капуцин, бывший славой своего времени. Альфонс переждал несколько лет, но в один прекрасный день разразился проповедью: «Помните знаменитого капуцина, отца Бернардо Мария Джакки, — того, что умер три года назад? Его считали «Цицероном Неаполя» — так он умел усложнить Евангелие с помощью премудрых оборотов, и кое-кто из молодежи ему уже подражает. Так вот, если он и спасен, то очень может быть, что он будет искупать свое тщеславие в чистилище до судного дня...» Его попросили смягчить эти излишне резкие выражения, к тому же произнесенные публично. В следующей проповеди он добавил: «Я думал исповедаться в моей резкости по адресу незадачливого отца Джакки. Но, видя, что не могу утвердить себя в намерении раскаяться, я от этого воздержался».

Когда произошел этот случай, он был уже стар и, как добрый неаполитанец, мог позволить себе лишнюю остроту, но всегда, с первых своих проповедей он был убежден в той истине, что всегда его так волновала: кто проповедует сложно, тот — «предатель слова Божьего» и «враг Распятого Христа».

Но вернемся ко времени его первых шагов в качестве священнослужителя.

Был один старый и чрезвычайно ученый профессор семинарии, известный своим острым язычком, который часто ходил слушать молодого Лигуори. «Дон Никола, — говорил Альфонс, — уж не поведаете ли вы мне какую-нибудь шутку?».

«Нет, — отвечал ему дон Никола, — мне нравится слушать ваши проповеди, потому что вы говорите не о себе, а о Распятом».

Это была единственная похвала, до которой Альфонс был жаден вплоть до самой глубокой старости.

Другой его заботой — чем-то вроде следствия его проповеди — было просиживать по много часов в исповедальне.

Там не было риска тщеславия: ты или способен принять грешников и привести их к покаянию, или терпишь провал в качестве подателя прощения Божьего.

Положение тогда было особенно серьезным, поскольку ледяной ветер «янсенизма», о котором мы упоминали, требовал от духовников мелочных расследований и большой суровости по отношению к кающимся.

В довершение всего самые популярные авторы рекомендовали давать отпущение лишь изредка и отказывать в нем тем, кто повторно впадает в грех, кто привык к грешной жизни, а также тем, у кого постоянно имеется повод согрешить.

Что же касается Святых Даров, то их следовало причащаться лишь изредка. К примеру, тот, кому отпущены

грехи, хорошо делал, если еще на какое-то время воздерживался от причастия, — в знак уважения.

По контрасту с этим, естественно, были чрезмерно снисходительные духовники, которые все оправдывали, и еще более снисходительные к себе кающиеся, которые совершенно не страдали от своих грехов.

Альфонс не в состоянии был принять всю эту жесткость, да еще и в тех таинствах, которые призваны сообщать Божию любовь.

Он пояснял: «Ничего не стоит сказать грешнику: "Ты проклят, я не могу отпустить тебе грехи". При этом мы забываем, что этот человек обошелся Иисусу Христу ценой Его крови».

Он не говорил: «Искуплен ценой крови Иисуса Христа», как бы повторяя заученную богословскую формулировку, а «обошелся Иисусу Христу ценой его крови» — тому Иисусу, Кого он всегда любил созерцать и иногда даже рисовать таким страдающим, что это возмущало душу.

Но та же самая совесть побуждала его быть совсем не склонным к компромиссам.

К нему явился молодой человек и, нимало не смущаясь, щегольнул длинным списком грехов, спокойно ожидая обычного наставления.

«Ничего больше?» — спросил Альфонс.

«Нет, только это», — отвечал незадачливый юноша.

«Только это?! — набросился на него Альфонс, — Да тебе не хватает только тюрбана, чтобы быть турком! Что ты мог еще сделать сверх этого?.. Какое зло причинил тебе Иисус Христос?»

До нас дошел этот эпизод, так как непутевый юнец полностью доверился Альфонсу, стал святым и часто со слезами рассказывал о той своей глупой исповеди, которую Альфонс сделал необыкновенной.

И еще один трогательный эпизод преподает нам великую истину, которую Альфонс сразу же понял: некоторые души гибнут, если только внезапно не сталкиваются и не сопоставляют себя со святостью.

Так, была одна девушка по имени Мария, «не имевшая в себе Бога и исполненная мирской суеты», которая грешила с такой же легкостью, с какой каялась. И казалось, что и то, и другое она делала «совершенно искренне».

«Мария, — сказал ей однажды Альфонс, предварительно испробовав все средства, — ты полностью предалась Богу?»

«Полностью, отец».

«Полностью и всем сердцем?»

«Да, отец. Полностью и всем сердцем».

«Тогда пойди, обрежь себе волосы и стань кармелиткой».

Автор не говорит о том, как закончился эксперимент, — но многозначителен факт, что в качестве пути к выходу из посредственности указывается этот бросок в идеал.

Альфонс изучал нравственное богословие по книге особо сурового содержания, которую все тогда рекомендовали за ее признанную ортодоксальность.

Но, вступая в контакт с душами, он отдавал себе отчет, что эта суровость была направлена против того, что он любил больше всего на свете: Распятого, умершего из любви к грешникам; Евхаристии — таинства любви и силы; Пресвятой Девы — Матери скорбящих и отчаявшихся...

Поэтому он стал совмещать свой изнурительный труд духовника с усилиями, направленными на основательное изучение нравственного богословия, и он писал на эту тему с такой глубиной и гениальностью, что сделался признанным Учителем Церкви.

В то время как католические моралисты растрачивали себя на «школы», «системы», «споры», «полемики» и

на бесконечную «казуистику», Альфонс вернул морали достоинство богословской науки.

Его «*Theologia moralis*» (лат.: «Нравственное богословие»), написанная на латыни с тем, чтобы стать известной священнослужителям во всем мире, пересмотрела всю доктрину Церкви, касающуюся этой темы, сопоставила между собой самые различные мнения, — от самых суровых до самых снисходительных, — с верным чутьем предлагая наиболее взвешенные решения, уважающие как истину Божью, так и достоинство человека и его разума. Альфонс совершенно справедливо был уверен, что они заключают в себе друг друга.

За это произведение Церковь признала за ним звание Учителя и провозгласила его покровителем духовников и моралистов.

То, какое воздействие оказало его учение на умы, можно продемонстрировать с помощью одного символического эпизода.

Настоятель из Арса тоже был ориентирован к суровости в том, что касается нравственности и отпущения грехов, и ее он придерживался в первые годы своего служения. В одной из своих первых проповедей он так наставлял верующих: «Если [после исповеди] нет полной перемены, то это означает, что мы не заслужили отпущение, и все это приводит к выводу, что мы совершили святотатство. Увы! Как мало тех, в ком заметна эта перемена после отпущения грехов! Боже мой, сколько святотатства! Если бы из тридцати отпущений хоть одно было заслужено, то вскоре весь мир обратился бы на путь истинный».

И потому добрый кюре из чувства долга отсылал прочь многих кающихся, которые, порой помногу дней, ожидали отпущения.

В 1832 году он смог ознакомиться, хотя и косвенно, с произведением Лигуори и с того момента почувствовал

себя вправе давать выход тому милосердию, которое он в себе ощущал.

Собратья обвиняли его в том, что он стал сторонником попустительства, но, — как рассказывает биограф, — он всего лишь стал «приверженцем Альфонса». До такой степени, что в последние пятнадцать лет своей жизни святой пастырь раз в год перечитывал двухтомное изложение доктрины св. Альфонса, канонизированного незадолго до этого.

Но вернемся к его первым годам в качестве священнослужителя: толпа, теснившаяся вокруг него с тем, чтобы услышать его проповеди и затем исповедаться, росла с каждым днем. Так как церковь не могла вместить всех желающих, ему пришлось собирать их на городских площадях.

Как только звонил вечерний *angelus*, к церкви Святой Терезы Босоногих [кармелитов — прим. перев.] со всех бедных кварталов стекались, чтобы послушать Альфонса «бездельники» и «оборванцы» (итал.: «lazzaroni» и «lazzarelli»). Так называли тогда (да и сейчас еще называют) людей, принадлежащих к городским низам, и эти прозвища не многое потеряли от своей первоначальной грубости: они вызывали в памяти тех, кто в старину жил в лазаретах, — то есть, прокаженных, — и обозначали, как презрительно поясняет даже один современный словарь, «тех людишек, [что представляют собой] настоящую проказу прекрасного города Неаполя».

Альфонс охотно позволял себя увлечь, и число его слушателей возросло необычайно. Но так как власти были напуганы этими собраниями, то ему пришлось разделить толпу на несколько групп по кварталам.

Так зародились «вечерние капеллы», и поскольку многочисленных священников — друзей Альфонса — было конечно же недостаточно, то заведование ими он доверил лучшим из своих мирян: одной из «капелл» руководил бандит и глава беспризорников; другой — сол-

дат, изгнанный из армии и едва избежавший виселицы; еще одной — продавец муки; еще одной — торговец яйцами, или продавец каштанов, или цирюльник, или торговец рыбой и так далее.

Все это, разумеется, были люди, которых Альфонс обратил на путь истинный, и многие прослынут святыми, но обратившись, они не потеряли своих организаторских способностей и дара управлять толпой.

А когда были запрещены собрания под открытым небом, торговцы открыли для них свои лавки.

Время от времени Альфонс обходил их, чтобы убедиться, что все шло как надо, а в воскресенье священники исповедовали без конца подходивший народ.

В наши дни епархии учатся организовывать «городские миссии», «центры доверия» в домах, ценить «участие мирян», управлять «пастырской работой на территории с помощью самой территории» и так далее, но они изобрели немного нового по сравнению с тем, что Альфонс смог организовать в Неаполе XVIII века.

То была миссионерская деятельность, которая смогла бы изменить облик города — и облик многих крупных городов, — если бы ей дали возможность развернуться.

Она была запрещена во время революции 1848 года (ибо почти всегда так называемые революционеры скорей предпочитают гоняться за своими мечтами, чем замечать настоящие революции, которые тем временем уже совершаются), но и в конце века она насчитывала еще около тридцати тысяч участников.

Даже старый контр-адмирал, отец Альфонса, дал себя убедить после того, как однажды он тайком послушал проповедь сына, ставшего священником против его воли. Он растрогался и обнял его от всего сердца, говоря: «Сын мой, сегодня ты научил меня познавать Бога!»

Но для учеников Христа окунуться в среду бедных — это все возрастающий соблазн. Альфонсу уже недоста-

точно было Неаполя и его нищеты, и в его сердце родилась идея, почти что намерение, отправиться в Китай.

Но (как случилось двумя веками раньше с Филиппом Нери, — святым, которого Альфонс особенно любил), Бог показал ему, что его «Китай» был к нему гораздо ближе, чем он думал.

Если бедные кварталы Неаполя уже являлись миссионерской территорией, то затерянные селения Кампанских Апеннин и Лукании можно сказать, были почти что во власти язычества: нищие и предоставленные самим себе деревни, где служители церкви или обнищали, или их вовсе не было; укоренившиеся суеверия, почти полное религиозное невежество, всеобщая неграмотность.

Тогда Альфонс решил «полностью пожертвовать ради Иисуса Христа городом Неаполем», — говорит биограф, подчеркивая, что даже святому делается больно от мысли, что он должен покинуть город, который, как немногие другие, захватывает сердце и чувства своих детей.

Он уехал верхом на смиренном ослике, в своей заштопанной сутане, решив сделаться бедным среди самых бедных и мечтая о компании «братьев», которые, как и он, посвятили бы себя миссиям в народе.

Чего ему будет стоить основание подобной «конгрегации», — этого он не мог себе даже представить.

Вначале его желания встретились с желаниями добрых душ, у которых были похожие планы: монахинь, священников, некоторых епископов, — и все они старались подать идеи, подсказки, правила... которые Альфонс принимал доброжелательно и со смирением.

Заведение, однако же, явилось на свет неопределенным и шатким, а сам он оказался стиснут в чужих схемах.

Так дела шли с десятков лет, сопровождаясь успехами и неудачами. Только с 1743 года Альфонс смог полностью взять все в собственные руки.

То были нелегкие времена: существующие религиозные учреждения больше притесняли, чем поощряли, а об основании новых не могло быть и речи. Особенно Неаполитанское Королевство было насыщено церквями и монастырями: в одном лишь районе, где прежде жил Альфонс, до той поры было 17 мужских и 7 женских монастырей!

Но без официального утверждения нельзя было открыть семинарию и принимать желающих туда поступить, а без этих последних невозможно было создать новую конгрегацию.

Приходили уже принявшие сан священники, но они, конечно же, не имели той закалки, которой желал Альфонсо для своего дела, предполагавшего бесчисленные жертвы.

Альфонс представлял себе монастыри, где братья жили бы вместе, как «домашние отшельники» в молитве и учебе в течение четырех месяцев в году, а остальное время, разбившись на группы, проводили бы в самых бедных селениях, осуществляя «народные миссии»: миссионеры должны были приходить в захолустные деревни пешком, проповедовать по несколько раз в день, начиная с раннего утра (миссия должна была достигать своего апогея в сокрушенном призыве страстей Христовых); исповедовать до изнеможения; организовывать крестные ходы и коллективные акты покаяния; посещать больных; призывать к публичному покаянию явно между собой враждующих (почти всегда это была застарелая вражда и родовая месть); образовывать группы молитвы и общества милосердия и в конце концов, в качестве символа добрых намерений и всеобщей надежды — возводить при входе в селение высокий крест...

Посвятить себя этой задаче («совершать миссии») — означало для Альфонс не только «подражать Христу»,

но и «продолжить Иисуса Христа среди бедных», как он любил подчеркивать.

Он начал создавать тут и там «дома», где собирал своих миссионеров, с трудом добываясь разрешения на это, но Заведение, как таковое, не получило ни королевского одобрения, ни одобрения со стороны Папы. Король скорее был склонен назначить Лигуори архиепископом Палермо — второй столицы Обеих Сицилий, что приводило в ужас смиренного миссионера, все мысли которого были лишь о той его «конгрегации», что так медленно развивалась...

Альфонс страстно и с огромным самопожертвовани-ем первым посвящал свои силы проповеди миссий в положенные месяцы, а все оставшееся время он продолжал свою проповедь с пером в руках.

Он обходил самые отдаленные селения юга Италии, проповедуя и порой творя чудеса. Это был миссионер в жалкой одежде, с запущенной бородой: когда он приходил в деревни, пастухи думали, что он повар группы, и удивлялись, видя, что именно он произносил первую проповедь; услышав, как он говорит, они рассуждали между собой: «Уж если повар такой молодец, то кто знает, каковы остальные!»

Только по уважению, которое выказывали ему его спутники, можно было догадаться, что это был настоятель.

Кроме того, он приводил людей в восторг, обучая их «Духовным песенкам», которые он нарочно для этого сочинял и которые начинали пропитывать нежностью души итальянцев, — что продолжается вплоть до наших дней, — особенно песням, посвященным Марии: «О моя прекрасная надежда, / нежная любовь моя, Мария», «Ты чиста, благочестива, / ты прекрасна, о Мария»; и Рождеству: «Замерла гармония небес», «Ты спускаешься со звезд...»

Тем, кто умел читать, он раздавал брошюры, простым языком объяснявшие простые истины (как, например, «Вечные правила», что были его самым распространенным произведением). А неграмотным он раздавал образки, которые сам и рисовал.

Всем он оставлял сокровища вероучения, изложенные в крайне простых формулировках, которые становились народными пословицами: «Кто молится — спасается, кто не молится — губит свою душу»; «Кто отдает Богу свою волю, тот Ему все отдает».

Так он чередовал проповедь с сочинением крупных произведений по нравственному богословию, догматике и апологетике, а кроме этого занимался составлением бесчисленных брошюр о разных предметах духовной жизни.

Он продолжал писать, испытывая нечто вроде тревожного желания обратить весь мир: он понимал, что к неграмотным людям следует, прежде всего, обратиться с проповедью (и никогда перед этим не отступал), а всем же тем, кто умеет читать, необходимо преподавать христианскую истину «запросто».

Он радовался, думая о том, что и в самых нищих селениях всегда был хоть кто-нибудь, кто научился читать, и те простые книжки, которые он писал, люди могли слушать все вместе, особенно зимними вечерами, когда крестьяне, пастухи и хозяйки собирались в хлевах или на кухнях.

Закончив краткий «Трактат о необходимости молитвы», он сказал: «Я хотел бы отпечатать столько экземпляров этой книги, сколько верующих на земле, и раздать их всем».

На столе, за которым он работал, он держал большое Распятие, и на основании его написал собственной кровью: «О мой Иисусе, все — для тебя!» И каждые чет-

верть часа, по звону часов прерывал работу, чтобы прочесть «Ave Maria» («Богородицу»).

Из этого рождался богатый поток его богословских и аскетических произведений.

Давая им оценку, один историк Церкви утверждает, что «в гораздо большей степени, чем мы обычно себе это представляем, католическая душа нашего времени унаследовала "альфонсианскую" духовность».

Но это имеет значение в том смысле, который поясняет славный дон Джузеппе де Лука:

«Святой Альфонс — это не только "Автор"... мы, любящие его, воспринимаем святого Альфонса так, как в деревне вдыхаем глоток воздуха или едим хлеб за столом, или плод с дерева, и как пьем пол-стаканчика вина в гостях у друга, или воду из источника. Святой Альфонс был самым настоящим и любимым отцом для многих душ». Кроме того, он добавлял: «Святой Альфонс был для нас учителем начальной школы и, вместе с тем, нашим самым ученым доктором наук, достигшим высочайших вершин, за которыми — небо».

От своих сочинений Альфонс не испытывал ни малейшего тщеславия, хотя его имя и стало известным в Европе. Венецианскому издателю, просившему его портрет, чтобы по существовавшему тогда обыкновению поместить его на титульный лист его самых престижных сочинений, он отвечал: «Я бы умер со стыда. Да и какой плохой рекламой для книги был бы портрет этой египетской мумии!»

Весь свой престиж он использовал лишь для того, чтобы добиться утверждения того Заведения, что владело его сердцем и так дорого ему стоило.

Он добился его признания лишь в 1749 году, от Папы Бенедикта XIV, который дал ему название «Конгрегация Святейшего Искупителя», но продолжал отказывать ему

в свободе действий, и законного утверждения по-прежнему не было.

Как бы там ни было, стало возможным обеспечить ему более упорядоченное духовное и церковное развитие.

Альфонс был, прежде всего, озабочен формированием внутреннего мира своих детей. Он настаивал: «Если у нас будет тридцать заведений в Неаполитанском Королевстве, пятьдесят в Папском государстве и двести в Индии, а мы не будем святы, — какой с этого толк?».

И он будет настаивать до последнего: «наша конгрегация создана для гор и деревень. До тех пор, пока мы будем водиться с прелатами, кавалерами, дамами и придворными, — прощайте миссии, прощай, деревня. Сделаемся и мы придворными. Да избавит нас Иисус Христос от такой напасти!»

От своих священников он требовал, прежде всего, бедности, смирения и послушания, — все это ради миссионерского служения самым обездоленным. Он говорил, что монахов ему «довольно и десяти, лишь бы они любили Бога по-настоящему».

«Если вдруг перед нами встанет выбор между двумя миссиями, — объяснял он им, — одной для Неаполя, и другой для пастухов какой-нибудь деревни в Саленто, и нельзя будет приняться за обе, то прежде следует отправиться к пастухам...»

«Пастухам» он хотел проповедовать «святость»; он хотел научить их, что «христианское совершенство» доступно действительно всем тем, кто принял крещение.

Существует некая «мистическая жизнь», легкая и возможная для всех: «Бог любит вас? Любите Его... Он всегда рядом с вами... Он в вашем сердце. Он там рано утром, чтобы услышать с ваших уст слово любви и веры, чтобы принять от вас жертву вашего дня... В течение дня чаще возобновляйте приношение самих себя Богу: Вот я, Господи! Делай со мной все, что Тебе угодно!»

Поэтому он желал, чтобы всякая миссия в народе завершалась катехизацией, которая бы обучила всех без различия «основной практике», то есть ежедневному созерцанию, которое Альфонс считал необходимым для того, чтобы стать святыми.

Ему было шестьдесят шесть лет, когда его постигло самое большое страдание: преодолев его сопротивление, длившееся уже давно («Говорите мне не о епископстве, а о Рае», — отвечал он), Папа назначил его епископом бедной горной епархии в провинции Беневенто — Сант-Агата деи Готи, оставив при этом и настоятелем его конгрегации.

Альфонс чувствовал себя стариком, артроз обезобразил его тело. Уже за год до этого он писал своему венецианскому издателю: «Жду смерти со дня на день», — и вот на него свалилась эта бедная епархия: старинный биограф бесцеремонно утверждает, что его предшественник оставил ему в наследство «кучу мусора».

У него не было недостатка в церковнослужителях: на епархию с тридцатью тысячами жителей приходилось аж четыреста священников, четыре коллегии каноников и тринадцать мужских монастырей; только все они предпочитали оставаться в городе, где многие церкви имели кое-какую ренту, а о миссии в деревнях и в горных селениях не хотели и слышать.

Он начал с того, что отправил на каникулы семинаристов, а затем и окончательно распустил их всех по домам. Он построил новую семинарию и вновь принял туда лишь немногих из прежних семинаристов, — тех, что готовы были туда возвратиться, не требуя для себя впоследствии никаких должностей. Он принимал юношей из самых бедных селений с тем, чтобы после они желали туда вернуться и проповедовать на своей родной земле. И назначил преподавателями лучших свя-

щенников, которые у него только были. То есть, организовал епархию, как большую миссию.

Он проповедовал в соборе, где каждое утро давал благочестивое размышление для народа, а вечером руководил «визитом к Святым Дарам» и почитанием Богоматери.

Епископ всегда приходил навестить Иисуса, воплощенного в Евхаристии после того, как он навещал его там, где он был воплощен в больных. В течение получаса Святая Гостия была представлена для поклонения, и безмолвие нарушалось лишь каким-нибудь его размышлением или песнопением, которому он сам обучал присутствующих.

В манере проповедовать он сохранял свою прежнюю неизменную линию для себя и для других.

Раз он пригласил к себе в кафедральный собор одного проповедника, имевшего в Неаполе большой успех. Выдающийся оратор выступал с намерением поразить этого епископа, пользовавшегося определенной известностью, пока, наконец, важно не спустился с амвона, готовый насладиться должными похвалами. Он услышал: «Кто проповедует так, как вы, тот, в конце концов, предает Иисуса Христа и его народ».

Он всего лишь год был епископом, когда наступил неурожай, который впоследствии разорил все королевство. Он предусмотрительно заготовил в своей резиденции запас зерна и в нужный момент, когда у пекарей больше не было хлеба, бесплатно открыл двери своего дворца.

До пятисот человек в день ходили за пропитанием к епископу, и Альфонс распорядился, чтобы каждый получал в достатке, — так, чтобы затем возвращался домой с радостью. «Они просят то, что им уже принадлежит», — объяснял он своим сподвижникам, дабы побудить их к щедрости.

А между тем продавал ценные вещи, мебель, серебро, мулов и экипажи.

Священнослужителям и монахам он говорил, что, посреди этого бедствия, им следует есть ровно столько, сколько необходимо, чтобы не умереть с голоду: все остальное должно отдавать бедным.

И, невзирая ни на что, коченея от холода в своем соломенном кресле, он продолжал писать с тем, чтобы у его детей — служителей церкви и мирян — не было недостатка в хлебе Слова Божьего. Он написал даже «Инструкцию к мысленной молитве отроков», и это название многое говорит о его христианском взгляде на существование.

В 1768 году (в семьдесят два года) он сочиняет ту, что будет считать «самой благочестивой и самой полезной из всех своих работ»: речь идет об «Умении любить Иисуса Христа» (она выдержит более пятисот изданий) — книге, в которой нет ни одного определения любви, но есть описание любви в действии, и читатель применяет ее на практике по мере того, как продолжает свое чтение.

В этом и в других произведениях метод Альфонса упорно продолжает оставаться одним и тем же: за размышлениями (будь то даже размышления об аде — как было уже в «Вечных правилах») неизменно следует параграф «Молитвы и выражение любви»: усвоенная истина тотчас должна сделаться актом любви и молитвы.

Епископство легло невероятно тяжелым грузом на его сторбленные плечи. Он очень скоро начал умолять Папу избавить его от тягот епархии по причине его слабого здоровья, но Климент XIII ему отвечал: «Управляйте с постели». Его преемник, Климент XIV, велел ему передать, что епископом он может оставаться уже — только молясь, и, более того, «одна лишь молитва Монсиньора де Лигуори будет иметь больше действия, чем, если бы он сто лет ездил по епархии».

Его отставка была принята лишь в 1775 году (ему было семьдесят девять лет), и он, казалось, приободрился. Священники — даже те, что доставляли ему больше всего хлопот, — плакали. И были единомышленны, признавая: «Довольно было его имени, чтобы управлять епархией».

А один бедный крестьянин сказал: «Где мы теперь будем оставлять детей? Когда мы уходили в горы, то оставляли их во дворце Монсиньора и знали, что их было — кому накормить... Теперь, когда он нас покинул, к кому нам идти?»

Он удалился в дом, находившийся в Ночера деи Пагани, и как только он туда прибыл, велел петь *Te Deum* («Тебя, Бога, хвалим»), вздыхая: «Я больше не мог так жить... Теперь я будто попал в Рай».

Он прожил еще одиннадцать лет и по большей части провел их в написании новых трактатов по догматике, духовных текстов, брошюр для народного благочестия.

Когда же старость сломила его, и он не мог даже служить святую мессу, то он проводил по много часов перед дарохранительницей.

Иногда он просил, чтобы ему почитали что-нибудь. Он с большим вниманием слушал чтение страниц из «Прославления Марии», потом говорил: «Как чудесно! Что это за книга? Кто написал эти прекрасные страницы?» — «Вы, Монсиньор», — отвечали ему с улыбкой. И Альфонс говорил: «О, мой Иисусе, благодарю тебя, что ты дал мне писать так о Твоей Матери».

Порой к нему возвращались воспоминания о временах голода и тревожили его. Он прерывал свою крайне воздержанную трапезу и говорил: «Как? Я ем? А бедные?..» — и отодвигал от себя еду. Его успокаивали, объясняя, что в приходе бедным каждый день раздавали подаяние. Тогда он вновь начинал есть, но после нескольких глотков вновь повторял: «Я ем... А бедные?»

Тот, что твердой рукой и трезвым суждением направлял души ближних, был охвачен мучительными угрызениями совести и должен был вновь и вновь произносить определенные молитвенные формулы, выражающие надежду.

В конце июля 1787 года он проводил дни, время от времени, читая усердные молитвы. 29 июля он сказал: «Дайте мне Мадонну». Он сжал в руках образ, который ему подали, и в этот момент началась агония. Он задыхался, но порой улыбался образу и, казалось, разговаривал с ним вполголоса. Это длилось два бесконечных дня.

1 августа 1787 года при звоне колокола к полуденной молитве *Angelus* он скончался: в течение всей своей жизни, с детства до глубокой старости Альфонс опускался на колени при звоне колоколов, напоминавших о Воплощении, даже если в тот момент он находился на улице. Так же и в старости, больной артрозом, всякий раз он оседал на землю, а потом не мог сам подняться.

Но в тот последний день поднять его пришли ангелы.

Блаженные Франсиско и Хасинта Марто
Пастушки из Фатимы
(1908-1919 гг., 1911-1921 гг.)

В 1918 году, в конце первой мировой войны, страшная эпидемия гриппа (так называемая испанка) унесла жизни больше, чем все четыре года войны: за шесть месяцев умерло около двадцати миллионов человек.

И, разумеется, было огромное количество детей, которые познали смертную тоску, окруженные нежностью и беспомощностью своих близких; они переживали все это, будучи не в состоянии понять, что с ними происходит.

Среди них, однако, были двое, которые заболели, уже зная, что они должны умереть: они были напуганы, как и все остальные, и тем не менее почти желали долгожданной встречи, переживая свою драму с мистической глубиной, которая незнакома даже взрослым, но которая была им дана свыше; сознательно, хотя и по-детски присоединяя свои страдания к бесконечной драме искупления мира.

К этому их подготовила сама Святая Дева, явившись им близ селения под названием Фатима, что в Португалии.

Это были Франсиско и Хасинта Марто.

Мальчику было девять лет, а девочке — шесть, когда в 1917 году вместе с Лусией, их десятилетней двоюродной сестрой, они видели Богоматерь¹.

¹ Лусия еще была жива в юбилейном 2000 году, когда Церковь провозгласила блаженными ее маленьких родственников и друзей детства.

В своих постельках Франсиско и Хасинта страдали и умирали, как и другие дети их возраста. Но их притягивала к себе таинственная миссия. «Какие боли в груди! — признавалась Хасинта Лусии, и только ей, потому что та "знала", — но я молчу: страдаю ради обращения грешников». А Франсиско говорил, что он терпит все «из любви к нашему Господу и к Матери Божьей». Он говорил, что хочет «утешить их» за все обиды, которые причиняет им мир.

История явлений Богоматери в 1917 году должна здесь остаться на заднем плане, поскольку это лишь пролог «святости», которой эти двое детей ответили на полученную благодать, за весьма короткое время пройдя путь героической любви к Богу и к ближнему.

Тем не менее напомним о ее основных моментах.

В те годы в Португалии свирепствовало самое настоящее гонение на религию, направленное на то, чтобы отвратить страну от христианства.

Но об этом ничего не было известно трем пастушкам, что, играя, пасли свое стадо в Кова да Ирия, — маленькой долине конической формы.

Даже «Розарий», который они читали, следуя наставлениям родителей, часто был игрой: чтобы поскорее закончить, они перебирали четки, говоря лишь два слова «Радуйся, Мария» на каждом из десяти зерен и два слова «Отче наш» в начале каждого десятка.

Но вот однажды им явился Ангел и научил их такой молитве: «Боже мой, я верую в тебя, поклоняюсь тебе, надеюсь на тебя и люблю тебя. Прошу у тебя прощения за всех тех, кто не верит, не поклоняется, не надеется и не любит».

И с того дня дети стали часто повторять ее, порой «до изнеможения».

В другой раз прекрасный и лучезарный юноша представился им как «ангел-хранитель Португалии» (дети,

конечно же, не знали, что Библия говорит об «ангелах народов») и попросил у них маленьких жертв «ради искупления грехов и обращения грешников».

Затем он еще явился перед ними, держа в руках чашу и облатку и научил их такой молитве: «Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, я приношу вам драгоценное Тело, Кровь, Душу и Божество Иисуса Христа, живого во всех дарохранительницах мира, во искупление всего бесчестия, кощунства и безразличия, что оскорбляют Иисуса. И ради бесконечных заслуг его Пресвятого Сердца и непорочного сердца Марии прошу обращения несчастных грешников». Потом он дал облатку Лусии — единственной, что уже совершила первое причастие, и поднес чашу к губам Франсиско и Хасинты.

«Ангел дал тебе причастие, — сказал Франсиско Лусии, — а мне что он дал?» — Хасинта вмешалась, неввероятно счастливая: «Нам он тоже дал святое причастие... Разве ты не понял, что это кровь капала с облатки?» — «Я чувствовал, что Бог был во мне, — пояснил Франсиско, — но не знаю, какой он...»

И все трое простерлись на земле, чтобы повторять еще и еще ту молитву, которой научил их Ангел и которая запечатлелась в их сердце.

И наступило 13 мая 1917 года: в тот день на верхушке молодого каменного дуба явилась Святая Дева и, казалось, окутала их своим сиянием.

Здесь мы должны ненадолго остановиться, чтобы отметить чрезвычайное соответствие, которое часто наблюдается между необыкновенными дарами Бога и смиренной подготовкой, которую со своей стороны являют Его творения.

В самом деле, вся история будет развиваться вокруг Лусии, старшей из свидетелей появления Богоматери (и она должна будет оставаться хранительницей всех ее обращений до конца тысячелетия), но следует вспом-

нить, что девочка, не умевшая ни читать, ни писать, зато имела святую маму, которая каждый день обучала ее катехизису и рассказывала ей жития святых (она часто говорила: «Что за прелесть — эти жития святых!»); в результате девочка была настолько подготовлена, что смогла получить первое причастие в шесть лет. Это было неслыханно по тем временам.

Мама сама подвела девочку к алтарю, советуя ей: «Проси Иисуса, чтобы он сохранил твое сердце. Особенно же проси его, чтобы он сделал тебя святой».

Лусия будет вспоминать позже: «Как только священник дал мне божественную облатку, присутствие Бога стало для меня таким ощутимым, как будто бы я Его видела и чувствовала Его телесными чувствами. Тогда я обратила к Нему мои мольбы: "Господи, сделай из меня святой. Сохрани мое сердце всегда чистым, только для Тебя!" Здесь наш добрый Бог мне как будто бы сказал в глубине моего сердца: "Благодать, которую ты сегодня получила, будет жить в твоём сердце и произведет плоды вечной жизни..." Я чувствовала себя настолько преобразившейся в Бога, такой сытой хлебом ангелов, что после не могла принимать пищу...»

Порой мы воспринимаем рассказы о необыкновенных милостях (видениях, откровениях, чудесах...) так, будто бы их безвозмездность (а они зависят лишь от Божьей щедрости!) означает отсутствие всякой подготовки, и забываем, что необычайное часто предполагает обычную жизнь, прожитую необычным образом.

Так, на фоне истории Лусии и ее двоюродных братика и сестрички, привлеченных в ее орбиту (так же, как чувствовали себя привлеченными и многие дети их деревни), была эта «мама», умевшая мистически воспитывать своих детей. «Счастливая! Каких чудесных детей дал тебе Господь!» — говорили ей соседи.

И тем не менее эта женщина была столь серьезна и столь полна реализма, что она последней поверила в появления Богоматери: долго она будет обращаться с дочерью (младшей в семье) крайне жестко, будет даже бить ее, думая, что та говорит неправду; и долго она будет подавлена одной уже мыслью, что ее девочка могла из упрямства настаивать на первой лжи, которую сказала ради забавы. «Но мама, как я могу сказать, что не видела, если я видела?» — будет повторять ей Лусия, и женщина должна будет лишь уточнить: «Слушай меня как следует! Я хочу только того, чтобы ты сказала правду: если ты видела, то скажи, что видела, а если не видела, то признайся, что солгала».

Но Лусия и ее двоюродные братик и сестричка уже были уловлены той прекрасной и молодой Госпожой (от пятнадцати до восемнадцати лет, как говорили дети), которая их посетила.

«Из какой вы страны?» — был их первый наивный вопрос. И она ответила: «Я с неба».

Тогда каждый из них спросил: «А я попаду на небо?» — и всех она успокоила положительным ответом.

Потом видение посоветовало им вернуться на то место еще шесть раз, тринадцатого числа каждого месяца.

При последующих встречах история мало-помалу обрела свои характерные очертания, и вокруг детей разгорелись любопытство и насмешки со стороны многих односельчан, и даже преследования.

В обстановке господствовавшего масонства за жизнь детей действительно стоило опасаться.

Мэр селения даже отнял их у родителей — хотя они и были такие маленькие — и продержал их целую ночь в тюрьме среди преступников, чтобы их запугать (но ребяташки, хоть и сквозь слезы, читали «Розарий» вместе с заключенными!). Потом он их долго допрашивал по

одиночке с тем, чтобы поймать их на противоречиях, пытаясь добиться от них силой и обманом секретов, открытых им небом (о которых уже разнеслась молва!), запугивая их уверениями, что если они будут молчать и не откажутся от своего «вранья», то там, за дверью, их ждут самые страшные пытки, а потом смерть...

Но были и такие, кто на улице обзывал их и даже нападал на них; были те, кто бросал им смутные угрозы или прямо говорил, что их надо сжечь, как когда-то сжигали ведьм... И это не были пустые слова.

Печать (в том числе и центральная) смеялась над легковыми: трех пастушков выставляли припадочными и говорили о неких клерикальных интригах, направленных на дискредитацию республиканского правления или на организацию фабрики чудес и денег.

Кое-кто намекал, что все это — мистификация, подстроенная с тем, чтобы взвинтить цены на земли, на которых, якобы, были обнаружены термальные источники.

Уже 19 августа 1917 года (через несколько дней после того, как пастушки побывали в тюрьме) масонские ложи в присутствии всех так называемых «властей» организовали в Фатиме «Митинг пропаганды и протеста против клерикальных махинаций».

По случаю свидания в октябре (последнего, во время которого должно было явиться великое «знамение», обещанное Девой) говорили, что власти взорвут на том месте бомбу. Если это, возможно, было плодом чьей-то разыгравшейся фантазии, то детям угрожала вполне реальная и пугающая перспектива: что их разорвет на части разъяренная толпа в том случае, если после стольких обещаний ничего не произойдет. В самом деле, в тот день насчитывалось около шестидесяти тысяч человек, собравшихся для того, чтобы увидеть чудо.

За несколько дней до фатальной даты мать сказала Лусии: «Доченька, хорошо бы нам пойти исповедаться.

Говорят, что завтра в Кова да Ирия мы умрем... Если Мадонна не совершит обещанного чуда, люди убьют нас...»

О том, что произошло, свидетельствовали тысячи очевидцев, верующих и неверующих, крестьян и интеллигентов. В тот день шел проливной дождь, но после возгласа Лусии: «Посмотрите на солнце!» — все увидели, как солнце в течение десяти минут стремительно вращалось вокруг своей оси и приближалось к земле, рассыпая лучи всех цветов радуги и высушив всю ту долину, что прежде сделалась грязной лужей, и одежды паломников, промокших до костей.

То было одновременно чудесное и устрашающее видение. Ясновидящая после объяснила свой возглас тем, что в тот момент Дева обратила вверх ладони, от которых исходили лучи света, преломлявшиеся на солнце.

Газета «Сэкуло» 13 и 15 октября 1917 года вышла с двумя статьями главного редактора, известного атеиста и сектанта, который вынужден был так назвать свою хронику: «Полная сверхъестественность: появления в Фатиме» и «Поразительные события: полуденный танец солнца в Фатиме».

Нечего и говорить, что другие сторонники свободомыслия, не присутствовавшие при необыкновенном явлении, осмеяли его.

Дней через десять предметы культа, находившиеся в Кова да Ирия, были осквернены и разграблены так называемыми «свободомыслящими».

Они хотели выкорчевать и каменный дуб, на верхушке которого явилась Богоматерь, но во мраке ночи ошиблись деревом, а в соседнем городе была организована пародия на ночной крестный ход с непристойным пением и речами, перемежавшимися с богохульством. На церковнослужителей Фатимы обрушились новые жесто-

кие преследования, а правительство продолжало издавать распоряжения с целью прекратить поток паломников.

Ночью 6 марта 1922 года маленькая часовня, построенная на месте появлений, была взорвана: были заложены четыре бомбы, сравнявшие все с землей, не взорвалась лишь одна — под каменным дубом, который цел и по сей день.

Когда это случилось, уже прошло несколько лет после смерти двух маленьких ясновидящих, но кое-кто говорил, что это попы убрали их, чтобы они, когда вырастут, не разоблачили комедию, в которую простодушно дали себя втянуть.

Если мы слишком долго распространяемся по поводу этих отвратительных подробностей, не говоря почти ничего о содержании самих явлений Богоматери, то это потому, что пояснения были необходимы для понимания как диалогов, которые Богоматерь вела с детьми, так и страдающей серьезности, с которой двое невинных детишек в едином порыве предложили себя для искупления вины «грешников», чтобы «спасти их от ада».

Эти слова (эта «реальность»!) могут показаться нам расплывчатой и банальной духовной проблемой и вызвать лишь неопределенные образы и ощущения, если мы прежде не поймем, что дети знали (так как взыхали его с воздухом, который их окружал, — как злобу и осквернение), что такое этот «грех», что такое этот «ад» и та «скорбь Бога», о которых говорила Дева.

Они поняли это «как дети», и они поняли это потому, что «были детьми»: они поняли это потому, что мир тут же попытался облить грязью их невинность, но прежде всего они поняли это, слушая печальные речи их прекрасной небесной матери.

То, что Богоматерь открывала им, не имело своей целью дать миру пророков: бóльшая часть откровений то-час же была окутана тайной.

Тайной, которую должны были унести с собой в могилу двое младших (а значит, она имела отношение лишь к их внутреннему созреванию в вере) и которую Лусия начала раскрывать лишь отчасти и постепенно, согласно недвусмысленному велению Небес: первый секрет она открыла десять лет спустя после этих событий, второй — около двадцати пяти лет спустя, а третий был доверен Церкви и остался таковым до наших дней.

Если мы напоминаем об этом, то вовсе не с целью возбудить напрасное любопытство, а чтобы подчеркнуть только что сказанное: главной заботой Неба было не довести до нас эти послания (к тому же, многие из них остались неслышанными даже после того, как были открыты миру), а иметь на земле три сердца, бившихся в унисон с любящим Сердцем Христа и с непорочным Сердцем Марии.

Следовательно, теперь мы ограничимся лишь переживаниями Франсиско и Хасинты — детей, у которых на земле было время лишь для того, чтобы полностью, с невероятной щедростью раскрыть свое сердечко Любви, которая изливалась свыше и вовлекала их в сильнейшую «страсть».

Во время их шести встреч Дева дала трем пастушкам фундаментальный опыт и личное призвание для каждого. Фундаментальный опыт они приобрели уже во время первой встречи, когда Богоматерь спросила детей: «Хотите ли вы пожертвовать себя Богу, чтобы терпеть все страдания, которые Ему угодно будет вам послать для искупления грехов, оскорбляющих Его, и принести ему ваши страдания, как мольбу об обращении грешников?»

Нам нелегко понять и принять тот факт, что Мать может требовать этого от своих деток, да еще и во имя небесного Отца.

Все это заставляет пересмотреть наш взгляд на Бога, наше понимание Его бесконечной доброты и Его милосердия, наше представление о спасении людей.

Это говорит о том, что основное таинство нашей веры («Бог посылает своего Сына Иисуса на мучение из любви к нам») поставлено в центр истории так, что оно присоединяет к этой страсти и других невинных сынов и дочерей, которые идут на это добровольно.

В замысле Бога, нашего Отца, нет пропасти, пролегающей между распятым и воскресшим Сыном с одной стороны и массой грешников с другой, но между ними поставлены те, кто заранее избавлен от греха и призван обнять крест Иисусов из чистой любви, добровольно взять его на свои плечи и сделать так, чтобы он воссиял в мире: это Божьи святые, и прежде всего те, что сочетают в себе «страдание и невинность», как истинные «агнцы Божьи», взимающие вместе с Иисусом грехи мира.

Эти «страсти», эти «мучения» по природе своей схожи со всеми другими человеческими страданиями, но они обладают качеством, нам незнакомым: они обладают ценностью, истинностью, наивысшей сладостностью, судить о которых может лишь тот, кто принял их добровольно.

Святые, вовлеченные таким образом в страсть Христову, ни на что в мире не променяли бы свои страдания, и они поражают нас, являя некую «жажду страданий», которая возмущает нашу слабость и наш здравый смысл.

Мы видим, как это таинство свершается именно с подобными качествами в наших детишках с того момента, как они произнесли свое детское: «Да, хотим!»

«Тогда вам придется много страдать, — продолжала Дева, — но благодать Божья будет вашим утешением».

И это не были только слова.

Лусия вспоминает: «Произнося эти последние слова, (Госпожа) в первый раз раскрыла ладони, сообщая нам такой яркий свет, похожий на отблеск, исходящий от них, что он проник нам в грудь и в самую глубину души,

позволив нам увидеть самих себя в Боге — который был этим самым светом — яснее, чем мы видим себя в самом прозрачном зеркале».

«Видеть себя в Боге», — значит, любовь, милосердие Божие состояли в этом: не в том, чтобы избавить детей от страдания, а в том, чтобы погрузить все в безграничную радость.

Так же и при втором своем появлении Святая Дева пролила на пастушков «тот великий свет, в котором мы видели себя как бы погруженными в Бога», но на этот раз луч, что падал на Лусию, казалось, распространялся по земле, тогда как тот, что падал на Франсиско и Хасинту, восходил к небу.

И дети поняли, почему Она сказала Лусии: «Хасинту и Франсиско я скоро возьму с собой. А ты останешься здесь... Иисус хочет, чтобы с твоей помощью люди узнали и полюбили меня. Он хочет утвердить в мире почитание моего Непорочного Сердца».

А при третьем появлении Богоматерь обратила ладони к земле: свет, исходивший от них, казалось, пронзил ее кору, и на один миг явилось море огня, полное дьяволами и проклятыми. Дети устояли перед этим ужасом только благодаря нежности голоса Марии, говорившей не только об этом окончательном аде без надежды, но и том, который люди готовили на земле: одна страшная война только что закончилась, и должна разразиться другая, еще более ужасная; на Церковь обрушится гонение нового чудовища (ссылки на большевистскую Россию были недвусмысленны) и будут уничтожены целые народы...

По поводу всего этого Госпожа продолжала требовать молитв (прежде всего Розарий) и «жертв за грешников»: необходимо было бороться с адом.

В последнем видении — том, во время которого произошло чудо с солнцем, Дева сначала явилась со святым

Иосифом и Младенцем Иисусом, благословлявшим мир; затем, в двух последующих «картинах» она явилась как «Скорбящая» и как «Кармильская Богоматерь», в соответствии с бывшими в ходу ее изображениями.

Вот каковы были общие переживания, данные трем пастушкам, но многие откровения и многие «секреты» были адресованы Лусии, которая в момент, установленный небом, должна была явить их миру.

Что же касается Франсиско и Хасинты, то им оставалось мало времени: лишь для того, чтобы предаться тому особому «призванию», которое было дано каждому из них в соответствии с их различными характерами.

Франсиско с головой бросится в свою миссию «утешать Бога». Хасинта все более будет погружаться в желание спасти людей от опасности ада, — того ада, что напугал ее, такую маленькую и нежную, не только муками, которые она там увидела, но еще более своей «непонятностью»: она не могла успокоиться.

Часто говорят, — и это так верно! — что «благодать не разрушает натуру, а очищает ее, возвышает и совершенствует», и это очевидно в личной истории обоих детей.

Франсиско

Ему было девять лет в момент появления Богоматери, он был мечтателем и поэтом, но у него был слишком податливый характер.

«Ну и что, а мне все равно» — такова была его обычная реакция, когда он терпел поражение в игре («он всегда проигрывал!»), или когда он должен был что-то выбрать, или когда его лишали какого-либо его права.

Лусии он из-за этого скорей не нравился. Часто он замирал очарованный, созерцая рассвет или закат, или

с восторгом следил за игрой света на стекле, на воде, на деревьях, на горах.

Он играл с ящерицами и с ужами, отыскивал норы лис и кроликов или дикий мед.

Часто он крошил птичкам свой хлеб и не терпел, когда трогали гнезда. Порой он подражал щебетанию птиц, и это ему удавалось в совершенстве.

Он не выносил вида больных или страдающих людей из-за слишком большого огорчения, которое он от этого испытывал.

Он по-настоящему оживлялся только, когда его просили что-нибудь спеть: у него был изрядный репертуар романсов и песен горцев (скорей грустных), и он сам аккомпанировал себе на чем-то вроде свирели. Что касается религиозной точки зрения, то он не был слишком набожным.

Возможно поэтому Богоматерь сказала ему, что «да, он попадет на небо, но прежде должен прочесть много Розариев» (и Франсиско после прокомментировал: «О, Мадонна! Розариев я прочту сколько вам угодно!»).

Видения и откровения оставили в нем глубокий след, запечатлевшийся неизгладимым образом.

Если много он и не понимал («Кто такой — Всевышний? Что означает: «Сердца Иисуса и Марии внимают молениям?» — спрашивал он у Лусии и потом долго размышлял над полученными ответами), то было нечто такое, что навсегда поглотило его.

Рассказывает Лусия: «Франсиско как будто бы меньше нас был поражен видением ада, хотя и у него оно вызвало достаточно сильные чувства. То, что больше всего производило на него впечатление или поглощало его, — это был Бог, Пресвятая Троица в том бесконечном свете, который проникал в нас до глубины души. После он говорил: "Мы горели в том свете, который —

Бог, и не сгорали! Какой Он — Бог?.. Неизвестно!.. Это уж точно мы никогда не сможем сказать. Но как жаль, что Он такой грустный! Если бы я мог Его утешить!"»

То, что Бог и Дева могли быть такими грустными, не давало ему покоя.

Он говорил своей двоюродной сестре: «Ты не заметила, что Мадонна в последний месяц была такая грустная, когда просила, чтобы грешники больше не обижали Бога, который и так уже очень обижен? Я хотел бы утешить нашего Господа, а потом обратить грешников, чтобы они Его больше не обижали».

И с этой целью он начал приносить «жертвы любви и искупления», о которых просила Дева.

«Как нам приносить жертвы?» — спрашивали друг у друга трое детей, которые и само-то значение слова понимали с трудом.

Первую жертву изобрел Франсиско, следуя своему увлечению животными: отдадим наш завтрак овцам! И для них это был первый день поста. Потом они поняли, что лучше отдавать завтрак маленьким нищим. Вместо него они жевали то, что им удавалось найти: семена из сосновых шишек, съедобные цветы, чернику, грибы, желуди, изредка какой-нибудь плод. Потом они сделали открытие, что крапива обжигает и так может служить для покаяния. Затем, хотя они никогда об этом не слышали, они научились плести грубые веревки и туго завязывать их себе на бедра, как власяницу.

Но самым большим страданием были преследования и бесконечные допросы.

Франсиско и Хасинту защищали родители. А Лусию презирали и били даже дома, и это было для детей еще хуже.

Но Лусию поддерживал Франсиско: «Не обращай внимания! — говорил он ей. — Разве Мадонна не сказала, что мы должны много страдать, чтобы загладить перед

нашим Господом и Его Непорочным Сердцем все те грехи, которые их обижают? Они такие печальные! Если этими страданиями мы можем их утешить, то мы должны радоваться».

Это была его «навязчивая идея». Когда трое ясновидящих оказались в тюрьме и не смогли пойти на назначенную встречу, у него была одна забота: «Может быть, Мадонна огорчилась оттого, что мы не пришли...» Но больше всего его волновала печаль Бога!

Дева обещала, что при последней встрече, в тот заранее предсказанный день 13 октября вновь появится сам Иисус, и Франсиско нетерпеливо комментировал: «Не могу дожидаться, когда наступит 13 октября, чтобы еще раз увидеть нашего Господа. Послушай, а он опять будет грустным? Мне так жаль, что он такой грустный. Я приношу все жертвы, какие только могу. Иногда я не убегаю больше от этих людей (которые осаждали и допрашивали их), чтобы принести жертву».

Когда они вновь стали гонять овец на пастбище, Франсиско часто отходил в сторону, чтобы читать свои Розарии. «Разве ты не помнишь, Мадонна сказала, что я должен читать много Розариев! — говорил он, когда его звали играть, и объяснял: — Я хочу поскорее попасть в рай, поэтому чем раньше я прочитаю столько Розариев, сколько полагается, тем будет лучше для меня».

Время от времени он исчезал: «Да что ты делаешь все это время?» — спрашивали его девочки, когда обнаруживали его за оградой или за кустами, где он прятался.

«Думаю о Боге, что Он такой грустный из-за грехов! Если бы я мог дать Ему немного радости!» — отвечал он.

Тогда ему предлагали помолиться вместе, но он возражал: «Мне больше нравится молиться одному, чтобы думать и утешать нашего Господа, Он ведь такой грустный!»

Иногда двое детей старались поделиться друг с другом своими личными заботами: «Не забудь жертвы за

грешников...» — советовала ему Хасинта, а Франсиско возражал: «Конечно, конечно, только сначала я принесу жертву, чтобы утешить нашего Господа и Мадонну». И если видел, что сестренка слишком опечалена, он ободрял ее: «Не думай слишком много про ад! Подумай о нашем Господе и о Мадонне...»

Его очаровывало воспоминание о том божественном свете, в который он когда-то оказался погружен.

«Мне очень нравилось смотреть на нашего Господа. Но мне еще больше нравилось видеть Его в том свете, который Мадонна пролила нам в сердце. Я так люблю Бога! Но Он очень грустный из-за стольких грехов. Мы никогда не совершим ни одного!»

Болезнь уже началась. Лусия пошла в школу; туда хотели отправить также и Франсиско, только он часто сворачивал к церкви и говорил своей двоюродной сестре:

«Я буду здесь, в церкви, рядом с невидимым Иисусом. Зачем мне учиться читать, я ведь скоро попаду на небо...» Он ходил туда и для того, чтобы выполнить обещания, данные многим паломникам, которые просили его молиться за них.

К ясновидящим обратилась бедная женщина, которая была в отчаянии, так как арестовали ее сына: «Пока ты будешь в школе, — сказал Франсиско Лусии, — я пойду к невидимому Иисусу и попрошу Его об этом деле».

Они встретились в полдень:

«Ты попросил Его об этой милости?»

«Да, скажи ей, что через несколько дней ее сына отпустят домой...»

Когда Франсиско тяжело заболел, как и многие другие дети того времени, он уже твердо решил «терпеть все без единого стога и без единой жалобы».

И когда он испытывал отвращение к лекарству или к еде, — тем, кто ухаживал за ним, невозможно было догадаться об этом.

Он был очень молчалив; подолгу разговаривал только с Лусией или с сестренкой.

«Сходи в церковь, — говорил он своей двоюродной сестре, — и передай от меня большой привет невидимому Иисусу. Я больше всего страдаю оттого, что не могу больше пойти и побыть немного с невидимым Иисусом».

Часто Лусия просила его: «На небе не забудь молиться за грешников, за Папу и за меня...» — «Послушай, — отвечал он, — попроси об этом Хасинту. Я боюсь об этом забыть, когда увижу нашего Господа, и потом, я ведь сначала хочу Его утешить...»

Наконец он получил благодать причаститься на своем смертном одре и, чтобы как следует подготовиться, позвал Лусию и спросил у нее, видела ли она, чтобы он в чем-то согрешил. Потом он послал ее спросить об этом Хасинту.

Сестренка послала передать ему, что видела: однажды он был непослушным, а в другой раз украл у отца десять сантимов, чтобы купить себе гармошку, а еще вместе с другими мальчишками бросал в кого-то камни...

Все это случилось несколько лет назад... «Эти грехи я уже исповедал, — сказал Франсиско, — но я исповедую их еще раз. Может быть, как раз ими я так огорчил нашего Господа...»

Как-то раз Лусия нашла его очень радостным.

«Тебе лучше?» — спросила она.

«Нет, мне намного хуже. Теперь мне уже немного осталось, и я попаду на небо. Там я очень утешу нашего Господа и Мадонну. Хасинта будет много молиться за грешников, за Святого Отца и за тебя, а ты останешься здесь, потому что этого хочет Мадонна. Послушай, делай все, что она тебе скажет!»

В первые месяцы 1919 года его состояние быстро ухудшалось... «Читайте за меня Розарий, потому что я не

могу больше его читать...» — попросил он в последние дни Лусию и Хасинту.

4 апреля 1919 года, когда не прошло еще и двух лет с момента появления Богоматери, он воскликнул: «Мама, посмотри, там, у дверей: какой красивый свет...» — и скончался.

Ему не было еще и одиннадцати лет.

Хасинта

В шесть лет она была живой и слишком обидчивой девочкой, а также восторженной и капризной: от какой-нибудь шутки она могла дуться три часа: чтобы ее успокоить, надо было позволить ей командовать в игре и выбирать себе товарищей, которых она хотела. И никто не смог бы отнять у нее то, что она выигрывала: будь то камешки или пуговицы от кофточки Лусии.

Она любила танцевать — танцевать безудержно и до изнеможения, но трепетала также и в духе. Особенно повествование о страстях Иисуса трогало ее до слез: «Бедный наш Господь, — говорила она Лусии, рассказчице, — я не хочу совершить ни одного греха. Не хочу, чтобы Господь еще страдал».

Когда она стала ходить с Лусией на пастбище со своим маленьким стадом, то ее любимым развлечением было громко выкрикивать разные имена, чтобы услышать эхо, которое ей отвечало. Она сделала вывод, что лучше всего звучало имя Мария, и так лощина часто звенела этим радостным призывом: это еще не была молитва, но с неба, возможно, ее уже слышали.

Потом она сидела с каким-нибудь ягненочком на коленях, обнимая и гладя его, а вечером несла одного из ягнят на руках, чтобы он не утомился.

Раз она принялась расхаживать посреди стада: она говорила, что хочет быть, как наш Господь, — тот, что на образке Доброго Пастыря, который ей подарили.

После первого появления Богоматери она была счастлива оттого, что «видела красивую Госпожу», и оттого что та пообещала ей небо, но она была обеспокоена, ибо не знала, что такое «приносить жертвы».

В тот момент проблему решил Франсиско, предложив отдавать завтрак овечкам. Но был и еще один вопрос, который не давал ей покоя, и она задала его Лусии: «Та Госпожа сказала, что многие души идут в ад! Что такое ад?»

Лусия предала ей все то, что мама рассказывала ей по этому поводу, но Хасинта никак не могла понять: «И оттуда никогда больше нельзя выйти?»

«Нет».

«Даже через много-много лет?»

«Нет, ад никогда не кончается...»

Так две девочки впервые созерцали вечность.

Потом они вернулись к играм, но Хасинта по-прежнему терзалась в душе: «Но послушай, значит через много-много лет ад все еще не кончится? И те люди, которые там горят, никогда не умирают? А если мы будем много молиться за грешников, наш Господь освободит их оттуда? Бедненькие! Мы должны принести много жертв...»

И вот, во время второго появления ей на один страшный момент показали тот самый ад со всем его ужасным реализмом. Она была потрясена.

Но она раз и навсегда усвоила, что молитвами и жертвами можно спасти грешников, избавить их от ада.

Конечно же, она была еще не в состоянии отличить тех, кто уже был проклят от тех, кто мог погубить свою душу (кроме того, подобное различие не было темой от-

кровения): она лишь поняла, что ее молитвы и жертвы могли «избавить грешников от ада», и полностью посвятила себя этому, со всем своим детским упрямством.

Когда она видела, что Лусия страдает от домашних скандалов, то напоминала ей: «Ты сказала Иисусу, что это ради любви к нему?». И если двоюродная сестра отвечала отрицательно, то она тут же молитвенно складывала ручки и говорила, обратив взгляд к небу: «Тогда я это сделаю: "О Иисус, это ради любви к тебе и ради обращения грешников"».

Иногда, подумав немного, она говорила:

«Как много людей попадает в ад! Как много их попадает в ад!»

«Не бойся, — возражала Лусия, чтобы успокоить ее, — ты попадешь не небо!»

Но она отвечала:

«Да, я туда попаду, но хочу, чтобы и они тоже попали».

Она пользовалась любой возможностью: отказывалась пить, когда испытывала жажду, не ела фиги и виноград, которые очень любила. Она тоже носила на поясе свою примитивную власяницу и так затягивала ее, что ей было действительно очень больно. Однажды во время игры она случайно прикоснулась к кусту крапивы, тут же отдернула руку, а потом еще сильнее схватила эту жгучую траву, говоря Лусии и Франсиско: «Посмотрите-ка! Вот чем мы еще можем себя умерщвлять!»

Она первой поняла, что такой возможностью было и не избегать людей, приходивших к ним с настойчивыми вопросами, не убегать и не прятаться от них (как они привыкли делать): «Я не буду прятаться, — говорила она, — хочу принести нашему Господу эту жертву».

Иногда она отказывалась от еды, «чтобы искупить грехи тех, кто ест слишком много». Порой, когда она уже была больна, с трудом волоча ноги, она ходила к

мессе даже в будние дни — «за грешников, которые не ходят к мессе и в воскресенье».

Такая маленькая, она жила мистической жизнью и, сама того не зная, испытывала необыкновенные явления.

«Я так люблю нашего Господа и Мадонну, что никогда не устаю говорить им, как я их люблю. Мне так нравится говорить Иисусу, что я Его люблю! Когда я много раз это Ему повторяю, мне кажется, что у меня в сердце огонь, только он меня не жжет».

Она признавалась Лусии: «Я не знаю, как это получается! Я чувствую в себе нашего Господа, понимаю, что́, Он мне говорит, только не вижу и не слышу Его, — но с Ним так хорошо!».

Она заболела, и ее поведение во всем походило на поведение брата: она старалась никогда не жаловаться и превращать все в жертву.

«Я терплю все ради обращения грешников и чтобы загладить обиды, которые причиняют Непорочному Сердцу Марии», — говорила она Лусии и добавляла: «Я хочу, чтобы никто не знал о моих жертвах, они принадлежат только Иисусу и Марии». Поэтому, когда она не могла больше носить власяницу на слишком исхудавшем тельце, то тайком отдала ее Лусии, чтобы та ее сожгла.

Однажды она сказала Лусии: «Я не могу больше встать с кровати и поклониться до земли... потому что падаю. Приходится стоять на коленях». До последнего она пыталась преклоняться, как ее научил ангел. И успокоилась лишь тогда, когда ей сказали, что Господу угодна ее молитва, даже если она остается лежать в постели.

Но даже и так ее преследовало желание чем-нибудь пожертвовать.

«Сегодня ночью мне было очень плохо, и я решила принести нашему Господу жертву тем, что не поворачивалась в постели».

Она всегда была сосредоточена. Она говорила: «Я думаю о нашем Господе, о Мадонне, о грешниках, о войне, которая будет... будет столько разрушенных домов, убьют столько священников... как жаль!»

Лусии она доверяла все: «Я так люблю Непорочное Сердце Марии. Это сердце нашей небесной мамочки! Разве ты не любишь повторять много-много раз: "Нежное Сердце Марии!", "Непорочное Сердце Марии"? Мне это очень, очень нравится», — и так советовала ей: «Никогда не выдавай секрет, даже если бы тебя хотели убить. Очень люби Иисуса и Непорочное Сердце Марии и приноси много жертв за грешников».

И когда она знала, что ее двоюродная сестра только что причастилась, то умоляла ее: «Иди сюда, поближе ко мне, сейчас в твоём сердце — невидимый Иисус».

Ей подарили изображение Святого Сердца. «Какое некрасивое!» — сказала она, вспоминая о прекрасном лице, который ей довелось созерцать. Потом успокоилась: она подносила изображение к губам и говорила: «Я целую его в сердце — это то, что мне больше всего нравится!».

Она была самой младшей: она много возлюбила, и от нее много требовали.

Однажды со своей постели она попросила, чтобы к ней поскорее пришла Лусия, и рассказала ей: «Ко мне приходила Мадонна. Она говорит, что очень скоро придет за Франсиско, чтобы взять его на небо, а у меня спросила, хочу ли я обратить еще и других грешников. Я сказала, да. Она мне сказала, что я попаду в больницу и что там мне будет очень плохо... Я спросила, пойдешь ли ты со мной. Она сказала, что нет. Это для меня хуже всего. Она сказала, что в больницу меня проводит мама, а потом я там останусь одна!».

Она замолчала, явно страдая, потом добавила: «Если бы ты пошла со мной! Для меня хуже всего то, что я

попаду туда без тебя. Наверное, больница — это очень темный дом, где ничего не видно, и я там буду одна, и мне будет так плохо! Но это неважно, я буду терпеть из любви к Господу, чтобы утешить Непорочное Сердце Марии, чтобы обратить грешников и за Святого Отца».

И она приготовилась встретить лицом к лицу то одиночество, что так пугало ее.

Когда Франсиско был при смерти, она дала ему это поручение: «Передай большой привет Господу и Мадонне. Скажи им, что я буду терпеть все, что они захотят, чтобы обратить грешников».

Началась ее Голгофа: ее отвезли в больницу, там она пробыла два месяца и была выписана оттуда в еще худшем состоянии, чем поступила.

Потом в Фатиму прибыл выдающийся врач, который убедил ее родителей отправить девочку в Лиссабон, чтобы подвергнуть ее сложной хирургической операции.

Она уезжала в слезах: «Я умру одна», — повторяла она.

«Не думай об этом», — говорила Лусия. Она отвечала: «Я должна об этом думать. Я хочу страдать из любви к Иисусу и к грешникам».

Она целовала Распятие и повторяла ему: «Иисус, я люблю тебя и хочу много стардать из любви к тебе. Теперь ты можешь обратить много грешников, потому что это очень большая жертва».

Ей пообещали, что ее приютит у себя одна богатая семья, но та богатая семья, увидев, в каком состоянии находилась больная, отказалась ее принять. Она попала в сиротский приют и была счастлива, так как это был приют «Фатимской Богоматери». Да и настоятельница приюта стала для нее настоящей матерью, дав ей всю ту нежность, в которой девочка нуждалась. Кроме того, Хасинта была счастлива еще и потому, что могла каждый день получать «невидимого Иисуса».

Затем из Лиссабона она передала Лусии, что Богоматерь часто приходит к ней. В самом деле, настоятельница рассказывала, как однажды она пришла навестить девочку, лежавшую в постели, но Хасинта сказала: «Приходите после, матушка, сейчас я жду Мадонну».

Но ей пришлось расстаться и с этим последним гнездышком, когда ее перевели в больницу для операции, которую делали под местной анестезией из-за чрезвычайной слабости пациентки и которая оказалась очень болезненной.

Когда ей уже совсем невольно было терпеть, она вдруг успокоилась. Она сказала: «Мадонна пришла ко мне и избавила меня от боли».

Через десять дней после операции, которая, по мнению врачей, прошла очень удачно, она скончалась в присутствии одной лишь медсестры, ухаживавшей за ней. Ей было всего десять лет.

«Рядом с ней, — свидетельствовала после Лусия, — я испытывала то, что испытываешь в присутствии святого человека, который, кажется, во всем сопричастен с Богом».

Когда в 1935 году производилось частичное опознание тела, ее нашли нетленной, как будто бы Дева сохранила ее даже во мраке могилы.

И вот теперь, чтобы все мы, как дети, исполненные веры и любви, могли вступить в третье тысячелетие христианской эры, Церковь дает нам в качестве покровителей Хасинту и Франсиско Марто — пастушков, которые видели Богоматерь и тотчас же научились любить Бога всем сердцем и вместе с Иисусом приносить себя в жертву ради спасения мира.

Святая Фаустина Ковальска
(1905-1938 гг.)

«Современный образ мыслей имеет тенденцию к вытеснению из жизни и к изгнанию из человеческого сердца самой идеи Милосердия. Слово и понятие «Милосердие» как будто бы ставят в неловкое положение человека, который, благодаря высочайшему развитию науки и техники, неизвестному прежде в истории, сделался хозяином и покори́л и подчинил себе землю» (*Dives in Misericordia*, 2).

Эти слова Иоанна Павла II напоминают нам, что «Милосердие», это — имя, которое принимает Любовь, когда человек открывает для себя не только то, что он сын, но и то, что он — сын, который сделал себе больно, сын, отчаянно нуждающийся в Боге, — Отце и Матери одновременно — который бы склонился к нему, поднял бы его и прижал бы его к своему сердцу.

До тех пор, пока человек уверен, что он создал себя сам и что он может продолжать надменно порождать самого себя, он неспособен обратиться к Богу и, еще более, неспособен просить о милосердии: само это слово раздражает его, так как оно заставило бы его признать свои падения, неудачи и грехи.

Однако противоречие не ограничивается этим уровнем: противоречие заключается и в том, что когда опыт страдания, зла, отчаяния — как в истории человечества, так и в личной истории каждого — становится очевидным, человек, тем не менее, все еще неспособен надеяться на Милосердие, неспособен желать его.

Ибо в этом состоит полный драматизма секрет Милосердия: что желает его и призывает его в момент поражения лишь тот, кто видел его в действии и с благодарностью созерцал его уже в момент радости и победы.

«Все есть благодать», «все есть милосердие», в том числе и тот факт, что человек живет, создает и приносит плоды.

Если мы окинем взглядом этот, едва закончившийся, двадцатый век, то он покажется нам бесконечным призывом Божьего Милосердия.

С самого начала он обещал быстрый прогресс и безудержный рост во многих сферах человеческого общества, но уже можно было смутно предугадать также и все те ужасные трагедии, которые впоследствии и произошли.

Теперь мы знаем, что это был также и один из самых жестоких и бесчеловечных веков нашей истории.

Так вот, именно этот век полностью отмечен скрытой от всех, но все более сияющей судьбой смиренного и неизвестного создания, которому Бог пожелал доверить возобновленное благовестие своей Милосердной Любви.

Елена Ковальска родилась в 1905 году (она была третьей из десяти детей), в Глогове, польском городке, название которого напоминает о шиповнике (глог). Ее отец, бедный плотник, по ночам выполнял заказы городской управы с тем, чтобы днем ухаживать за скотом и работать на земле своей маленькой фермы.

Девочка росла веселой, но время от времени у нее случались некие «видения» и «внутренние диалоги», которые взрослые принимали за грезы наяву.

В хозяйстве Елене было поручено гонять коров на пастбище, и порой ее огорчал тот факт, что не всегда у нее было хорошее платье для воскресной мессы.

К двенадцати годам ей удалось закончить два класса начальной школы, — этого довольно, чтобы научиться

читать и писать, — а затем ей стали искать место прислуги.

В пятнадцать лет она сказала своим домашним, что должна стать монахиней: для нее это необходимость, а для отца — несбыточная фантазия. В то время в Польше невозможно было стать монахиней без приданого.

«Где я его возьму?» — раздраженно отвечал отец, зная, что не имеет ничего, кроме долгов.

Получив столь категорический отказ, она последовала советам тех, кто говорил ей, что она должна отвлечься, а для бедной девушки это означало — ходить на танцы по воскресеньям, чтобы немного забыться в увеселениях.

«Я внутренне избегала Бога и всей душой бросилась к его созданиям», — будет впоследствии рассказывать та, что стала сестрой Фаустиной.

В результате часто, в самый разгар праздников она чувствовала в своей душе неопишемую муку.

И как-то раз, когда противоречия были особенно сильны, с ней случилось то, о чем мы читаем в житиях многих святых: «Как только я начала танцевать, я увидела рядом с собой Иисуса, измученного, раздетого, покрытого ранами, который сказал мне такие слова: "До каких пор я должен тебя терпеть? До каких пор ты будешь меня обманывать?"»

Смолкла музыка, разошлись танцоры, и она осталась одна, лицом к лицу со своим страдающим Богом. Она убежала оттуда, пришла в собор городка в тот безлюдный час и упала перед Святыми Дарами, распростершись по земле и раскинув руки крестом.

«Что ты хочешь от меня? Что мне делать?» — спросила она.

«Немедленно уезжай в Варшаву и там поступи в монастырь».

Она уехала, ничего не сказав родителям, ничего не взяв с собой, доверившись только сестре. У нее было

немного денег — чтобы купить билет на поезд — и внутренний голос, который вел ее.

В Варшаве она обратилась к одному священнику, и тот охотно выслушал ее: как раз в те дни мать шестерых детей попросила его найти ей девушку для помощи по дому. Он послал туда Елену и больше о ней не вспоминал.

Так она попала в хорошую семью, где дети скоро полюбили эту веселую молодую крестьянку с рыжими волосами, которая никогда не уставала ни работать, ни играть с ними.

Это место, по крайней мере, дало Елене надежную крышу над головой и возможность продолжить поиск подходящего монастыря, только никто о ней и знать не желал. Она просила о встречах с настоятельницами различных заведений, но едва речь заходила о приданом, как двери закрывались перед ней. У бедняжки не было не только приданого, но даже и личных вещей: лишь то жалкое платьице, что было на ней надето, да к тому же у нее не было совершенно никакого образования.

Ее не хотели взять даже в прислуги.

«Мне везде отказали, — рассказывает она. — Горе сжало мне сердце, и я сказала Иисусу: "Помоги мне, не оставляй меня одну!"»

Ей было уже двадцать лет, когда она пришла в монастырь «Сестер Божьей Матери Милосердия». Настоятельница спустилась в комнату для свиданий, посмотрела на нее через приоткрытую дверь и заключила, что не стоит ее и слушать. Потом ей захотелось проявить человеколюбие, и она решила задать ей хотя бы несколько вопросов...

После краткого диалога, повинувшись странному внутреннему побуждению, монахиня сказала девушке: «Пойди, спроси у Хозяина дома, хочет ли он тебя!» Трудно объяснить смысл подобного приглашения. Много лет спустя окажется, что настоятельница совершенно забы-

ла об этом эпизоде. Но Елена сохранила его в своем сердце: «Я с великой радостью пошла в часовню и спросила у Иисуса: "Господин этого дома, ты хочешь меня здесь?" — и тотчас же услышала голос, говоривший мне: "Да, хочу, ты — в моем сердце!" Когда я возвратилась, мать-настоятельница спросила у меня: "Что ж, принял тебя Господь?" Я ответила положительно. "Если Господь тебя принял, то и я принимаю"».

Никогда еще ни одну послушницу не приняли столь странным образом и с такой легкостью, хотя и условились, что Елена должна еще год оставаться в услужении, чтобы собрать деньги на небольшое приданое.

Однако, ее хозяйка, отчасти потому, что не хотела ее потерять, а отчасти потому, что не испытывала особого уважения к религиозному призванию, принялась строить для своей подопечной планы замужества, но Елена только страдала от этого, ибо у нее уже был Жених, не оставлявший ее в покое: «Все более сильная тоска завладевала мной... Я чувствовала, что мое сердце так бесконечно, что заполнить его мог только Бог. Поэтому я обратилась к нему с душой, иссушенной от тоски».

И когда сердце уловлено этой «тоской», остается лишь одно: то, что однажды сделала Елена во время вечернего богослужения, хоть она и оставалась, пока еще, в миру: «Простыми словами, исходявшим из сердца, я дала Богу обет вечного целомудрия и с того момента почувствовала себя ближе к Нему, моему Жениху. С того момента у меня в сердце была маленькая келья, где я всегда беседовала с Иисусом».

Наконец, в 1925 году ее приняли послушницей, правда, в число монахинь-помощниц. Тогда в Польше конгрегация «Богоматери Милосердия» носила народное название «сестры-магдаленки», в память о евангельской раскаявшейся грешнице, и само это название уже поясняет цель, которую ставило пред собой это заведение:

оказывать помощь падшим женщинам и девушкам с тем, чтобы они могли изменить свою жизнь, и предоставлять покровительство и убежище тем, кто подвергался опасности.

Этой нелегкой работе, однако же, посвящали себя так называемые «сестры-начальницы», тогда как помощницы занимались бесчисленными работами по хозяйству.

Таким образом, в каждом монастыре жили, выполняя четко определенные обязанности, и отдельно друг от друга — начальницы, помощницы и так называемые «пансионерки».

Как сестра-помощница, Елена попала в огромную кухню, которая отнимала все ее силы, а в свободное время должна была работать в огороде и в пекарне...

Работа по дому, даже самая тяжелая, конечно же, не пугала ее, но ее удивлял тот факт, что она отнимала почти все ее время и силы, тогда как она стремилась попасть в монастырь, чтобы уделять больше времени Богу, чтобы иметь возможность чаще погружаться в безмолвие и в диалог с Ним.

Она почти что усомнилась, правильно ли она истолковала Его волю, и уже готова была сообщить о своих сомнениях настоятельнице, когда Иисус опередил ее: «Я вошла в келью, остальные сестры уже легли спать, и свет был потушен... Я склонилась к земле и стала усердно молиться, прося о том, чтобы мне понять волю Божью... Через миг келья озарилась светом, и я увидела на занавеске лик Иисуса в великом страдании: все его лицо было покрыто живыми ранами, и крупные слезы падали на покрывало моей кровати. Не зная, что все это означает, я спросила у Иисуса: "Кто причинил тебе это страдание?" И Иисус сказал: "Его причинишь мне ты, если уйдешь из этой конгрегации. Сюда, и никуда больше я призвал тебя, и здесь я приготовил для тебя много милостей"».

С того момента она навсегда будет свободна от искушения, общего для многих набожных людей, то есть от мысли, что Бога можно любить и созерцать лишь тогда, когда обстоятельства нам благоприятствуют. Так Елена училась любить Его и видеть Его, даже хлопоча среди тяжелых кастрюль и возле печей, где она обливалась потом; даже когда она держала в руках цапку и была вся испачкана землей, даже когда вокруг нее без конца суетилось множество занятых людей.

Когда она стала послушницей, ей по обычаю того времени дали новое имя: ее будут называть сестра Фаустина. И тут перед ней открылся великий и необычайный план Бога, касавшийся ее: она должна возвестить миру о Божием Милосердии.

Приятно произносить эти слова: кажется, это должно быть сладостным и пламенным призыванием, — таким женственным, таким духовным, — но все это было не то, что Бог имел в виду.

В один миг Фаустина предугадала те невыразимые страдания, что ждали ее.

Бог не использует людей, как сосуды для своих посланий: если Он доверяет кому-либо задачу сообщить ближним Его слово, провозгласить его в новой форме для Церкви и для мира, то прежде Он дает этому человеку вкусить его сполна, со всей его горечью и со всей его сладостью.

Бог всегда требует, чтобы слово воплотилось — как Он сделал это со Своим Сыном.

Если милосердием Бог отвечает на нашу гибель, если Своей милосердной любовью Он спасает нас от проклятия, которое иначе выпало бы на нашу долю, то — весьма парадоксальным образом! — лишь тот, кто был на шаг от проклятия и уже считал себя проклятым, может по-настоящему сознательно говорить об этом милосердии. Тот, кто проклят, никогда не смог бы этого сде-

лать, так как проклятый в принципе отвергает и презирует Божественное Милосердие.

Так кто же откроет миру это невероятное и неопишемое Милосердие?

Это сделал Иисус (именно став «грехом» и «проклятием» ради нас).

И это дело продолжают в Церкви невинные души, от которых Он требует, чтобы они добровольно испытали на себе проклятие вместо своих братьев.

Это то, что случилось со святой Терезой из Лизье в последние месяцы ее жизни: она посвятила себя милосердию и согласилась «есть» хлеб грешников, смиренно сидя за их столом, переживая ночь веры и предав себя на смерть от любви, будучи «лишена всякого утешения».

Но у Терезы Мартэн была более универсальная миссия: она должна была призвать мир к духовному детству, по-миссионерски охватив все сферы Церкви и общества, как девочка, приносящая с собой порыв свежести и надежды.

У святой Фаустины Ковальской, ее духовной сестры, была более личная и тягостная миссия: сойти туда, где можно было бы испытать всю скорбь душ, обреченных на муки ада, и все презрение и насмешки мира, продолжая мечтать, думать, говорить, что Бог — это только и исключительно милосердие.

Только это пояснение поможет нам понять то, что должно с ней случиться и то, что иначе могло бы показаться бессмысленной и бесчеловечной пыткой. Прочтем следующую страницу, не забывая о том, что ее написала всего лишь полутрамотная послушница.

«К концу первого года с тех пор, что я послушница, в моей душе делается темно. Я не испытываю никакого утешения в молитве, созерцание мне дается с большим трудом, страх начинает овладевать мною, я все глубже проникаю в свое сердце и не нахожу там ничего, кроме

бесконечного ничтожества. И все же ясно вижу великую святость Божию; я не смею поднять на Него взгляд, но простираюсь в прахе и у Его ног выпрашиваю милосердия.

Так прошло почти полгода, и моя душа совсем не меняется. При мысли о том, что я должна произнести обеты, моя душа холодеет; что бы я ни читала, я этого не понимаю; я не могу созерцать, мне кажется, что Богу неуютны мои молитвы, а когда я приступаю к таинствам, мне кажется, что я совершаю святотатство.

...Наступил миг, когда меня стала настойчиво преследовать мысль, что я отвергнута Богом, — страшная мысль, которая пронзает меня насквозь... В этой муке душа моя впала в агонию: я хотела умереть и не могла... Жуткая мысль — быть отвергнутыми Богом; это пытка, которую действительно терпят осужденные на муки ада. Я прибежала к ранам Иисуса, повторяла слова надежды, но они становились для меня еще более сильной мукой. Я пришла к Святым Дарам и стала говорить Иисусу: "Иисусе, Ты сказал, что скорей мать забудет свое дитя, чем Ты забудешь Твое создание... Иисус, послушай, как стонет моя душа!..." Но я не могла найти облегчения даже на миг... Отчаяние охватило всю мою душу, я терплю поистине адские пытки, которые ничем не отличаются от самых настоящих мук ада...»

Это ее дневник. Позже, в менее личной форме, Фаустина пояснит, что когда душа «особенно любима» Господом, она может подвергнуться наивысшему испытанию:

«Испытание испытаний... Полное уныние, отчаяние... Ее поглощает жуткий мрак; тогда она не видит ничего, кроме собственных грехов; это чувство ужасно. Душа видит, что Бог совершенно оставил ее, ей кажется, что она стала, почти что, предметом Его ненависти, и только один шаг отделяет ее от отчаяния... ей кажется, что она навсегда потеряла Бога, того Бога, которого так любила... Всякая мысль о Боге — это море невыразимых стра-

даний; и все же в душе есть что-то такое, что устремляется к Нему, но это как будто бы для того, чтобы она лишь сильнее страдала... Взгляд Бога пронзает ее насквозь, и под Его взглядом все в ней испепеляется».

Еще раз зададимся вопросом о том, каково значение столь сильных переживаний.

Мы, христиане, говорим о грехе, об оскорблении Бога, о возможном аде, об искуплении ценой крови Христовой... и о многих других дарах, но делаем это поверхностно, не понимая, не чувствуя, не испытывая на себе смысла этих слов (и событий, о которых эти слова говорят). Вследствие этого, самые радостные известия (прощение, спасение, милосердие, рай) остаются поблекшими.

Тогда Бог требует от какой-нибудь избранной души, чтобы она испытала это на себе по-настоящему, — так, чтобы затем весть о Его дарах прозвучала победно и захватывающе.

Так юная сестра Фаустина Ковальска провела период своего послушничества, хотя начальство и сестры наперебой уверяли ее, что в ней нет ничего такого, что было бы неудобно Богу...

У ее духовника было достаточно опыта, чтобы понять, что речь шла о духовном испытании, и он говорил ей, что так она была ближе к Богу, чем если бы ее переполняла душевная радость, но этого было недовольно, хотя бедная девушка повиновалась всему, «как слепой, протягивающий руки».

Она скажет: «Меня спасло лишь послушание».

Когда испытание, продлившееся более года, закончилось, она почувствовала, что совершенно изменилась, как будто родилась заново: «Я как будто бы вернулась с того света... я прижимаюсь к сердцу Бога, как новорожденный к груди матери; я на все смотрю другими глазами; я осознаю то, что Бог совершил во мне одним-единственным своим словом, и этим живу».

Это отразилось на ней, и не только внутренне. Также и внешне она ощущает, что на ней с подозрением задерживаются взгляды некоторых сестер. Те, что знают ее лучше, чем другие, поражаются духовной зрелости этой молодой монахини и благодати, которой она явно исполнена.

Но есть и такие, кто считают ее жертвой иллюзий и душевнобольной. Другие думают, что девушка попала в сети дьявола или что она стала жертвой собственной гордыни.

Тем временем, в течение почти тринадцати лет ее жизнь проходит в смиренном труде: в Краковском монастыре она будет то поварихой, то садовницей, то продащицей хлеба, то привратницей.

Свидетели тех лет описывают ее в крайне будничной простоте («Она ничем не отличалась от других сестер»), но с другой стороны уже чувствуют, что в ней живет тайна («Она была совершенно не такой, как мы все...»).

И поясняют: «Что бы она ни делала, она делала это для кого-то одного. Она любила Господа Иисуса так же нежно, как в этом мире любят друг друга супруги, или скорей жених и невеста. Не знаю, как это выразить... Она думала только о Нем».

И Он отвечал ей взаимностью.

Вот чудо, о котором сама сестра Фаустина рассказывает в своем дневнике, и в котором чувствуется сладостный колорит старины:

«Однажды, когда Наставница назначила меня помогать на кухне для девочек (это была самая большая кухня, и там готовили еду на двести человек), я была очень опечалена этим, потому что не могла справиться с кастрюлями: они были слишком большие. Труднее всего мне было сливать воду с картошки: иногда я чуть ли не половину ее рассыпала на пол. Когда я сказала об этом матери-настоятельнице, она ответила, что со временем я при-

выкну и научусь. Но трудность не прошла, так как мои силы убывали с каждым днем, и я отступала всякий раз, когда надо было сливать картошку. Другие сестры заметили, что я избегаю этой работы, и очень удивились. Они не знали, что я была прямо-таки неспособна им помочь, хотя и очень старалась и совсем не жалела себя. В полдень, во время суда совести, я пожаловалась Господу, что у меня нет сил; тогда я услышала в душе эти слова: "С сегодняшнего дня все будет тебе легко. Силы дам тебе Я". Вечером, когда наступило время сливать картошку, я первой поспешила это сделать, веря словам Господа: я легко взяла кастрюлю и слила воду очень хорошо; только когда я открыла крышку, чтобы выпустить пар, я увидела, что в кастрюле вместо картошки были целые букеты роз, — таких красивых, что я не могу их описать. Я была очень удивлена этим событием, которого не понимала, но в тот же миг услышала голос: "Вот как Я превращаю твою тяжелую работу в самые красивые цветы, и их аромат восходит к Моему трону..." С той поры в любой тяжелой работе я первой стараюсь помочь...»

Это чудо, конечно же, означало не то, что с того момента картошка будет всякий раз легкой, как розы, а то, что всякий раз Фаустина будет черпать новые силы из уверенности в том, что этот тяжелый труд прекрасен и благоуханен в глазах Бога.

Голос Божий достиг ее в великий пост 1931 года; в тот год она работала в монастырской пекарне.

«Вечером, когда я была в келье, я увидела Иисуса в белых одеждах: одна рука его была поднята для благословения, а другая прикасалась к одежде на груди; из одежды, прикрывавшей грудь, исходили два больших луча, красный и белый. Я безмолвно и пристально смотрела на Господа, и душа моя была проникнута страхом, но также и великой радостью. Через миг Иисус мне ска-

зал: «Нарисуй картину, следуя образу, который ты видишь, с надписью внизу: «Иисусе, я уповаю на тебя». Я желаю, чтобы эту картину почитали сначала в вашей часовне, а затем во всем мире...»

Теперь, когда это изображение действительно распространилось по всему миру, мы, наверное, уже не в состоянии представить себе, насколько должно было казаться странным и невыполнимым подобное требование, обращенное к монахине-прислужнице.

Но она тотчас же догадалась о длинной череде «тяжких и жестоких испытаний», которые ожидали ее в том случае, если бы она решилась подчиниться этому приказу.

Она начала говорить об этом видении своему духовнику, и ответ, полученный ею, был слишком уж деликатным: «Все это имеет отношение только к твоей душе. Это в твоей душе ты должна нарисовать образ Божий».

Однако Иисус из глубины ее сердца тотчас же возразил: «Мой образ уже запечатлен в твоей душе. Но я желаю, чтобы ввели праздник Моего Милосердия; я хочу, чтобы эта картина, которую ты нарисуешь кистью, была торжественно освящена в первое воскресенье после Пасхи и чтобы это воскресенье стало праздником Милосердия».

Тот, кто знаком с церковной практикой и с законами Церкви, легко может себе представить, насколько невыполнимо было это требование. Настоятельница конгрегации, которую надлежащим образом предупредили, тут же признала: «Меня пугала мысль, что в Церкви могло быть введено малейшее новшество или ложное благочестие...»

К тому же Иисус начал связывать со своим желанием слишком смелые по тем временам откровения, касающиеся церковной доктрины.

Он говорил: «Я желаю, чтобы священнослужители провозглашали Мое великое милосердие... Даже если душа подобна разложившемуся трупу, даже если с человеческой точки зрения нет уже никакого средства, —

все это не так перед Богом... Ни один грешник, будь он даже в самой пропасти позора, не истощит моего милосердия, ибо — чем более от него черпают, тем более оно возрастает. Я великодушнее к грешникам, чем к праведникам, ибо ради них Я сошел на землю. Ради них Я пролил Мою кровь... Праздник милосердия зародился в Моем сердце для утешения всего мира... Все, что существует с миром, заключено в недрах Моего милосердия глубже, чем дитя — во чреве матери... Поведай всему миру о Моем милосердии».

Если бы Бог обратился к Папе или хотя бы к епископу, то могла бы быть хоть какая-то возможность начать подобные богословско-литургические рассуждения, и со временем можно было бы даже объявить их всему миру в форме соответствующей доктрины¹.

Но Он решил обратиться к монахине, над которой посмеются даже в ее собственном монастыре, да к тому же говорил ей: «Дочь Моя, если ты не постарайся нарисовать эту икону и не объявишь миру Мое милосердие, то в судный день ты должна будешь ответить за многие души».

Тем временем, однако, духовники и настоятели предупреждали ее об опасности поддаться этим странным внутренним побуждениям и говорили ей об «иллюзиях».

Она молилась, охваченная тоской: «Иисус, Ты ли это, Бог мой, или это какое-то привидение? Настоятели говорят мне, что бывают разные заблуждения и призраки». А Иисус улыбался и благословлял ее.

Сестры были остроумнее: одни называли ее чудакой, истеричкой и «духовидицей»; другие засыпали ее мудрыми советами; некоторые шпионили за ней, чтобы

¹ Через пятьдесят лет Папа-поляк обнародует Энциклику «*Dives in Misericordia*» (лат.: «Божество в милосердии»)!

найти в ней какую-нибудь странность; некоторым «доставляло удовольствие ее изводить».

Неизбежно нашлась и одна престарелая монахиня, которая подозвала ее и сказала: «Сестра, выбросьте из головы, что Иисус может вступить в столь близкое общение с вами — таким ничтожным и несовершенным созданием. Иисус общается только со святыми душами, запомните это хорошенько...»

За несколько десятилетий до этого такие же замечания прозвучали и в адрес Бернадетты Субиру.

Фаустина считала, что сестры, критиковавшие ее, были «совершенно правы». «Я ничтожна, — говорила она себе, — но уповаю на Милосердие Божие».

Как можно провозглашать это пламенное и милосердное учение, открытое ей Небом, не применив его тут же к самой себе?

В первый же раз, когда она вновь увидела Господа, она не без юмора передала ему эту критику: «Иисус, говорят, что Ты не общаешься с такими ничтожествами, как я...»

«Будь спокойна, — отвечал ей Он, — именно через подобное ничтожество Я хочу явить силу Моего милосердия».

Разве не сказала уже сама Святая Дева, что Бог «призрел на смирение Рабы Своей»?

У Фаустины были видения, пугавшие ее не оттого, что они были ужасны, а оттого, что они открывали ей будущее, которого она чувствовала себя слишком недостойной.

Однажды она увидела часовню своего монастыря полной народа, да и снаружи была бесчисленная толпа. Все ждали кого-то, кто должен был прийти и занять место на алтаре. Вдруг некий голос говорит ей, что это место должна занять она. Она пытается пробиться сквозь толпу, и все набрасываются на нее и кидают в нее грязь,

камни и нечистоты. Ей с большим трудом удается подняться на алтарь, и вот все вдруг прекращают унижать ее и начинают просить у нее милостей, а она испытывает в своем сердце не обиду и жажду мести, а невыразимую любовь, тогда как голос ей говорит: «Делай все, что хочешь. Подавай милости кому хочешь, как хочешь и когда хочешь».

Мы можем удивиться и попытаться исследовать подсознание униженной монахини, которая сублимирует свои страдания, превращая их в мечты о славе; дело, однако же, в том, что видение описывает именно то, что случилось в последние пятьдесят лет, и путь, который она должна была пройти, сначала преодолев темный туннель страданий и презрения, а затем — быть вознесенной на алтари.

Как-то раз Фаустина жаловалась Иисусу и говорила ему: «Всегда, с первых лет моей жизни в монастыре те, кто хотел надо мной посмеяться, называли меня "святая"». Иисус, слишком хорошо знающий, насколько жестокими умеют быть благочестивые души с их сарказмом, улыбаясь, замечает: «В конце концов, ты и есть святая».

В 1933 году, когда отмечался Святой год Искупления, Фаустину перевели в монастырь в Вильно (Вильнюс), нынешнюю столицу Литвы, и там наконец-то она получила в дар настоящего духовного отца, высокообразованного и святого, который с большой осторожностью, но также и весьма решительно сделался сподвижником ее миссии.

Он не принимал все слепо: он начал с того, что потребовал осмотра Фаустины у психиатра (это ей очень дорого стоило) и стал принимать ее всерьез лишь после того, как получил от врача «удовлетворительные заключения по всем пунктам».

Он велел ей вести «Дневник», хотя Фаустина и уклонялась от этого: она едва умела держать ручку, и уж конечно не была сильна в орфографии. Что же касается знаков препинания, то она совсем не умела их употреблять.

Но Иисус пожелал, чтобы она писала: «Ты живешь не для себя, а для душ. Пиши, чтобы они научились любить Меня. Пиши о Моем милосердии». — «А если я буду писать о Твоем милосердии с преувеличением?» — спросила смиренная монахиня. «Даже если бы ты говорила на всех языках человеческих и ангельских одновременно, ты никогда не смогла бы сказать слишком много о Моем милосердии!» — возразил ее Божественный Собеседник.

Иногда Иисус поддразнивал ее: «Думаешь, что ты написала довольно о Моем милосердии? Но Я — Само Милосердие! Твои слова — это всего лишь капля в море!»

Оставалась неразрешенной проблема с образом, который следовало нарисовать.

Наконец, духовник решился — «больше из любопытства, чем по убеждению» — послать Фаустину к художнику, чтобы он по ее указаниям написал то пресловутое изображение, которого от нее требовали.

По мере того, как работа продвигалась, она испытывала все большее разочарование, но и понимала, что художник не мог сделать большего. «Кто может изобразить Тебя таким прекрасным, как Ты есть?» — говорила она своему Иисусу. А Он отвечал, что ценность картины «должна заключаться не в красоте цветов, а в Его милости». И Фаустина, разумеется, не понимала тонкой и многозначительной игры слов (в том, что касается «милости», которая первоначально означает «красота»), но улавливала мысль.

Между тем духовник спросил ее о значении тех двух лучей света (белого и красного), но Фаустина откровен-

но призналась, что ей оно было неизвестно. Только через несколько дней она принесла ответ Иисуса: они означали воду и кровь, излившиеся из его груди, пронзенной на кресте.

Когда новый образ был готов, последовало невероятное требование: «Иисус требовал, чтобы новая картина была выставлена в храме у Острой Браны в течение заключительных трех дней Юбилея Искупления, в первое воскресенье после Пасхи».

В Вильно храм, где царит Остробрамская икона Богородицы, был центром народного благочестия и сердцем Литвы.

Так вот, поместить именно там, в том храме, отмеченном традициями, современную и скорей удивительную икону — казалось невозможным предприятием. Вопреки всяким сомнениям, это оказалось возможно, хотя и потребовались «сверхчеловеческие усилия» для того, чтобы добиться необходимых разрешений епископа.

Фаустина сама смогла участвовать в размещении этой большой картины, и люди смотрели с изумлением на новый образ, принимая его за необычную интерпретацию образа Святейшего Сердца.

Картина погибнет во время войны, но другие такие же будут написаны другими художниками, очарованными рассказом о видении, и в мире распространится изображение, известное под именем: «Иисусе, уповаю на Тебя». Она утешит тысячи солдат в окопах, заключенных в лагерях, беженцев без крыши над головой и множество несчастных людей, измученных войной.

Между тем, в своем монастыре Фаустина, в видениях догадывающаяся об ужасах, которые вот-вот произойдут, выполняет нелегкие обязанности огородницы: с утра до вечера она работает, разбрасывая удобрения и мотыжа землю, как всякая другая работница, и если какая-нибудь важная персона спрашивает ее (как бы там ни

было, ее видения вызывают споры), то находит ее «грязной, как судомойка», но с такой чистой душой, что она сияет в ее глазах.

Ее миссия кажется завершенной, но она смущена, так как Иисус открывает ей свои намерения, и Фаустина чувствует себя совершенно неспособной их реализовать: Он требует, чтобы она основала новую конгрегацию, полностью нацеленную на то, чтобы воплотить в своей жизни и провозглашать в мире таинство Божьего Милосердия. Сколь ни проста она и ни смиренна, но сестра Фаустина знает, что в стране, отмеченной резкими классовыми различиями, у монахини из низкого социального слоя, без друзей, без образования и без денег нет никакой возможности основать ровным счетом ничего.

Ее ответ — лишь смиренная и повторяющаяся жалоба: «Господи, я на это неспособна», — но Иисус считает это само собой разумеющимся и все время возражает: «Сама ты ничего не сможешь сделать, а со Мной можешь все».

Иногда, чтобы пояснить ей свои планы, Он показывает ей, как два «луча милосердия» — те, что с иконы, красный и белый — вырастают до такой степени, что охватывают весь мир.

«Я всегда с тобой», — продолжает говорить ей ее небесный Жених, а духовник с намерением испытать ее требует, чтобы она написала устав нового заведения, будучи убежден, что Фаустина даже не поймет, с чего начать.

Но она пишет. Поясняет, что делает это «под диктовку Иисуса», и действительно, текст, который она вручает духовнику, представляет собой такой шедевр уравновешенности, гармонии и педагогической мудрости, что он никак не мог быть творением ее рук.

«Она с предельной легкостью решает проблемы, которые от квалифицированного теолога потребовали бы

месяцев на их изучение», — комментирует духовник, читая эти страницы, медленно написанные ею из послушания в то время, как она состоит привратницей.

В конце своего сочинения Фаустина отмечает:

«Милосердие — самое главное свойство Бога. Все то, что меня окружает, свидетельствует об этом». Ее духовник, имеющий диплом теолога, не помнит, чтобы он когда-либо слышал подобную фразу, и останавливается на этом заключении. Он делает из него нечто вроде теста. Он пересматривает современных авторов, но никто из них не употребляет такого выражения. Тогда он начинает искать у древних, пока наконец не находит у святого Августина ту же самую формулировку, что использует молодая необразованная монахиня. «Милосердие — самое главное свойство Бога» — «*Maxima in Deo virtus*» (лат.).

То же самое сказал и святой Фома Аквинский, сопровождая это сжатыми доказательствами².

Так священник отбрасывает сомнения, и теперь уже он знает, что перед ним — вдохновение с небес.

На этот раз, однако, сомневаются настоятельницы, явно раздраженные тем фактом, что одна из их монахинь думает основать новое заведение. Начинаются тяжкие страдания: с одной стороны Иисус настаивает на своих планах, с другой — возражают настоятельницы.

Фаустина чувствует, что настоятельницы правы, она знает также, что Иисусу угодно, чтобы она повиновалась им, и, тем не менее, парадоксальным образом она чувствует и то, что Он не отказывается от своих планов.

Это Иисус посылает ее, и Иисус удерживает ее, и она испытывает вытекающее из этого болезненное противоречие. Она чувствует себя «мученицей Его вдохновений».

² *Summa Theol.*, II-II, q.3°, a.4 c.

«Сегодня Иисус вошел в мою комнату... Он сказал мне: "Дочь моя, почему ты предаешься таким печальным мыслям?" Я ответила: "Господи, Ты знаешь, почему!" Он мне повторил: "Почему?" — "Это дело пугает меня, ты знаешь, что я не способна его сделать". А Он мне сказал: "Почему?" — "Ты видишь, я больна, у меня нет образования, нет денег, я боюсь общаться с людьми. Иисус, я желаю только Тебя. Ты можешь освободить меня от всего этого". И Господь мне сказал: "Дочь Моя, все то, что ты сказала, — правда, ты очень убогая, и Мне угодно свершить дело милосердия через тебя, ибо ты само убожество. Не бойся. В этом деле соверши то, что тебе возможно. Я же доведу до конца все то, чего тебе не достает. Ты делаешь то, что в твоей власти, вот что ты делаешь". И посмотрел на меня с такой добротой, проникшей до самой глубины моего существа...»

«Я больна», — она призналась в этом лишь своему Господу: и действительно, ей оставалось всего два года жизни.

Чтобы решительно положить конец ее мечтам и планам, настоятельница конгрегации приняла решение, что Фаустина должна оправиться в Краковский монастырь, — так, чтобы прервались известные связи.

С некоторых пор у нее больные легкие, ее часто лихорадит, и она чувствует себя обессиленной, но начальницы (обычно исполненные человеколюбия по отношению к больным монахиням) кажутся странно слепы, когда речь заходит о ней: ей дают духовные советы и увещевают ее «привыкнуть к страданию».

К тому же медицинская сестра заключила, что эта молодая монахиня слишком себя лелеет: «Сестра Фаустина хочет быть святой, — говорит она, — но никогда ею не станет, потому что нежит себя, как принцесса».

Мысль о том, что она пользуется какими-то привилегиями и что ей дан какой-то особый и незаслуженный

отдых, ослепляет многих сестер. То, что они всегда видят ее доброй и улыбающейся, подтверждает их подозрения.

В действительности бедняжка обессилена, но никто не замечает даже того, что она не может больше есть, так как туберкулез начал поражать кишечник.

В декабре 1936 года, опасаясь, что она может стать источником инфекции, ее отправляют в санаторий.

Поскольку идет период Рождественского поста, она пишет в своем дневнике: «Я присоединяюсь к Пресвятой Богородице и оставляю Назарет, чтобы отправиться в Вифлеем, к чужим людям».

Иисус утешает ее: «Не бойся, ты никогда не будешь одна, потому что Я всегда и везде с тобой. Поблизости от Моего сердца не бойся ничего. Это Я послал тебе страдания... Я увожу тебя в одиночество, чтобы своими руками воспитать твое сердце... И все же Я рад, когда ты рассказываешь Мне о твоих страхах... Я понимаю тебя, потому что Я — Бог и человек...».

Через несколько месяцев ее отправляют назад в монастырь, утверждая, что она выздоровела, а это означает, — как думают все, — что наконец-то она опять начнет работать. Иногда она совершенно теряет силы и просит об отдыхе. Нередко она слышит в ответ: «Сестра, да какое же это усилие вы перенесли, что вам надо пойти прилечь? Идите-ка вы куда подальше с этой вашей манией прилечь!»

Кроме того, она должна выслушивать замечания медицинской сестры, которая считает ее капризной, и так далее.

В начале 1938 года — последнего года ее жизни — она не смогла даже пойти на новогоднее богослужение.

«Такой праздник, а она даже не идет к мессе», — презрительно заметила медицинская сестра и оставила ее на два дня без ухода.

С той поры она по любому поводу читала ей нотации о добродетели и о долге «не поддаваться болезни», так что Фаустина наконец-то ответила ей с грустным юмором: «У нас считают тяжело больной только ту, что уже в агонии».

Настоятельница также не преминула прийти и сказать ей с раздражением: «Сестра, пора бы уже покончить с этой болезнью... так не может больше продолжаться», — давая ей понять, что уважающая себя монахиня обязана или выздороветь, или умереть...

И Фаустина отмечает: «Когда Бог не посылает ни смерти, ни здоровья, и это длится годами, тогда начинается череда безмолвных мучений, которые только Ему самому известны...»

В то время о святости монахинь судили по их безоговорочной преданности делам и по их безудержной активности.

Но и эти эпизоды, которые могут показаться возмутительными, коль скоро они происходят в монастыре, среди посвященных Богу душ, являются частью миссии Фаустины.

Великое милосердие необходимо не только для того, чтобы простить плохих людей, но также и для того, чтобы преодолеть и смягчить порой невероятную черствость хороших.

Фаустина отмечает все, что происходит с ней, в своем «дневничке», ибо так велел ей Иисус «для утешения других душ, которые подвергнутся подобным страданиям».

Кроме того, как «основоположница» (хотя она и знает, что не увидит даже начала своего дела), она чувствует, что ее долг — предупредить монахинь об опасностях, которые угрожают им от бестактного и тупого усердия.

«Я пишу все это очень кратко, потому что не хочу об этом говорить, но все же я делаю это затем, чтобы в будущем так не поступали с другими больными, ибо это

не угодно Господу. В больных мы должны видеть распятого Иисуса, а не паразита и не обузу для конгрегации. Душа, которая страдает, покоряясь воле Божьей, привлекает на монастырь больше благословений, чем все те монахини, что работают...»

Но она знает, что все ее страдания и унижения (а их было действительно много!) на самом деле предопределены не мелочностью созданий, а планом Бога, который с одной стороны хочет дать ей возможность всесторонне испытать на себе как ничтожество сотворенных существ, так и величие Его милосердия.

«Благодатью Божьей я получила душевную способность быть как никогда счастливой в те моменты, когда я страдаю за Иисуса, Которого люблю всем своим существом», — пишет она, и знает, что Ему угодно присоединить ее к Своим Страстям ради спасения затерявшихся и погибших.

«Грешники отняли у меня все, но хорошо, что это так: я все им отдала», — это выражение включает в себе щедрое величие, но не следует забывать, что грех, о котором она говорит, — это также и то постоянное, мелочное, изматывающее осуждение, что окружает ее; это также и то несправедливо дурное обращение, которое обрушивается на нее ежедневно, принимая облик добродетели.

Именно с такой реалистической позиции она стремится обнять весь мир, с «бесконечными желаниями», повторив, сама того не зная, те же самые выражения, что употребляла святая из Лизье: «Я вся — пламя, я горю желанием спасти души, я в духе прохожу по всему миру, и, прежде всего, самые дикие и полные гонений страны, чтобы спасти души... Мои желания беспредельны, я хочу, чтобы все народы узнали Бога, я хочу подготовить все народы ко второму Пришествию воплощенного Слова... У меня нет ничего своего, ибо я все раздала душам, так

что в день суда я предстану с пустыми руками перед Твоим лицом. Поэтому Тебе не за что будет меня осудить, и мы встретимся в тот день: любовь и милосердие».

Расширяется и ее церковное сознание: «Я стремлюсь обрести полноту любви, чтобы таким образом быть полезнее Церкви... Я внутренне чувствую себя как бы ответственной за все души; я чувствую, что живу не только для себя, но и для всей Церкви».

Чем более она приближается к концу своей жизни, тем сильнее становится ее желание «полностью сделаться милосердием»: «Иисус, — молит она, — преобрази меня в Тебя, чтобы мне быть Твоим живым отражением».

Она молит: «Помоги мне, сделай так, чтобы мой взгляд был милосердным... сделай так, чтобы мой слух был милосердным... сделай так, чтобы моя речь была милосердной... сделай так, чтобы мои руки были милосердными... сделай так, чтобы мои ноги были милосердными... сделай так, чтобы мое сердце было милосердно».

То были смутные времена. Привратницкая монастыря, где находилась сестра Фаустина, стала опасным местом: революционеры и демонстрации безработных порой пытались взломать двери.

Однажды пять неприятных личностей являются в комнату для свиданий и хотят войти любой ценой; Иисус велит Фаустине: «Открой дверь монастыря и говори с ними так же мягко, как ты говоришь со Мной».

Точно так же она обходится и с нищими, «как обошелся бы с ними Иисус», хотя она и ограничена в возможности давать подаяние, так как на этот счет она получает довольно строгие приказы.

И старинные чудеса, рассказанные в «Золотой легенде», происходят вновь:

«К дверям монастыря пришел бедный юноша, бледный, оборванный, босой, с непокрытой головой и весь заоченевший от холода.

Он попросил поесть чего-нибудь горячего, но когда я пошла в кухню, то там не было ничего такого, что можно было бы дать бедным. Поискав, я, однако же, нашла немного супа. Я разогрела его и, накрошив туда хлеба, отнесла его бедняку, который его съел. Возвращая мне миску, он сообщил мне, что Он был Господь неба и земли. Но как только я Его узнала, Он пропал из виду. Вернувшись в здание монастыря и размышляя о случившемся, я услышала такие слова: "Дочь Моя, до Моего слуха дошли благословения бедных, что отходят от дверей монастыря. Мне угодно это твое сострадание, которое ты проявляешь к ним в рамках послушания, и поэтому я сошел, чтобы вкусить от плода твоего сострадания..."»

Она умерла 5 октября 1938 года, в возрасте тридцати трех лет — в возрасте своего Жениха Иисуса.

Перед смертью она написала: «Я хотела бы кричать на весь мир: "Любите Бога, потому что Он благ и полон безграничного милосердия!"»

МАДЛЕН ДЕЛЬБРЕЛЬ
(1904-1964 гг.)

XX век, который только что завершился, начался с очень печальным девизом: «Бог умер», — сказал Ницше, полагая, что этим он провозгласил рождение наконец-то «высшего» человека.

Но уже в первые двадцать лет два страшных бедствия (первая мировая война, повлекшая за собой девять миллионов жертв и эпидемия, унесшая еще двадцать миллионов), продемонстрировали, что как раз человек-то и продолжал умирать и часто совершенно бессмысленным образом.

В 1921 году Мадлен Дельбрель семнадцать лет, и она пишет школьное сочинений, проникнутое впечатляющим радикализмом; начинается оно так: «Бог умер. Но если это верно, то необходимо сознательно не жить больше так, как будто Бог еще существует».

Девушка безжалостна: «Если Бог умер, значит, властвует смерть и следует мужественно признать это».

Она пишет: «Меня поражает всеобщее отсутствие здравого смысла».

По ее мнению, революционеры «вызывают интерес, но они плохо поняли проблему», так как они хотят нового мира, не думая, что затем, как бы там ни было, его придется оставить.

Ученые — «немного дети», поскольку они надеются, что своими исследованиями и открытиями они смогут победить смерть, но, однако, им удастся лишь убить неко-

торые ее виды: «что же касается самой смерти, то она прекрасно себя чувствует».

Пацифисты — «симпатичны, но слабы в расчете», так как даже если бы они смогли предотвратить первую мировую войну 1915-18 годов, то все те, кого бы они избавили от смерти, непременно скончались бы к 1998 году.

Порядочным людям «не хватает скромности», потому что они хотят улучшить жизнь, не замечая того, что «чем жизнь лучше, тем труднее становится умирать».

Влюбленные «коренным образом нелогичны и не желают рассуждать»: они обещают друг другу вечную любовь, но становятся «все более неверны», так как с каждым новым днем они все более приближаются к уходу навсегда. И отмечает: «В старости я бы не хотела быть рядом с любимым человеком: он видел бы мои выпадающие зубы, мою сморщенную кожу и мое тело, превращающееся в бурдюк или в сухую фигуру».

А мамы «готовы придумать счастье», чтобы обеспечить его своим детям, которые, однако, даже если они не станут «пушечным мясом», все равно сделаются «мясом для смерти». Поэтому она делает вывод: «Я не хочу иметь детей. Довольно уже того, что я каждый день заранее переживаю похороны моих родителей».

Одним словом, для Мадден единственные серьезные люди — это ремесленники и деятели искусств, которые создают нечто долговечное, как, например, стулья, картины, стихи...

А еще есть те, кто «убивает время в ожидании, пока время убьет их...»

«Я одна из них...» — заключает она.

Вот какова Мадден в семнадцать лет: сочинение, которое мы должны были изложить вкратце, написано великолепно: стоило бы прочесть его полностью, — настолько оно богато гениальными комментариями, скорбными усмешками, трезвым отчаянием.

В нем чувствуется безграничная воля к жизни и неисчерпаемое желание любить, но все это — в сердце, которое научилось ничего не ждать и даже не рассчитывать на право сказать «прощай» [итал.: *addio* — прощай; *Dio* — Бог (прим. перев.)], поскольку это слово уже содержит в себе Имя того, кто мертв («Бог!») и кто увлекает за собой все остальное.

«Бог забрал даже слова!» — говорит она, констатируя последнюю очевидность так, что кажется, будто бы она разражается рыданием.

И она заканчивает свое сочинение: «Можно ли, не рискуя быть бестактным, сказать умирающему "добрый день" или "добрый вечер"? Тогда ему говорят "до свидания" или "прощай"... до тех пор, пока не научатся говорить "до не-свидания ни в каком другом месте"... "до полного небытия"».

Что будет с подобной девушкой? Мадлен обладает неудержимой жизненной силой и, конечно же, не намерена падать духом.

Одним прекрасным весенним днем, вместе со своими лучшими подругами она избирает «свое призвание»: «всегда оставаться молодыми, что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло!..»

В восемнадцать лет она влюбляется: он, Жан — высокий, спортивного сложения, серьезный, полный интересов, активный политически и интеллектуально и явно одарен глубокой духовной жизнью. Они образуют постоянную пару, и все говорят, что они рождены друг для друга.

Внезапно парень исчезает: совершенно потрясенная, Мадлен узнает, что Жан стал послушником у доминиканцев, и это — окончательная разлука.

Она не в состоянии его понять. Жестоко вспыхивает ее антиклерикализм; кроме того, горе постигает ее семью: отец Мадлен, железнодорожник и несостоявший-

ся поэт, потерял зрение и громко изливает свою тоску даже на улицах, по которым в отчаянии бродит, как бездомный.

«В тот момент, — признается она, — я отдала бы весь мир за то, чтобы понять, что я в нем делаю!»

Возникает проблема веры, но не оттого, что она ищет утешения. Она пишет: «Сто миров, еще более полных отчаяния, чем тот, в котором я жила, никогда не смогли бы меня поколебать, если бы мне предложили веру в качестве утешения».

Но ее преследует воспоминание о прекрасной человеческой личности Жана и прочих друзей, с которыми она познакомилась в тот счастливый период.

«Мне довелось повстречать многих христиан, которые были не старше и не глупее меня, которые были идеалистами не более, чем я, и которые жили такой же самой жизнью: так же спорили, так же танцевали. Более того, в их активе было некоторое превосходство: они работали больше меня, у них было техническое и научное образование, которого у меня не было; политические убеждения, которыми я не могла похвастаться... Они говорили обо всем, но также и о Боге, который, казалось, был им необходим, как воздух. Они чувствовали себя непринужденно со всеми, но — с дерзостью, которая, казалось, сама себя оправдывала, — вставляли во все споры, во все планы и воспоминания слова, идеи, доводы Иисуса Христа. Если бы Христос в тот момент пригласил вас сесть, он не казался бы более реальным...»

И среди всех этих христиан, которые заставили ее думать, на первом месте, разумеется, был Жан, который посчитал Бога настолько реальным, что оставил ее.

Семнадцатилетняя девушка, крайне жестким и логичным образом сформулировавшая свой атеизм, — теперь уже двадцатилетняя, и она вынуждена избрать неожиданный для себя путь.

Прежде она смотрела на мир глазами человека, убежденного в том, что все доказывает несуществование Бога, и если она ставила перед собой вопросы, то они звучали так: «Что подтверждает несуществование Бога?»; теперь же вопрос становится иным: «Может быть, Бог все-таки существует?»

Но вследствие этого она понимает, что если она изменяет вопрос, то должна изменить и свой внутренний подход к нему.

Она вспоминает, что как-то раз, в одной шумной компании была упомянута Тереза д'Авила, которая советовала думать о Боге в тишине и молчании по пять минут ежедневно.

И вот вывод: «Я избрала то, что, по моему мнению, наилучшим образом отражало мою внутреннюю перемену перспективы: я решила молиться!»

Подобное повествование об обращении затрагивает немалые педагогические глубины.

Мадлен молится не потому, что она поверила, — она молится потому, что это единственно возможный и честный подход после того, как она допустила предположение о том, что Бог, может быть, существует.

Ее «да» — это не результат приобретенного ею убеждения (а значит, в какой-то мере вынужденной необходимости), это — подарок, заранее сделанный Богу, который, если Он существует, то является Всем.

Все заслуживает всего, даже если вы лишь предчувствуете его существование.

И Мадлен молится не только по пять минут — она погружается в молитву. И она делает это на коленях, так как хочет быть уверена, что делает это по-настоящему, также и с участием тела, а не только идей.

Вот ее обращение: она сразу бросилась в самый центр веры, она стремительно обняла Бога и позволила себя

обнять, даже не будучи уверена в том, что Его руки там, во мраке, были протянуты к ней.

Она бросилась в неизвестность и погрузилась в свет, в пламя.

Позже она охотно будет употреблять термин «ослепление» и будет говорить: «Затем, читая и размышляя, я нашла Бога, но молясь, "я поверила", что Бог найдет меня, и что Он — живая истина, которую можно любить, как любят человека».

Почти повторяя святого Августина, она, полная изумления, будет вести диалог со Всевышним: «Ты жил, а я ничего об этом не знала. Ты создал мое сердце по твоей мерке, мою жизнь — чтобы она продлилась столько, сколько длишься ты, но тебя не было: весь мир мне казался тесным и глупым, а участь людей — нелепой и скверной. Но когда я узнала, что ты живешь, я стала благодарить тебя за то, что ты вызвал меня к жизни, я стала благодарить тебя за жизнь всего мира».

После подобных переживаний кажется, что возможно лишь одно призвание: жить так, чтобы молитва стала всей твоей жизнью.

И в самом деле, Мадлен тут же думает поступить в монастырь кармелиток. Но отдает себе отчет в том, что сам Бог держит ее привязанной к неразрешимой проблеме в семье, поскольку ее отец все более погружается в свою тоску, а мать едва в состоянии нести все это на своих плечах.

Но если монастырь оказывается невозможен, то из этого неизбежно следует, что мир должен стать ее монастырем.

Для начала она упивается сочинениями святой Терезы и святого Иоанна Креста, затем посещает свой приход, как обычная христианка, и там встречает, как дар, необыкновенного священника, отца Лорана — «священника, который хотел быть всего лишь священником» и который «учил практиковать Евангелие повсюду», делая

его «злободневным и личным призывом» для всякого слушающего.

Мадлен называла его «Добрый Самаритянином Слова», так как он давал его в качестве исцеления и спасения всем тем, кого он встречал на своем пути. Он делался товарищем для них всех, а затем воспитывал их каждого по отдельности, вырабатывая в них способность «оставаться наедине с Господом Иисусом», чтобы дать Богу свободу действий в соответствии с Его волей.

В те первые годы «христианской жизни» она питает страсть к литературе: публикует очерки и книги стихов (даже получив престижную литературную премию), тема которых — все «смиренно скорбное» — то, что с трудом передвигается по безлюдным улицам города.

Но вот отец Лоран предлагает ей участвовать в движении скаутов, как нельзя более далеко от ее прежних интеллектуальных и художественных тревог.

Она должна научиться играм, песням, физическим упражнениям для того, чтобы руководить своим отрядом, и она проявляет неутомимую энергию и такую уверенную педагогическую интуицию, что очень скоро ей поручают воспитание самых старших девочек, которых готовят для руководящей работы, и ее девиз — «радость».

От движения скаутов вместе с двадцатью другими девушками она переходит к организации группы под названием «Божественная любовь» — в память о деятельности святого Венсана де Поля, который дал это имя женским общинам, взявшим на себя заботу о больных и отверженных.

У нее лишь один ясный план: «Добровольно принадлежать Богу, насколько человеческое существо может желать принадлежать тому, кого любит. Добровольно быть собственностью Бога таким же полным, исключительным, окончательным и гласным образом, как монахиня, которая посвящает себя Богу».

Другими словами, она хочет реализовать в миру всю ту глубину, которая присутствует в таинстве брака и всю ту цельность, которая характеризует религиозное призвание.

Ввиду этой цели неоспорим выбор в пользу целомудрия (и это делает необходимой также и созерцательную ориентацию), но всем этим она будет жить, не удаляясь от мира.

Ее план состоит в том, «чтобы дать евангельским советам проникнуть в мирскую жизнь».

В то время употребление этих терминов казалось еще странным; еще не было современных «мирских институтов», и никто еще не в состоянии был вообразить себе возможность общинной жизни для христиан в миру.

Мадлен, однако, выбирает для себя работу, которая держала бы ее в тесном контакте с бедными, и проходит соответствующий курс обучения, чтобы стать социальным работником.

В 1930 году это означает — посвятить себя городским низам, где скучены бедняки и рабочие — настоящий пролетариат, подверженный эксплуатации, который связывает свои надежды на освобождение с марксизмом.

Так с десятков девушек — без религиозных обетов, без особой формы одежды и без защиты со стороны какого-либо учреждения — решает отправиться в пригороды Парижа с намерением жить вместе, работая среди самых бедных людей, разделяя между собой все и не имея никакой собственности (ни лично, ни все вместе).

Они образуют общину «целомудренную, бедную и живущую в послушании», единственное правило которой — вместе углубленно изучать Евангелие, а единственная стабильная структура — руководительница группы.

По мнению Мадлен, группа должна быть такой простой и смиренной в обычной ткани Церкви, что почти не следовало бы ее замечать..

Используя очень мягкое сравнение, она пишет: «Моя мечта — чтобы наша группа была в Церкви подобна нити в одежде. Нить скрепляет ее части, но никто ее не видит кроме портного, который ее вшил. Если нить заметна, значит одежда сшита плохо».

Еще до того, как этот замысел удастся реализовать, группа сильно сокращается: из десяти девушек остается три.

В Иври́ (городке близ Парижа) им предлагают «Центр социального действия», и три мужественные девушки назначают дату своего отъезда на 15 октября 1933 года. Праздник святой Терезы д'Авила выбран нарочно, так как они отправляются для основания «нового» монастыря: их ожидает «новая» созерцательная жизнь.

Они уезжают с немногими предметами домашнего обихода и статуей Богоматери в руках.

Некоторые отчеты о положении в Иври, относящиеся к тем годам, дают нам возможность понять, что их ждет.

Рабочие работают около двенадцати часов в день, лишены какой-либо социальной защиты и медицинской помощи и какого бы то ни было социального обеспечения; им мало платят, они живут скученно в разрушающихся квартирах. Чтобы семья могла выжить, женщины также вынуждены работать на фабрике. Здоровье здесь роскошь. В 40-е годы в самом индустриальном квартале города на пятнадцать тысяч жителей еще будет насчитываться 2000 больных туберкулезом. Широко распространенный алкоголизм является одновременно язвой и убежищем. Церковь нужна только старикам; все остальные посещают ее лишь по случаю крещений, свадеб и похорон.

Фактически Иври становится «политической столицей Французской Коммунистической Партии», резиденцией ее генерального секретаря. На общественных зданиях развевается не трехцветное знамя, а красный флаг. Стены оклеены манифестами, призывающими на про-

смотр советских фильмов, на идеологические конференции, на гражданские крещения, на красные пасхи и тому подобное. Муниципальная администрация в том, что касается распределения жилья и предоставления работы, отдает предпочтение членам партии. Приветствием служит поднятый кулак, и священнослужители не удивляются, когда мальчишки на улицах кидают в них камни. Даже ребятя в играх — чтобы четко выразить непереносимое противостояние команд — противникам дает название «попы», тогда как все хотели бы принадлежать к команде «товарищей».

Мадлен до такой степени чужда этой обстановке, что ей даже не известно значение красного флага. Единственное, что ей известно, это то, что перед ней «неверующие и несчастные» люди.

Желание трех девушек — в их крайней и добровольной бедности — жить плечом к плечу с людьми, ни в чем от них не отличаясь, разве только любовью и верой.

Они отказываются от своей формы скаутов, когда замечают, что она раздражает и отдаляет от них людей, а затем начинают делать то, что умеют.

Мадлен — социальный работник (точнее, она еще учится, чтобы им стать), одна из ее подруг — медсестра, а другая — воспитательница детского сада.

Они начинают участвовать в деятельности прихода, но отдают себе отчет в том, что это делает их изгоями. А потому они идут к людям, преодолевая их неприязнь.

Они делают то, что могут, но все это — с женской фантазией. Как-то раз, когда одна бедная семья с обидой грубо не приняла от них что-то вроде гуманитарной помощи (которая, к тому же, была недорогой), Мадлен, чтобы загладить обиду, пришла с букетом роз и вложила его в руки бедной женщины, которая никогда в жизни не получала ничего подобного... И глава семьи, обозленный воинствующий коммунист, с волнением сказал ей:

«Если милосердие таково, то хотел бы я поговорить о милосердии...»

Но вот, к счастью, отец Лоран назначен приходским священником в Иври́, и христиане, прежде находившиеся в осадном положении, мобилизуются.

Маглен никогда не обсуждает и не обосновывает теоретически проблему отношений между католиками и коммунистами, но она решает ее неожиданным образом на основе простейшего принципа: «Бог никогда не говорил: Люби ближнего твоего, за исключением коммунистов»; поэтому необходимо лишь признать очевидность: фактически, коммунисты — это ее самый непосредственный «ближний».

Поэтому она их не избегает, как, однако же, советуют здравомыслящие люди, и готова признать все то хорошее, — как, например, стремление к справедливости и преданность дружбе, — что есть в этих неотесанных активистах первого призыва. Она даже готова к диалогу с ними в тех случаях, когда надо помочь безработным. Она останавливается лишь тогда, когда сталкивается с проблемой насилия.

Коммунисты ей объясняют, что существует такое страшное и закосневшее насилие, что его невозможно искоренить иначе, как только пройдя через насилие с противоположным знаком. А Евангелие учит ее любить всякого человека и всех людей без исключения.

Маглен читает и перечитывает Евангелие, и противоречие кажется ей все более очевидным и неразрешимым, но это всего лишь первый удар, нанесенный по ее инстинктивной щедрости и жажде справедливости. Следующий удар еще тяжелее: руководящие тексты партии, которые она внимательно прочитывает, учат, что атеизм является главным условием рабочей борьбы и что прививать его душам молодежи — это основная задача воспитания.

«В тот момент, — рассказывает она, — я содрогнулась за Бога, мое благо».

Так между ней и марксизмом пролегла «непреодолимая пропасть»: с марксизмом, а не с марксистами.

Однако, искушение поддаться также и идеологии было очень сильным, поскольку оно явилось под видом любви к людям. Но ее сердце, в глубине своей посвятившее себя Богу, тотчас же уловило обман и отреагировало на него.

В этих перипетиях определяются характерные черты группы.

В 1938 году Мадлен пишет программный текст, который станет знаменитым (она многозначительно публикует его в журнале «*Etudes carmélitaines*»: «Кармелитские исследования»). Он носит название «Мы, люди с улицы» и провозглашает, что существуют христиане, для которых «улица», то есть, та часть мира, куда Бог время от времени их посылает, — «это место святости», точно также, как монастырь — для людей, посвятивших себя Богу.

Это специфическое призвание «обычных людей», в «любом месте», которые выполняют «обычную работу» вместе с другими «обычными людьми» и которые, тем не менее, погружаются в Бога точно так же, как мы «погружаемся в мир».

Но где найти безмолвие, которое затворники хранят в своих монастырях?

Мадлен поясняет, что в миру, конечно же, нетрудно найти «скопления людей, где ненависть, алчность, алкоголь свидетельствуют о грехе», но именно там становится возможным испытать «безмолвие пустыни, в котором наше сердце сосредоточивается с крайней легкостью».

А где найти уединение? Она отвечает: «Наше уединение не заключается в том, чтобы быть одним... Наше уединение заключается в том, чтобы встречать Бога повсюду».

Одним словом, Иисус говорит Мадден не только: «Следуй за мной!», но и : «Следуй за мной на улицу!» и требует, чтобы она шла с Ним, рядом со всеми обездоленными на земле, особенно с теми, кто больше не знает, куда ведут пути бытия.

Таким образом, если монастырь для нее — это всего лишь мир, без различия между священными и светскими его территориями, то даже молитва не должна больше отличаться от действия: не потому, что следует пренебрегать временем, уделяемым молитвенной сосредоточенности, а с тем, чтобы действие стало молитвой.

Тем, кто в соответствии с широко распространенными взглядами, будет ей возражать, что невозможно полностью принадлежать Богу, если вы призваны жить как миряне, посреди света, Мадден отвечает:

«Немыслимо, чтобы всемогущий Бог, тогда как Он хочет, чтобы Его любили, дал своим детям жизнь, в которой они не могут Его любить».

Возвращаясь к самым прекрасным наставлениям святой Терезы из Лизье (только понятым сердцем той, что живет в миру), она пишет: «Всякое незначительное действие — это огромное событие, в котором нам дается рай и в котором мы можем дать рай. Говорить или молчать, штопать или читать лекцию, лечить больного или печатать на машинке. Все это лишь внешняя оболочка чудесной реальности: встречи души с Богом, встречи, возобновляющейся каждую минуту, — каждую минуту, которая становится, в благодати, все прекраснее для твоего Бога. Звонят в дверь? Скорее, пойдем откроем ее: это Бог пришел нас любить. У нас спрашивают информацию? Вот она: Это Бог пришел нас любить. Пора садиться за стол? Пойдемте же: это Бог пришел нас любить».

Мадден тоже была очарована миссионерским призванием. Но традиционное описание миссионера в белых одеждах, который высаживается на далеких бере-

гах и созерцает широко раскинувшиеся перед ним «еще некрещенные земли», она заменяет другой картиной: миссионер в костюме или в куртке, или в плаще с высоты эскалатора метро видит там, все ниже и ниже на ступеньках, в час пик, ряд голов; ряд, который приходит в движение, ожидая, пока откроются турникеты: ряд кепок, беретов, шляп, головных уборов всех цветов. Сотни голов, сотни душ. И мы там, наверху. А еще выше — повсюду — Бог...»

И когда она говорила, что молиться можно, даже теснясь в метро, то имела в виду следующее:

«Господи, мои глаза, мои руки, мои губы принадлежат тебе./ Эта женщина, что передо мной, такая грустная, — вот мои губы, чтобы ты ей улыбнулся./ Этот ребенок, почти серый от бледности, — вот мои глаза, чтобы ты на него посмотрел./ Этот мужчина, такой усталый, — вот все мое тело, чтобы ты уступил ему место, и вот мой голос, чтобы ты мягко сказал ему: «Садитесь»./ Этот парень, такой легкомысленный, такой глупый, такой упрямый, — вот мое сердце, чтобы ты любил его больше, чем кто-либо его любил за всю его жизнь...»

И, цитируя святого Иоанна Креста, она поясняет: «Мы должны сеять Бога в мире, будучи уверены, что он где-нибудь даст ростки, ибо: «Где нет любви, посейте любовь и пожнете любовь».

И наступило время борьбы, когда Франция должна была отреагировать на нацистскую агрессию, а затем потерпеть поражение и подвергнуться оккупации... Нация казалась уничтоженной, и города как будто бы расслоились. Даже самые естественные связи, общественные и семейные, казалось, были разорваны.

Уже во время войны Мадлен становится для Иврі естественной точкой опоры в борьбе против нищеты и деградации, так что город превращается в гениальную

лабораторию восстановления (особенно в том, что касается семей), на которую обращены взоры всей Франции.

Даже «Помощь нации» смотрит на Дельбрель и на ее команду и просит ее о подготовке вспомогательного персонала для социальных работников.

Она соглашается, но требует возможности воспитывать девушек «на месте», то есть посылая их работать.

Речь идет о «Бдении над оружием» — так называется текст, предназначенный для их обучения, который поясняет, что необходимо научиться контакту с «людьми, с которых заживо содрана кожа» и которые поэтому страдают уже от малейшего прикосновения; с людьми, к которым следует подходить с осторожностью и добротой.

Но что такое доброта? Она поясняет: «Это то, что может прикоснуться и не ранить», и хочет, чтобы ее социальные работники были добрыми существами, которые проходят, никого не задевая».

Когда она посылает своих девушек «посещать семьи», то предупреждает их, что те не нуждаются в визитах, «похожих на осмотр чемодана в таможне»: к ним надо идти, как родители идут к детям, как братья идут к братьям.

Это очень напряженная работа, требующая мужества и постоянного ритма (что касается мужества, то за час его уходит столько, сколько в дургих обстоятельствах хватило бы на год), и она продолжается без перерыва, вплоть до Освобождения, которое, невзирая ни на что, не отвратило последнего зверства: бомбардировка Иврий произошла уже после того, как немецкие войска отступили.

Когда коммунисты возвращаются к власти, Маглен объясняет им, что она согласна продолжать работу, но что ее программа не изменится еще и потому, что она исключительно проста и совершенна: «Моей целью является уменьшение страданий и возрастание счастья».

Однако же, через два года она, ко всеобщему удивлению, оставляет социальную работу в мэрии.

Она заметила, что на ее маленькой общине отразилась ее чрезмерная активность. Она прекрасно знает неотложные социальные проблемы, которые подступают со всех сторон, и чувствует, как отовсюду раздается мольба бедных...

Но община — та община, что теперь состоит из десятка женщин, которые видят в ней руководителя и мать, — для нее остается «таинством Присутствия Иисуса».

Мир должен смотреть не на нее и не на ее личное мужество, а на маленькую общину Христа.

Возвратив себя общине, Мадлен хочет гарантировать себе свое послушание Господу Иисусу, а не собственным успехам. Община живет на улице Распайль, и она — «научная загадка», как говорит одна заезжая подруга.

Единственное правило и единственный идеал — братская любовь, как знак любви каждой ко Христу: кроме этого каждая работает в квартале рядом с самыми бедными, а дом похож на маленький порт, так как двери постоянно открыты для встреч, для диалога; они готовы оказать любую поддержку.

Есть даже те, кто старается поселиться поближе к этому необыкновенному дому: например, в саду, в соседней квартире или в мансарде. Так община превращается в пеструю компанию «друзей» или «братьев», которые просят о солидарности в совершенно различных сферах и сами ее предлагают.

Мадлен относится к этому дому, как к живому человеку. Она называет его «господин Распайль» (по имени улицы) и так его описывает:

«Господин Распайль — это личность, которую очень нелегко представить... это человек средних лет, ни хороший, ни плохой, скорее симпатичный, скорее плохо одетый, с видом, довольным своей судьбой. Люди считают

его революционером; сплетники думают, что когда-то он был семинаристом; злоречивые предполагают, что он отличается сомнительными нравами. Многие приходят к нему и ищут его компании...»

В такой странной компании личной целью Мадлен становится — дать почувствовать каждому, что его любят больше всех: действительно, создается впечатление, что она обладает бесконечной нежностью по отношению ко всем окружающим.

«Мадлен — единственное существо в мире, которое полюбило меня в надежде», — говорил один «трудный» парень после встречи с ней и доказывал это великолепной формулировкой: «Она смогла увидеть мое истинное "я", искаженное в глазах окружающих, неизвестное даже мне самому, — "я", которое и сам я ненавидел, потому что чувствовал себя закованным в мои цепи... Благодаря ей, я существовал еще прежде, чем начал существовать в моем собственном сознании, — тогда, когда все остальные еще не признавали меня...»

Нет ничего такого, чем бы Мадлен пренебрегала: она может изобрести подарок, или песню, или комическую сценку, если это идет на пользу друзьям. Она может погрузиться в молитву, написать статью или стихотворение, или прочитать лекцию, или бороться за права кого-то, кто подвергается преследованиям по политическим мотивам: все она делает с тем же пылом и с тем же трезвым умом; все — с явной «радостью от своей веры».

Тем временем Франция болезненно встрепелась: она открыла для себя, что сделалась «миссионерской территорией», и кардинал Парижа предлагает подойти к проблеме отхода от христианства рабочих масс так же, как к ней подходят в странах, куда отправляются миссионеры.

Так в Лизье открывается необычная семинария — находящаяся под покровительством святой Терезы — которая должна подготовить новый тип священника,

способного отправиться туда, где вера не только исчезла, но и кажется невозможной: в самые заброшенные пригороды, в рабочие кварталы, на фабрики.

Мадлен торжествует, поскольку создается впечатление, что ее первоначальная идея почти становится планом, который сама Церковь принимает на вооружение.

Новый опыт распространяется, растет головокружительным образом и полагает начало феномену священников, которые пытаются нести Евангелие на фабрики, сами становясь при этом рабочими, разделяя тяготы, труд и борьбу трудящихся.

Нелегко делать это, не присоединяясь к группировкам, не участвуя в социальной и политической борьбе, не вступая в партию, которая представляет трудящихся, не уступив рано или поздно господствующей марксистской идеологии, не принимая логики столкновений и насилия...

Мадлен видит, как многие священники — служители того Христа, которого она любит всем своим существом — уступают искушению, хорошо ей знакомому, ибо она его испытала на себе: подвергнуть опасности само их призвание, позволив увлечь себя «ослепляющей машине классовой борьбы».

Вмешивается Рим, и его последующие оценки в адрес опыта священников-рабочих в том виде, в котором он тогда существовал, будут негативны.

Мадлен страдает до глубины души: с одной стороны, она хотела бы, чтобы благородные усилия благородных священнослужителей, с которыми она лично знакома и которыми она восхищается, были поняты и оценены по достоинству, и не согласна с поверхностными суждениями людей, слишком здравомыслящих; с другой стороны она еще более понимает озабоченность Церкви, которая видит, что ее священное служение идеологизируется и

делается пристрастным, и которая теперь уже опасается за веру своих служителей.

Со своей стороны она пришла к убеждению: этому необычайному опыту не хватило молитвенной поддержки со стороны всех христиан. Ошибка заключалась в том, что священнослужители оказались подставлены под удар на самых передовых позициях, тогда как христиане все вместе не объединились в единоклубной и напряженной молитве, чтобы поддержать их.

Она видит также и другую проблему: слишком недостаточна любовь к Церкви.

Слишком слабо люди понимают, что «Церковь их любит», — даже Церковь с точки зрения ее организационных и иерархических аспектов, — и слишком мало Церковь заботится о том, чтобы довести до людей свою любовь.

В 1952 году, ко всеобщему удивлению, Мадлен решает предпринять краткое путешествие в Рим, который для нее является «чем-то вроде таинства Христа-Церкви».

Она предпринимает настоящее паломничество, преднамеренно утомительное, потому что «некоторые милости для Церкви можно просить и получить только в Риме».

Два дня и две ночи в поезде туда и обратно затем, чтобы пробыть в вечном городе всего двенадцать часов: почти все эти часы она проводит в Соборе Святого Петра, молясь «до самозабвения».

После она будет рассказывать: «Я отдала себе отчет в том, насколько было бы необходимо, чтобы иерархическая Церковь была признана всеми людьми как та Церковь, что любит их. Петр — камень, от которого требовали любить. Я поняла, сколько любви было бы необходимо вложить в символы Церкви».

Когда она возвращается в Иврёй, ей сообщают, что один ее знакомый священник, проживающий в Риме, узнав о ее путешествии, даже добился для нее аудиен-

ции у Папы, но затем не смог найти ее, и Папа ждал ее напрасно.

Связь Мадлен с Церковью нерушима. Она всегда говорит о ней как о «нынешнем Христе».

В теле Церкви лишь следует быть «живыми и любящими клетками».

«Когда у нас есть основания чего-то не понимать, — пишет она, — следует молиться дважды, размышлять дважды, извинять дважды то, чего мы не понимаем. Там, где наша любовь подвергается искушению, необходимо вдвойне желать любви».

На следующий год вновь усиливается буря; она возвращается в Рим и на этот раз в течение нескольких минут имеет возможность говорить с Папой. В своем кратком ответе Папа трижды повторяет слово «Апостольство», и Мадлен пускается в обратный путь, пораженная этим странным словом.

Во Франции лозунгом является «миссия», никто больше не использует тремин «апостольство», и Мадлен догадывается, что в настойчивости Папы есть что-то пророческое.

Она отдает себе отчет в том, что в проекте «миссии», которым и она страстно увлечена, на первый план выступает провозглашение Благой Вести и забота о спасении людей, но что в нем есть от заботы «о славе Божьей»? Что в нем есть от заботы о том, чтобы Бога любили и Ему поклонялись, чтобы Бог «перестал быть мертвым» для марксистов?

Так она понимает, что настоящая миссия, осуществляемая по примеру апостолов, должна разворачиваться в двух направлениях: пробудить в себе и в верующих смысл поклонения Богу, который хочет, чтобы его знали и любили, как живую личность, а затем свидетельствовать об этой связи с Ним, занимаясь спасением ближнего.

В сущности речь вновь идет о фундаментальном единстве двух величайших заповедей и о необходимом первенстве любви.

Для Мадлен это — все равно что открыть в себе свою прежнюю любовь к более бедным братьям и к тем, что борются (да и к самим марксистам), но только возрожденную новым церковным материнством.

В одном ее знаменитом тексте под названием «Марксистский город — территория для миссии», она даже пишет: «Коммунист, если я люблю тебя, то это не вопреки Церкви, а благодаря ей и в ней!»

Тем временем ее группа — ее маленькая община — пребывает в поиске собственной самобытности: все начинают задаваться вопросом, какое место она занимает в Церкви.

Есть те, кто хотел бы, чтобы Мадлен присоединила свою общину к какому-нибудь из уже существующих религиозных орденов или к какой-нибудь церковной организации. Как можно оставить общину дев, стремящихся к любви Христовой и к церковному служению, без устава и без юридических гарантий?

К счастью, в Риме один французский монсиньор, пользующийся некоторым влиянием, покровительствует общине своим дружеским участием и своим руководством. Его зовут монсиньор Вейо. Впоследствии он станет Кардиналом — Государственным секретарем Павла VI.

В 1956 году он задает Мадлен решающий вопрос: чего она хочет «сама для себя»?

В едином порыве Мадлен пишет текст, в котором фразы следуют одна за другой, все, как одна, подчиняясь ритму страстного «Я хотела бы...»

«Единственное, чего я хотела бы — это полностью и исключительно принадлежать Иисусу, нашему Господу и нашему Богу; я хотела бы попытаться воплотить в жизнь его Евангелие, быть совершенно готовой исполнить его волю, в самом лоне Церкви и ради спасения человека... Я хотела бы, чтобы этого было достаточно для объяснения всего».

Однако же, сама того не зная, Мадлен преподносит Церкви еще одного верующего человека, который принимает всерьез призвание к святости; она описывает «новый тип христианина», полностью принадлежащего Иисусу и органически внедренного в мир.

В наши дни даже «Богословские словари» уже цитируют эту новую теологию, предложенную Мадлен, и синтезируют ее учение в следующем тексте:

«Когда мы держим в руках Евангелие, мы должны думать о том, что в нем живет Слово, которое хочет быть плотью, как и мы; хочет завладеть нами для того, чтобы с Его сердцем, вошедшим в наше сердце, и с Его Духом, сообщающимся с нашим духом, мы дали начало Его жизни в другом месте, в иное время, в ином обществе».

Именно воплощая этот идеал на собственном примере, она сделалась наставницей в молитве: в молитве, которая могла совершаться, где угодно, и которая могла сопровождать верующего во всякий момент его дня.

Ханс Урс фон Бальтазар, один из величайших теологов нашего времени, говорил, что личность и сочинения Дельбрель свидетельствуют о противоречивых и парадоксальных качествах: с одной стороны это глубокая серьезность, а с другой — искрящийся юмор; с одной стороны это детская уверенность в том, что она «принадлежит Богу», а с другой — мощный реализм социального и психологического анализа; с одной стороны это церковная принадлежность до мозга костей, а с другой — абсолютная свобода от церковных штампов.

Но он пояснял, что ей удавалось сохранить единство всех этих противоречивых аспектов в силу необыкновенных характерных черт ее молитвы.

Когда кто-либо просил Мадлен о личной беседе, встреча всегда начиналась с нескольких минут молчания — времени, которого было достаточно для того, чтобы неспеша закурить сигарету. Только ее самые близкие дру-

зья знали, что это было время, которое она давала себе для молитвы о человеке, находившемся перед ней, — перед тем, как начать разговор.

Но если этот эпизод вызывает улыбку, то он живейшим образом принадлежит к тому самому миру, что Мадлен описала в книжке изречений, приписанных ею Алкиду, смиренному монаху, который каждый день открывает для себя невероятную мудрость, приобретаемую человеком, который живет в близости с Богом.

«Для того, кто ищет Бога так, как искал его Моисей, — говорит Алкид, — даже простая лестница может превратиться в гору Синай».

То обстоятельство, что Бога можно найти всегда, даже закуривая сигарету, зависит от уверенности, которую монашек объясняет так: «Если ты по-настоящему веришь, что Бог живет с тобой там, где у тебя есть место для жизни, то у тебя есть и место для молитвы».

Важно умение исправить самую страшную ошибку, которую мы совершаем, — ту, которую и сам Алкид указывает в молитве-вопросе: «Боже мой, если ты — повсюду, то отчего же я так часто оказываюсь в другом месте?»

Мадлен не хотела «оказаться в другом месте», даже когда курила сигарету.

В последние годы жизни на ее долю выпало счастье увидеть новые времена, хотя вопрос «священников-рабочих» (который в те годы был закрыт окончательным запретом подобной деятельности) вновь причинял ей страдание.

Вначале ее обрадовало избрание Папы Иоанна XXIII, такого человеколюбивого и простого, что он заставлял ее чувствовать себя, по ее собственным словам, «как бы совершенно неграмотной в Евангелии».

Затем ее исполнил восторгом второй Ватиканский Собор, размышляя о котором, она находит свои самые

прекрасные выражения: «Христианин находится "в состоянии Церкви" точно так же, как он находится "в состоянии благодати"».

Ей было всего шестьдесят лет, и она уже чувствовала себя усталой, но продолжала испытывать крайнее отвращение при мысли о смерти. Она говорила, чувствуя себя немного виноватой: «Наверное, меня окрестили только наполовину...», но утешалась при мысли, что «Иисус тоже испытывал нечто вроде негодования всякий раз, когда оказывался перед видом смерти».

Но ее способность любовно отождествлять себя с ближними не уменьшилась. Одна из ее фотографий 1964 года (за три месяца до смерти) запечатлела ее сидящей на корточках напротив маленькой девочки, а посередине — крутящийся волчок.

13 октября 1964 года в Риме — впервые в истории Церкви — в зале Собора получил слово мирянин, чтобы обратиться ко всем епископам мира с речью на тему «Апостольство мирян»... В тот же самый день, в послеобеденное время, в Иврий Мадлен упала на свой рабочий стол: она ушла, никого не побеспокоив...

В ее трюмнике подружки нашли слова, написанные ею несколькими годами раньше, в воспоминание о тридцатой годовщине ее «обращения».

В знак того, что в те годы она решила всецело доверить себя Богу, она писала: «Я ХОЧУ ТОГО, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ/ НЕ ЗАДАВАЯСЬ ВОПРОСОМ, по силам ли мне это/ НЕ ЗАДАВАЯСЬ ВОПРОСОМ/ желаю ли я этого/ НЕ ЗАДАВАЯСЬ ВОПРОСОМ/ хочу ли я этого».

Программа, которую она оставила своим дочерям и бесчисленным друзьям, коль скоро она достигла такой абсолютности, могла быть выражена лишь одной фразой: «Читайте Евангелие, которое держит в руках Церковь — читайте так, как едите хлеб».

Блаженный отец Пио из Пьетрельчины
(1887-1968 гг.)

Отец Пио из Пьетрельчины был святым, имевшим еще при жизни два миллиона почитателей. И трудно представить себе, какие страдания были неизбежно связаны с подобной судьбой.

Страдания, вызванные в одинаковой степени почитателями и маловерными, Церковью и миром. Но еще более того: страдания, которых требовала от него «величайшая миссия», принятая им добровольно: миссия наглядно воспроизвести образ Христа, распятого ради спасения мира и терзаемого дьяволом и грешниками.

Отец Пио, насколько нам известно, был единственным в истории священником, получившим стигматы: пять кровоточащих ран (на груди, на руках и на ногах), подобных ранам Христа, пригвожденного ко кресту и пронзенного копьем центуриона.

Если у других мистиков, которые получили те же священные знаки (начиная со святого Франциска Ассизского), стигматы были скорее символом пламенной брачной любви, уподоблявшими их Христу, то у отца Пио они казались, если можно так выразиться, знамением священства, врезавшимся столь глубоко, что оно очевидным образом проявилось даже на его теле.

Об этом свидетельствует история.

Без опасения ошибиться, можно сказать, что именно эти раны привлекали толпы к его священническому служению: не только потому, что из них сочилась живая кровь, и порой они источали таинственный и сильный

аромат, но и оттого, что они являли в нем полное отождествление себя самого со святым служением.

Стигматы являли его пригвожденным ко кресту в момент, когда он служил святую мессу с такой смиренной любовью, что те, кто видел его однажды, не могли больше его забыть.

Кроме того, стигматы как бы физически указывали на цену крови, которую заплатил Христос, — всякий раз, когда священник, отец Пио, полный явного ужаса перед грехом и бесконечной нежности к грешнику, преподавал таинство прощения.

И, наконец, тысячам верующих, молившим о заступничестве и о чудесах, они напоминали о том, какова цена милостей, которые Бог столь щедро подавал через него.

Чудо Евхаристии, чудо Прощения, чудо Воскресения (предвосхищенное в больных телах и душах, выздоравливающих от одного его знамения, как и от одного его слова): кровоточащие стигматы — те самые, что все хотели бы увидеть и прикоснуться к ним, — были символом, который соединял в себе другие чудеса и который являл их таинственный источник. Они выражали также (но этим паломники интересовались меньше) чудо его постоянной и очень жестокой личной схватки с Сатаной, из которой он каждый день выходил измученным победителем.

У отца Пио стигматы были жгучей очевидностью всего того, чем является католическое священство.

Его звали Франческо Форджоне, и родился он в Пьетрельчине, селении в провинции Беневенто, почти на границе с Пулией.

В пятнадцать лет он поступил послушником к капуцинам, приняв один из самых суровых и ко многому обязывающих «Уставов».

Он уже тогда вызывал восхищение своей простой и очевидной верой, напряженной и страстной, и своим безоговорочным послушанием.

Однако, никто и не подозревал, что этот послушник, охотно проводивший по много часов в молитве (но почти всегда со слезами, от некоей скорбной и взволнованной сопричастности святыми таинствами), уже давно жил в дружбе с Ангелом Хранителем, которого он называл «своим другом детства», и среди частых видений Христа и Девы, которые, казалось, хотели подготовить его к выполнению задачи, слишком трудной для отрока.

Вечером накануне поступления в монастырь он имел видение, в котором его призвали, как юного «Давида», чтобы он вступил в борьбу «против кого-то страшного и громадного»: то было знамение той жизни, что его ожидала.

Впрочем, исполненные сладостной святости, видения Иисуса и небесной Матери и мучительная борьба против дьявола сопровождали его с пяти лет, когда он гонял на пастбище двух своих овец...

Об этом юный послушник никому не рассказывал, но лишь оттого, что он в своей наивности полагал, будто все души получают озарения и милости, подобные этим, хотя они и хранят по этому поводу легко объяснимое молчание.

К своему счастью: потому что если бы он рассказал об этом, то даже эти добрые монахи посчитали бы его душевнобольным, тем более — что его здоровье вызывало серьезные опасения: он страдал от острых болей в груди, постоянного отсутствия аппетита и частых лихорадок.

Если бы он не был таким добрым и послушным, если бы он не молился, столь глубоко вживаясь в свою молитву, то его возвратили бы в семью. Вместо этого его без конца переводили из одного монастыря в другой, пытаясь подобрать для него более благоприятный климат. Но казалось, что положение только ухудшалось.

Да к тому же, начали проявляться и внешне некоторые дьявольские действия, которые пугали его собратьев.

Положение оставалось шатким в течение всего периода обучения: он кое-как закончил учебу, с трудом преодолел различные этапы подготовки к священству (прерывавшейся частым и длительным пребыванием в семье) и получил Святое Рукоположение раньше срока, как награду за свою доброту, ибо настоятели думали, что жить ему оставалось недолго.

В первые годы ему даже не давали разрешения исповедовать как из-за его слишком слабого здоровья, не переносившего утомления, так и оттого, что сомневались, чтобы у него была необходимая подготовка для этого служения.

Он не умер, но положение его становится странным. Первые пять лет после принятия священного сана отец Пио был не в состоянии жить в монастыре. Едва возвратившись туда, он заболел и через несколько недель оказывался при смерти. Его постоянно вынуждены были отправлять домой. Только в Пьетрельчине к нему возвращаются силы.

Он живет в «хижине», то есть в помещении, построенном для охраны виноградников, близ векового вяза, и здесь проводит жизнь в молитве и в переживаниях, о которых никому не может рассказать.

Его неоднократно призывают на военную службу (идет Первая мировая война), но всякий раз вынуждены, почти сразу, отправлять в отпуск по болезни.

Так же и настоятели часто вызывают его в монастырь, и отец Пио готов повиноваться любому их приказу, но для всех становится очевидным, что каждый раз при этом он рискует жизнью.

Порой он не может принимать никакой пищи, кроме евхаристии, и это длится неделями; а в некоторые дни термометр зашкаливает намного выше сорока двух градусов.

Некоторые собраты раздражены и настоятельно советуют исключить его из Ордена. К счастью, Святой Престол предпочитает дать этому странному монаху специальное разрешение, чтобы он мог жить «вне общины», в своей родной деревне.

В тех годах есть что-то таинственное.

Позже отец Пио скажет, что ему не позволено объяснить причину и смысл этих событий. Но признается своему духовнику: «Самая большая жертва, которую я принес Господу — это то, что я не мог жить в монастыре» (П.8 сентября 1911 г.).

Лишь духовник знает, что он проводит свою жизнь, молясь день и ночь, испытывая жгучие мистические переживания (уже тогда он чувствует боль от пяти стигматов, но он умолил Господа, чтобы раны не были заметны внешне) и каждую ночь — ведя изнурительные сражения против Духа Зла, которые оставляют его обессиленным и физически разбитым.

В той хижине случаются долгие небесные экстазы и диалоги любви, в которых речь идет о спасении грешников, и страшные страдания, в которых отец Пио искупает не только свои грехи: райские дни и адские ночи.

Отец Пио чувствует, как его оспаривают между собой благой Иисус, окружающий его со всех сторон любовью, и Сатана, который мучит его ужасающими видениями и настоящими побоями (палками и цепями). «Дьявол хочет заполучить меня, любой ценой», — отмечает он со страхом 10 января 1911 года.

Периодически он испытывает в своем теле страсти Иисуса: «Эта душа, — откроет он из послушания духовнику в 1915 году, — вот уже несколько лет все это выносит [то есть: «увенчание терновым венцом и бичевание»] почти каждую неделю».

Это — невероятная история любви.

Он пишет в письме от 21 марта 1912 года: «Иисус почти всегда требует от меня любви. И мое сердце, скорее, чем уста, отвечает: о, мой Иисусе, я бы хотел... и не могу продолжать. Но, в конце концов, восклицаю: да, Иисус, я люблю тебя, в этот момент мне кажется, что я люблю тебя, и также я чувствую необходимость любить тебя все сильнее; но, Иисусе, любви в сердце у меня больше нет, Ты знаешь, что я всю ее отдал Тебе; если Ты хочешь больше любви, то возьми мое сердце и наполни его Твоей любовью, а потом и прикажи мне любить Тебя, и я не откажу тебе в этом; напротив, я молю Тебя, сделай это, — я так желаю этого. С вечера четверга до субботы, а также и по вторникам — для меня мучительная трагедия. Мне кажется, что мое сердце, руки и ноги пронзает меч, такую сильную боль я чувствую. А дьявол тем временем не прекращает являться мне в самых жутких видах и бить меня поистине страшно. Но да здравствует любовь Иисуса, который вознаграждает меня за все своими посещениями».

Самые пламенные выражения мистической литературы обычны под его пером. Порой он пишет целые фразы, которые мы находим в той же самой форме у святого Иоанна Креста, у Терезы Авильской и даже у Терезы из Лизье, но он берет их из собственного сердца, а не из книг (которые он даже не имел возможности прочитать).

«Сердце Иисусово и мое, — если мне будет позволено так выразиться, — слились. Это уже бились не два сердца, а одно. Мое сердце исчезло, как капля воды, что теряется в море», — пишет он 18 апреля 1912 года.

«Дорогой батюшка, — пишет он своему духовному отцу 26 августа того же года, — послушайте, что со мной случилось в прошлую пятницу. Я был в церкви и возносил благодарение за мессу, когда вдруг почувствовал,

как мое сердце ранено огненной стрелой, такой жгучей и пламенной, что мне казалось, будто я умираю».

Судя по тому, что произойдет впоследствии, можно попытаться дать такое объяснение: отец Пио, прежде чем наступило настоящее, «полное» время его миссии, должен был как бы пережить тяжкие сражения древних отшельников, напряженные духовные переживания первых монахов, пылкие желания первых апостолов и миссионеров, страдания гонимых и мучеников, истории любви самых пламенных мистиков...

В действительности, то, что с ним происходит, — настолько всепоглощающе, что маленькая монашеская община не смогла бы этого вынести. Отец Пио глубоко погружен в самое сердце Церкви: где страдают грешники, которых необходимо спасти; где новообращенные, которым нужно подать руку помощи; где священнослужители, которых следует поддержать; где больные, которым следует помочь; где души, которые должно сделать святыми... Он до такой степени вовлечен в вихрь «сопричастности святых», что вначале это требует одиночества.

Его собратьям-капуцинам позже, когда миссия отца Пио станет публичной, будут даны почти пятьдесят лет для того, чтобы убедиться, что означает — быть всем вместе, общинно, занятыми делом сохранения миссии их отца и брата и поглощенными ею. И многие должны будут признать, что они «больше не могут этого выносить».

Следовательно, в то первое время воля Божья заключается в том, чтобы он жил в одиночестве, даже ценой нарушения самых святых обычаев.

Много лет спустя, отец Пио скажет прочувствованно: «В Пьетрельчине был Иисус, и там все случилось...»

В наши дни это селение называют «Ассизи Южной Италии».

Он возвратился в монастырь в 1916 году, сначала в Фоджу, а потом в Сан-Джованни Ротондо — поселок,

затерянный среди скал Гаргано, без дорог, без водопровода, без электричества. Он совершенно случайно прибыл туда летом 1916 года и удалялся оттуда лишь в течение нескольких периодов обязательной военной службы, пока его не отправили домой «умереть с миром» — в таком плачевном состоянии он находился.

Он вернулся в тот маленький горный монастырь в 1918 году, когда значительная часть населения Сан-Джованни Ротондо была уничтожена войной и эпидемией «испанки», которая всего за два месяца унесла двести жизней.

Там он будет непрерывно жить более пятидесяти лет.

Уже начал прибывать поток паломников, которые забирались в эти горы, привлеченные славой святого духовника, но решительный перелом произошел тогда, когда Бог решил сделать явными таинственные раны, столь уподобившие его Иисусу.

Мы не должны ничего восстанавливать, так как имеем повествование, которое отец Пио должен был написать в послушании воле своего духовника.

В августе 1918 года трансверберация (мистическая рана в сердце) повторилась с впечатляющим реализмом: «С того дня, — писал он, — я смертельно ранен». Еще через несколько дней: «Рана, которая у меня вновь открылась, кровоточит и кровоточит... Ее одной было бы довольно, чтобы тысячу и более раз дать мне смерть. О, мой Боже, почему я не умираю?»

20 сентября (во францисканских монастырях тогда только что отметили праздник стигматов святого Франциска Ассизского) случилось то, что отец Пио недвусмысленно назовет «Мое распятие».

Было утро, и он, отслужив святую мессу, был погружен в молитвы благодарения. Он рассказывает: «На меня вдруг снизошел покой, подобный сладкому сну... Я увидел перед собой кого-то таинственного... его руки, ноги

и грудь истекали кровью. Вид его привел меня в ужас; я не могу описать то, что я в тот момент ощущал. Я чувствовал, что умираю, и я бы умер, если бы Господь не вмешался и не поддержал мое сердце, которое, как я чувствовал, оборвалось у меня в груди. Таинственное видение удалилось, и я заметил, что мои руки, ноги и грудь были пронзены и истекали кровью. Представьте себе мучение, которое я тогда испытал и которое испытываю постоянно, почти каждый день. Из раны в сердце без конца льется кровь».

Прежде чем рассказывать о том, что произошло в монастыре, после чего отец Пио не мог уже более скрывать эту кровь, когда настоятели непременно пожелали физически «вложить перст» в его раны, когда для консультации вызвали врачей, когда газеты завладели этой новостью, когда в монастырь хлынул поток любопытных и богомольцев... одним словом, прежде чем рассказывать о страстях отца Пио, необходимо понять, что означала для него благодать стигматов.

Нам кажется естественным вообразить себе его смятение, его *Domine, non sum dignus* (лат.: «Господи, я недостойн»), которое он, наверняка, неоднократно произносил, физические страдания, которые он, наверняка, испытывал, его отвращение к чужому любопытству, переживания от подозрений тех, кто вокруг него перешептывался и клеветал.

Но мы так же могли бы представить себе, что он, наверняка, испытал некую возвышенную и чистейшую радость из-за столь высокого отличия.

Так вот, что касается отца Пио, то его выражения полны страха и ужаса.

Уже в предыдущие месяцы он писал: «Я чувствую, что рука Господня отяготела на мне, я чувствую, что Господь являет все свое могущество, чтобы меня наказать и как лист, сорванный ветром, он отбрасывает меня

и преследует... Увы мне, я больше не могу... Боже мой, я заблудился и потерял Тебя, но найду ли я Тебя вновь? Я потерял всякое представление о Боге Господе, Хозяине, Создателе, Любви и Жизни... я чувствую в себе уныние и пустоту, о которых страшно подумать, когда находишься в этом состоянии... Мой Боже и, Боже мой... Я не могу сказать Тебе ничего больше: зачем Ты меня оставил?... Кроме этого одиночества и уныния мне ничего, ничего больше неизвестно, даже жизнь моя — я не знаю, живу ли я ею...» (П.4 июня 1918 г.).

Эту жалобу впоследствии он повторяет постоянно во все более трагических тонах.

Но когда появляются стигматы, то это не означает, что его страдание от богооставленности уменьшилось: напротив, оно возрастает безмерно, до такой степени, что отец Пио чувствует себя проклятым. Он говорит о своем «ужасном положении...»: «Моя чудовищность, которая выглядит мерзкой в моих собственных глазах... Я дошел до того, что мне кажется, будто искушение отчаянием от меня самого уже вьелось в мою душу и что я уже потерял надежду... С душой, полной скорби, и с глазами, высохшими и истощившимися от постоянно проливаемых слез, я против своей воли вынужден быть свидетелем всего этого терзания, этого полного разложения... Одна уже необходимость произнести "Верую" составляет для меня страшное мучение...» (П.13 ноября 1918 г.).

Он будет говорить Богу, что чувствует себя «пустым местом, ничтожеством, достойным лишь Его презрения» (П.20 декабря 1918 г.).

Хотя все это выходит за рамки наших представлений, понять это, однако же, можно. Как-то раз отец Пио сказал тому, кто наивно спрашивал его, причиняют ли ему страдания его стигматы: «Думаешь, Иисус дал мне их для красоты?» В этом резком ответе заключается озабочивающая истина: Иисус дал отцу Пио свои собственные

раны, чтобы сделать его участником своей собственной тоски. А поскольку мы знаем — на кресте Божественный Учитель чувствовал, что «на Него возложены все наши грехи», что Он как бы «сделался грехом», что Он «проклят Богом», «оставлен Отцом», то можем также понять, как чувствовал себя отец Пио, видя, что он «распят»: он тоже чувствовал себя изгоем, отверженным Богом и людьми.

Уж точно — на кресте Иисус пережил искушение не гордыней и высотой отличия, а только отчаянием и ощущал себя осужденным.

И это были чувства, которые вызывал у отца Пио дар стигматов.

Таким образом, несложно понять также и то, что должен был переживать несчастный капуцин, когда его окружали бесцеремонные почитатели, желавшие увидеть его раны, потрогать их, поцеловать их.

Его эти знаки даже пугали: не оттого, что свидетельствовали о любви Христа к нему и к миру (порой его охватывала и эта невыразимая радость, и он плакал от умиления), но оттого, что являли раны, нанесенные Христу, Его страдание, Его беспомощное одиночество, отяготившие на Нем грехи мира.

С течением лет, когда грешники будут физически давить на отца Пио, прося его воспринять на себя их тяготы, именно такова будет мука, выраженная стигматами.

Тогда он скажет, что он «устал и погружен в ужасную горечь, в самое отчаянное горе, в самую тоскливую тоску... при мысли о том, что он не в состоянии завоевать для Бога всех своих братьев» (П.6 ноября 1919 г.).

«Я чувствую, что нахожусь в совершенном отчаянии. Я один несу тяготы других, и... мысль о том, что я вижу столько душ, которые головокружительным образом желают оправдаться в своем зле вопреки наивысшему

добру, меня угнетает, терзает, мучит, точит мне мозг и раздирает мне сердце» (П.8 октября 1920 г.).

«Я чувствую головокружительный порыв жить для братьев и, следовательно, упиваться... горестями» (П.1 января 1921 г.).

Разумеется, все описанное страдание подобно страданию Христа, а значит, беспомощность и тоска необъяснимым образом идут бок о бок с самой пламенной и исполненной блаженства любовью, с самым глубоким духовным единением:

Он пишет — прося духовного отца просветить его — «Как мне нести бесконечность в моем малом сердце?» (П.12 января 1919 года).

«Отец мой, чувствую, что я утопаю в огромной бездне любви моего Возлюбленного... Малое сердце мое ощущает себя неспособным вместить безмерную любовь» (П.29 января 1919 г.).

«Все сводится к этому: меня снедает любовь к Богу и любовь к ближнему. Бог постоянно заключен в моем разуме и запечатлен в моем сердце. Никогда я не теряю Его из виду: моя участь — восхищаться Его красотой, Его улыбками, Его тревогами, Его милостями, Его отмищением или, лучше сказать, суровостью его суда» (П.20 ноября 1921 г.).

Эта священная смесь любви и страдания, которую стигматы вызывают и являют, одновременно отражается как во внешних событиях, увлекающих за собой жизнь отца Пио, так и в той форме, в которой он должен теперь осуществлять свое священное служение.

Прежде всего, обратимся к внешним событиям.

Первый врач, осмотревший его в мае 1919 года, — это главный хирург больницы в Барлетте, который пишет в своем отчете: «Если приложить большой палец к ладони, а указательный — к тыльной стороне руки и надавить (что оказывается чрезвычайно болезненно для

пациента), то возникает ощущение пустоты между двумя пальцами...» Исследовав раны и их развитие в течение нескольких дней, он заключает, что их причину, не опасаясь заблуждения, «должно искать в области сверхъестественного». Более того, в одном из личных писем он называет отца Пио «живым чудом».

Через два месяца в дело вмешался Святой Престол.

В одной из хроник того времени мы читаем буквально следующее: «Священная Палата направила профессора Америго Биньями, атеиста из Римского Университета для углубленного исследования феномена». В действительности его звали «Амико (итал.: «друг») Биньями», и он был профессором кафедры медицинской патологии.

Осмотр длился около двух часов. Профессор не подверг сомнению честность монаха и его личную порядочность: он тщательно осмотрел и описал раны и заключил, что речь идет о «невротическом некрозе».

Что касается совершенного местоположения и симметрии, то они должны были объясняться как феномен самовнушения, поддерживаемый искусственным образом, так как отец Пио пользовался для дезинфекции старой настойкой йода. Действительно, он делал это, надеясь выздороветь.

Знаменитый врач заключил, что достаточно лечить раны, перевязывать их и опечатывать перевязки так, чтобы никто не имел доступа к ранам, и они заживут в течение недели.

Так и сделали: три монаха, связанные присягой и послушанием, должны были каждое утро перевязывать все пять ран, прикладывая к бинтам особую печать и не использовать совершенно никаких дезинфицирующих средств и лекарств.

«На восьмой день бинты были окончательно сняты, — рассказал монах, выполнявший перевязки, — в то время как он служил мессу, с его рук текло столько крови,

что мы были вынуждены передавать ему носовые платки, чтобы отец Пио мог вытирать их».

Раны, как мы знаем, просуществовали пятьдесят лет, они были всегда живые и часто кровоточили.

Первый врач, сожалея о случившемся, писал, что «этого мошенника» (то есть столичного профессора-атеиста), который гарантировал выздоровление в течение недели, «любой ценой и любыми жертвами следовало обязать остаться там, чтобы он сам лично занимался лечением и чтобы не дать ему возможности впоследствии утверждать, что процедуры не выполнялись или же — выполнялись плохо...» Вполне справедливо он полагал, что «наука не должна быть поставлена на службу идеям, будь они атеистическими или религиозными».

Еще один врач был направлен несколько месяцев спустя, и он имел возможность наблюдать за отцом Пио не только несколько часов, но и в течение целых дней. Выводы были противоположны предыдущим: «Невозможно дать никакого научного объяснения этим всегда живым и часто кровоточащим ранам, которые не обнаруживают ни малейшего процесса рубцевания».

Первыми завладели этой новостью откровенно антиклерикальные газеты: в июне 1919 года газета «Маттино ди Наполи» («Неаполитанское утро») начала со статьи под названием «Человек, творящий чудеса», которую тут же подхватили другие периодические издания.

В движение пришли светские и церковные власти, деятели культуры и артисты, и, прежде всего, журналисты. Начали приходить письма со всего мира, тогда как в Сан-Джованни Ротондо стекались толпы паломников. Случалось, что отец Пио исповедовал до шестнадцати часов в день. Были и те, кто приходил, вооружившись ножницами, и отрезал кусочки от риз, стихарей, от монашеского облачения или от накидки святого монаха. Чтобы защитить его, должны были вмешиваться карабинеры.

Начались первые громкие обращения, среди которых — обращение высокопоставленного адвоката Чезаре Феста, очень видной личности и друга короля, председателя трибуналов лигурийского (Лигурия — область в Италии) масонства.

Он отправился в Сан-Джованни Ротондо из любопытства. Еще прежде, чем его представили, отец Пио, приветствуя его, сказал: «Вы, сударь, приехали к нам, но ведь вы масон...» — «Да, отец...» — ответил тот, поблдевав. «А каковы ваши задачи в масонстве?» — «Бороться против Церкви с политической точки зрения...» Отец Пио взял его под руку и стал ему рассказывать притчу о блудном сыне. Он заставил его плакать, и масон, известный своей непреклонностью в полемиках и воинственностью в спорах, в конце концов, встал на колени и исповедался — спустя двадцать лет с тех пор, как он окончательно оставил Церковь. Как это ни странно, но отец Пио посоветовал ему пока что хранить свое обращение в тайне.

Когда распространяется слух о том, что адвокат записался в число итальянских паломников в Лурд как санитар при больных, газета социалистов «Аванти» печатает аршинными буквами заголовки «Масон в Лурде», и в Генуе созывают крупное собрание различных лож, чтобы судить его. Он решает лично явиться на заседании, и в тот момент, как он выходит из дома, чтобы направиться туда, ему вручают письмо от отца Пио: «Не останавливайся, мой дорогой брат и сын... Не красней за Христа и за его учение: теперь пора вступить в сражение с открытой душой...»

Это лишь некоторые детали всем известных событий, влияние которых распространяется все шире и разделяет души. Кто-то говорит о «святом монахе», но кто-то — о «монахе-мошеннике». Кто-то считает все это «деянием небес», но иные называют «подозрительным

дельцем» или «грязным надувательством». Кто-то говорит о «скоплении благочестивого народа», в то время как другие — о «позорной, святотатственной, безбожной и аморальной шумихе».

И это не борьба между легковверными простаками и ярыми антиклерикалами, как может показаться при слишком упрощенном взгляде на проблему: самые жесткие выражения исходят от епархиального епископа, у которого есть свои причины для того, чтобы копить все более язвительную резкость в адрес человека со стигматами.

Но намного важнее внутренняя, духовная сторона этого дела.

Еще важнее понять чудеса, — о которых люди рассказывают и распространяют клевету, чудеса, на которые указывают стигматы — чудо мессы отца Пио, как бы въяве воспроизводящей события, случившееся на Голгофе, как и чудо исповеди, в котором явным образом вновь и вновь раскрывается объятие Божьего Милосердия.

Что касается мессы, то можно было бы выбрать среди тысяч свидетельств, накопившихся в течение пятидесяти лет, но самым убедительным, невзирая на всю его сдержанность, нам кажется свидетельство литературного критика «Чивильта Каттолика» («Католической цивилизации»), отца Доменико Мондроне, который посетил Сан-Джованни Ротондо в конце сороковых годов.

«Я слышал отзывы о мессе отца Пио и не отрицаю, что шел на нее с некоторым ожиданием чего-то особенного, что порой может быть опасным. Но едва он встал перед алтарем и начал священный обряд, как я ощутимым образом был призван к внутреннему духовному участию, которого я никогда прежде не испытывал ни перед одной другой мессой. Казалось, он был подавлен грузом, который не в состоянии был нести. Он стоял и передвигался с явным страданием, которое как бы сообщалось присутствующим. Его взгляд часто останавливал-

ся на чем-то или на ком-то, чей вид был для него нестерпим, но ему нелегко было отвести глаза. Во время пресуществления Святых Даров и особенно, когда он поднял Гостию на дискосе, он восемь-десять минут оставался неподвижным и как бы был охвачен тревожным видением, что отражалось на его лице в слабых движениях. Они являли то восхищенный экстаз, то скорбь, тогда как капли пота стекали с его лба по щекам и падали на алтарную трапезу. В тот момент, когда из-под его мизинцев выскользнули рукава стихаря, которые он старался удержать, чтобы скрыть ими тыльную сторону ладоней (так как во время мессы они никогда не были закрыты полуперчатками), я смог разглядеть раны стигматов. Они наверняка были живыми под сгустившейся кровью, и теперь она как будто бы становилась жидкой. Порой его глаза расширялись и загорались: то был свет, пронизанный поочередно отблесками то скорби, то ужаса. Я сказал себе: этот человек в своей душе и в своей плоти переживает драму Голгофы...»

Существуют настолько напряженные фотографии, что они позволяют уловить кое-что из описанного выше даже тем, кому никогда не посчастливилось присутствовать при этой столь святой мессе, которую в течение многих лет служили в пять часов утра, посреди шумной толпы, замиравшей с затаенным дыханием, едва человек со стигматами начинал свое долгое служение.

В момент Возношения также и стигматы поневоле должны были быть вознесены и показаны верующим (и это был единственный момент, когда их можно было видеть), так как над секретностью брали верх литургические нормы, не позволявшие пользоваться перчатками. И стигматы приоткрывали тайну этой белой облатки и этой позолоченной чаши.

Затем следовали долгие часы в исповедальне: некоторые паломники ожидали своей очереди по десять-пятнад-

цать дней, вынужденные (в первые годы) ночевать под открытым небом или в овинах, так как в селении не было никакого гостиничного хозяйства.

«У меня нет ни минуты свободного времени, — писал он уже в 1919 году, — все время я трачу на то, чтобы освободить братьев от сетей Сатаны».

Так он осуществлял свое служение, как борьбу против Князя зла, и это объясняет многие его поступки, которые вызывали удивление и становились объектом критики.

Так, отец Пио проявлял себя несговорчивым и ворчливым, когда замечал, что некоторыми кающимися двигало любопытство, и резко удалял их; он проявлял себя жестким и требовательным, когда перед ним были души, закосневшие в своем грехе и желавшие оправдаться. Но он делался кротким и очень ласковым, как только замечал малейший признак истинного раскаяния.

Он был способен неоднократно отказывать в отпущении, что часто не могло оставаться тайной. Исповедальня для женщин была постоянно перед глазами толпы, которая ловила каждый жест, а исповедальня для мужчин находилась в ризнице, но в обоих случаях лицо того, кто поднимался с колен, говорило яснее печатной книги: оно было либо исполнено миром, либо запечатлено упреком.

Иногда сами кающиеся рассказывали о происшедшем тем, кто хотел это услышать: Отец предупредил их в перечислении грехов; Отец разоблачил проступки, затерявшиеся в их памяти; Отец отказал в прощении; Отец разразился гневом («Несчастный!..» — это прилагательное часто звучало в этой исповедальне); Отец был очень сострадателен...

Что касается отца Пио, то он страдал постоянно и неопикуемым образом.

С одной стороны казалось, что на нем невыносимо тяготели все грехи, которые ему приходилось выслушивать. При рассказе о грехах он страдал так, как будто вновь присутствовал при распятии Иисуса. Он говорил: «Как это можно: видеть Бога, скорбящего о грехах, и не скорбеть точно так же?» (П.20 ноября 1921 г.).

С другой стороны в душе он чувствовал уничтожение и от своего собственного недостойнства или неспособности: «Если бы вы знали, — говорил он другому священнику, — насколько страшно сидеть в суде покаяния. Мы подаем людям кровь Христову. Мы должны быть осторожны, а не разбрасываться ею с легкостью и ветреностью...»

Несомненно, он был суров. Одному человеку, который умолчал о связи с любовницей, но исповедался в том, что пребывает «в духовном кризисе», он отвечал: «Да какой там духовный кризис. Ты — развратник, и Бог гневается на тебя. Уходи».

Однако ему удавалось нечто необыкновенное: те, кого он отвергал, не уходили прочь. Казалось, что Отец следовал за ними с ревнивой любовью. Он прогонял их, а в них росла привязанность. Они возвращались по несколько раз до тех пор, пока им не удавалось получить отпущение, — но не потому, что Отец изменил мнение, а потому, что мнение изменили они, дети. Раскаяние, которого не было вначале, рождалось в этой таинственной игре отказа-притяжения.

Если кто-нибудь из братьев говорил ему, что такой-то кающийся очень опечален оттого, что его даже не выслушали (порой исповеди заключались всего лишь в нескольких репликах), отец Пио отвечал: «Я бы так не поступил, если бы не знал, что он вернется».

Одному из братьев, который пытался подражать ему в суровости, отказывая порой в отпущении, он строго сказал: «Ты не можешь поступать так, как я!»

Другому собрату, пришедшему в ужас, видя, как жестко он обошелся с одной женщиной, он объяснил с улыбкой: «Если бы ты знал... Я хотел бы прижать ее к сердцу!..»

Это был его дар: для отца Пио отпущение, полное нежности и почти что избавление от исповеди (иногда он сам все говорил, называя даже точное число и различные обстоятельства грехов, весьма удаленных во времени и забытых кающимся) или резкий отказ — все это были объятия, различные способы обнять бедных грешников.

Как-то раз одну женщину, находившуюся в особо затруднительном положении, он избавил от тяготы самообвинения. Он сам открыл ей все то, что она совершила, а потом замолчал... Женщина была взволнована: этот монах разоблачил буквально все, кроме одной, самой тяжелой и самой тайной вины, которая давно мучила ее душу и была почти похоронена ее совестью. Она колебалась. Испытание было — умолчать. Затем она выиграла битву: «Есть еще кое-что, Отец...» — «Вот тут я ждал тебя, дочь моя!» — воскликнул довольный капуцин. И поток прощения смог излиться свободно, как слезы.

Тому, кто говорил: «Отец, я слишком много нагрешил», — отец Пио отвечал: «Сын мой, ты Ему слишком дорого обошелся для того, чтобы Он тебя оставил!»

«Что делает отец Пио?» — спросит Пий XII в 1947 году у епископа Манфредонии. И получит этот озаряющий ответ: «Снимает грехи с мира, Ваше Святейшество!»

Можно было бы рассказывать о бесчисленных эпизодах, об историях простых и безвестных людей, но также и о знаменитых обращениях.

Вспомним из их числа обращение скульптора Франческо Мессины, который говорил: «Я родился 11 апреля 1949 года», — имея в виду тот день, когда он встретил отца Пио. И благодарил в молитве Бога за то, что Он дал

ему «отца, который просвещает меня о Тебе, отца, который учит меня ходить».

Многие рассказы об обращениях затем выливаются в рассказы о необычайных явлениях и чудесах. Прозорливое исследование сердец. Билокации (то есть, одновременное пребывание в двух местах, находящихся на огромном расстоянии друг от друга, порой даже на двух различных континентах) тогда и там, где в нем нуждаются и призывают его на помощь. Внезапные необъяснимые исцеления. Способность преспокойно исповедовать кающихся — иностранцев, знавших только свой язык (который отцу Пио, конечно же, был незнаком). Возможность легко и неоднократно использовать днем и ночью Ангела-хранителя, своего собственного или другого человека, — для того, чтобы общаться с теми, с кем иначе он не мог бы вступить в контакт.

Как рассказать обо всем этом и как отличить факты, наверняка и бесспорно случившиеся в действительности от тех, что впоследствии преувеличило народное благочестие?

Конечно же, производит глубокое впечатление рассказ генерала Кадорна, который, будучи отправлен в отставку после поражения при Капоретто, помышлял о самоубийстве, но ощутил сильный аромат и увидел монаха с окровавленными ладонями, вошедшего в его комнату и разубедившего его. Годы спустя ему покажется, что он узнал его на фотографии отца Пио из Пьетрельчины: он отправляется в Сан-Джованни Ротондо и еще прежде, чем они успели обменяться хотя бы одним словом, слышит от отца Пио такое приветствие: «Генерал, а благополучно мы отделались в ту ночь!»

Что касается аромата, исходившего от крови из его ран, то бесчисленны свидетельства об этом знаке, что предупреждает о присутствии Отца в том случае, когда

он находится вблизи или на расстоянии, когда о нем говорят или его призывают.

Или же — что можно сказать о десятках свидетельств пилотов разных стран и разных вероисповеданий (американцев, англичан, евреев, мусульман, протестантов, католиков), которые утверждали, что никогда им не удавалось бомбить территорию Гаргано, так как видение монаха с раскинутыми руками и кровоточащими ладонями вынуждало их изменить курс?

Можно вспомнить о свидетельстве знаменитого писателя-богохульника Питигрилли, который явился инкогнито в церковь в Сан-Джованни Ротондо и, бледнея, почувствовал на себе взгляд отца Пио, который громко объявил толпе: «Сегодня среди вас есть великий грешник». Он говорил, что отец Пио «вывернул его наизнанку, как перчатку». И добавлял: «Я рад, что живу в этом веке, потому что мне довелось знать отца Пио».

Или проще того, историю Аттилио Крепаса, журналиста из газеты «Стампа Сера», который однажды, затеявшись в толпе, старался все замечать и мысленно составлял отрывок, который хотел опубликовать в своей газете, как вдруг услышал отца Пио, обращавшегося к нему: «Сын мой, по-вашему это подходящий момент для того, чтобы думать о вашем блокноте и о ваших записях? Вы очень плохо делаете, поднимая весь этот шум вокруг молящегося священника!»

Орио Вергани, корреспондент газеты «Коррьере дела Сера» услышал в свой адрес: «Все это путешествие из Милана вы совершили, чтобы увидеть меня? У вас дома не было молитвенника? Лучше бы вы прочли "Богородицу"».

Порой отец Пио бывал крайне ласков. Среди его «обращенных детей» был комик Карло Кампанини: и однажды он спросил с той скорбью, на которую способны только шуты: «Как я могу быть твоим сыном, если вечером я должен кривляться на сцене?» И отец Пио отве-

чал с такой же скорбной улыбкой: «Сын мой, на этом свете каждый кривляется, как может, там, куда Господь поставил его».

Что касается исцелений, то затруднение лишь в выборе из тысяч собранных и документально обоснованных свидетельств. Возможно, самая любопытная — история о том, как отец Пио удостоился чуда для себя самого. У него был тяжелый плеврит (был поставлен диагноз: опухоль плевры), когда в Сан-Джованни Ротондо прибыла «Мадонна-паломница» — статуя Богоматери из Фатимы, которая тогда, в 1959 году путешествовала по всем городам провинции. Ее привезли и в Сан-Джованни Ротондо, и отец Пио проповедовал в микрофон со своей постели в честь девятидневного молитвенного обета для подготовки к этому событию. Молитвенный обет закончился вечером 5 августа, когда больной с волнением провозгласил: «Через несколько минут наша Мать придет в наш дом. Откроем наши сердца». 6 августа для него в церковь принесли статую, и он пришел, чтобы к ней приложиться. После обеда с террасы «Дома облегчения страданий» поднялся вертолет, уносивший прочь святое изображение. «Матерь Божья, — сказал отец Пио, глядя, как она улетает, — ты прибыла в Италию, и я заболел. Теперь ты уходишь и оставляешь меня больным». Впоследствии он рассказывал: «В тот же миг я почувствовал как бы озноб в костях, который внезапно меня исцелил». И добавлял, что никогда в жизни он не чувствовал себя таким здоровым и сильным.

Но если все эти происшествия производят на нас впечатление глубоко духовной обстановки, то мы должны будем разочароваться.

Необходимо было принимать в расчет рассказы о глупых и бесполезных чудесах, о сомнительных эпизодах, об искаженных выражениях, точно так же, как и недо-

бросовестность тех, кто нарочно искал всего этого и пытался этим злоупотребить.

В толпе случались отвратительные сцены, и не было недостатка в спекуляции «реликвиями» и «предварительной записью».

Случались эпизоды, отдававшие идолопоклонством и вызывавшие отвращение.

Более того, слава о жесткости отца Пио зависела именно от его реакций на некоторые проявления ложного благочестия: «Смотри, что делают! — говорил он, показывая одному из собратьев изрезанный пояс от своего облачения и свою монашескую тунику, продырявленную ножницами. — Это же язычество! Набрасываются на меня, как гиены, сжимают мне руку, как в тисках, тянут меня во все стороны, чтобы прикоснуться ко мне, и я чувствую, что погибаю и должен прикидываться сердитым. Мне и самому это неприятно, но если я не буду этого делать, они меня убьют!»

«Это же язычество». Так говорил отец Пио; нет ничего странного в том, что так говорили и его враги; не удивительно, что его боялись в Риме.

С другой стороны, можно сказать и о том, что некоторые распоряжения, сделанные из предосторожности (в начале монаха хотели удалить из Сан-Джованни Ротондо, чтобы положить конец этому неуместному поклонению), натолкнулись на самые неистовые реакции. У монастыря собрались крестьяне, вооруженные серпами, топорами и палками и готовые на все — готовые убить всякого, кто посмеет увести от них монаха. Какой-то сумасшедший готов был даже убить самого отца Пио, лишь бы только селение не лишили его «святого».

Что сказать о том, что гражданские власти, тревожась за общественный порядок, были вынуждены предписать некоторое неподчинение Риму, требуя, чтобы отец Пио вышел к верующим, если он не хочет допустить бунта.

В 1923 году Священная Палата заявила, что в отношении монаха из Пьетрельчины, на основании произведенных расследований, «не было установлено ничего сверхъестественного».

Капуцинскому настоятелю провинции, к которой принадлежал отец Пио, было предписано обязать его служить святую мессу лишь частным образом, во внутренней часовне монастыря, и прекратить всякие отношения с верующими. Кроме того, при первой же возможности его должны были перевести в другое место.

Настоятель провинции, который должен был привести в исполнение этот приказ, не знал, на что решиться. С одной стороны на него давил Рим с тем, чтобы это решение было выполнено, а с другой префект Фоджи заклинал его приостановить его выполнение, поскольку толпа из трех тысяч человек теснилась вокруг монастыря, требуя, чтобы любой ценой служили мессу. Нашлись и отчаянные головы, установившие круглосуточную охрану монастыря.

На следующий год последовало еще одно вмешательство Священной Палаты: на основании «новой информации, полученной из многочисленных и надежных источников», верующих «вновь, еще более убедительно и настойчиво» призывали «не посещать вышеупомянутого отца Пио и не поддерживать с ним никаких отношений, в том числе и посредством переписки».

В 1926 году еще одно предупреждение: «Ставим в известность верующих, что их долг — воздержаться от визитов к нему».

Тем временем публикации об отце Пио и о его чудесах (порой и в самом деле бестолковые) заносятся в «Список запрещенных книг» по мере их выхода в свет, и всякий раз создается впечатление, что приговор падает на него лично.

Не раз его пытаются перевести, но настоятели всякий раз вынуждены отказываться от своего намерения из страха перед тем, что может случиться.

Отец Пио между тем смотрит на теснящуюся и шумящую толпу и замечает: «Несчастливые люди, если бы они только знали, как я грешен!..»

И вот, после этого крестного пути, который продлился не один год, последовал самый тяжкий приговор: 23 мая 1931 года отец Пио был лишен всех полномочий, в том числе и — права исповедовать. Он может лишь служить святую мессу, но в особой монастырской часовне.

Постановление об этом было вручено ему вечером 10 июня. Он сказал только: «Да будет воля Божья...»

На следующий день был праздник Тела Господня: первая месса, которую отец Пио отслужил в полном одиночестве, длилась более трех часов.

Запрет, полностью изолировавший его, действовал около двух лет. Он вновь смог совершить мессу перед народом в день праздника Кармельской Богоматери в 1933 году. Была самая середина Святого Года Искупления. В праздник Благовещения следующего года ему вернули и право исповедовать.

Между тем, отец Пио чувствовал побуждение к тому, чтобы посвятить себя полному спасению своих детей: ему уже было недостаточно лечить язвы их душ и питать их духовно, обучая молитве. Он заботился и об их телах. Еще в 1925 году он побудил своих прихожан переоборудовать старый монастырь в муниципальную больницу, но она была недостаточно вместительной.

Отец Пио мечтал о большой клинике, о «Доме облегчения страданий», и чтобы построить ее, он не побоялся буквально сдвинуть гору. Был январь 1940 года, и, организовав комиссию по строительству, отец Пио сказал: «В этот вечер я начинаю мое земное деяние».

Со всеми перерывами и промедлениями по причине Второй мировой войны и с решающей помощью английских и американских верующих понадобилось пятнадцать лет на то, чтобы довести до конца начатое дело. Когда по окончании работ ему сказали, что клиника получилась «слишком роскошной», отец Пио ответил: «Если бы я мог, я сделал бы ее золотой... потому что больной — это Иисус, и того, что мы делаем для Господа, всегда мало». Ее открыли международным симпозиумом на тему «Коронарные заболевания». Самым знаменитым врачам, съехавшимся со всего мира, Отец сказал: «И вы, так же, как я, пришли в этот мир с миссией, которую вы должны выполнить. Обратите внимание: я говорю вам об обязанностях в тот момент, когда все говорят о правах... Ваша миссия — лечить больного, но если вы не любите больного, то я не думаю, что лекарства к чему-то послужат... Несите больным Бога: это будет дороже всякого лечения...»

Что касается врачей, то он любил шутить: «Да что они знают, эти врачи?!» — сказал он одному из братьев, который уговаривал его лечь в больницу. «Но, отец, — ответил тот с некоторым недоумением, — вы же сами основали Больницу!» — «Да, но ведь это для больных... не для врачей же!»

Для поддержки «Дома», который должен был бесплатно принимать больных (и это был «Собор Скорби»), отец Пио предназначил не только тех, кто со всех концов света присылал потоки денег, но еще более «группы молитвы», основанные им и также распространившиеся по всему миру (и это был «Собор Молитвы»). Все было нацелено на полное спасение человечества.

Группы в настоящее время насчитывают более пяти-сот тысяч членов, и еще Папа Павел VI назвал их «малыми ячейками церковной жизни», способными давать кислород всему мистическому Телу Христову.

Клевета и гонения, в том числе и самые вульгарные, не прекращались.

Некоторые местные прихожанки попытались буквально присвоить Отца и держать под своим контролем доступ к его исповедальне для женщин, приезжавших в качестве паломниц и делавших все возможное, чтобы обеспечить себе привилегированные места. И когда монахи попытались положить конец этой системе, которая приводила к самой настоящей спекуляции и порой к недостойной шумихе, то клевета захлестнула их, а также и самого отца Пио.

Но даже и без этих отклонений, поскольку удовлетворить всех было попросту невозможно, постоянно, ежедневно находились разочарованные, которые искали причину своего недовольства в мошенничестве монахов.

Еще в 1960 году (Отцу было уже семьдесят три года!) по причине некоторых клеветнических измышлений он получил унизительное предписание «воздержаться от приема на личных аудиенциях женщин, независимо от повода их визита».

Кроме этого была проблема переписки. В Сан-Джованни Ротондо в 50-е годы поступало в среднем тридцать тысяч писем каждые два месяца. Их количество выросло до шестидесяти тысяч в 60-е годы. Переписка поневоле попадала в руки слишком большого числа помощников: речь шла и о деньгах, и кое-кто задавался вопросом, куда пропадали многие пожертвования, поступавшие вместе с письмами; были и еще более деликатные вопросы: люди поверяли Отцу духовные проблемы, а их доверительные признания оказывались достоянием чужого внимания...

Расследования Священной Палаты продолжались, и в Сан-Джованни Ротондо с этой целью постоянно приезжали все новые прелаты. Иногда сами настоятели отца Пио просили об этих вмешательствах Святого Престо-

ла, поскольку не знали, как им освободиться от проблем, становившихся все более сложными.

К тому же казалось, что дьявол с остервенением запутывал это дело все сильнее по мере того, как шли годы.

По-прежнему поступали распоряжения, ограничивавшие свободу отца Пио, а он продолжал нести свой крест. Его страдание дошло до предела, когда он обнаружил, что кто-то подставил микрофоны в комнате, где он вел беседы со своими духовными детьми: «Дошли уже и до этого?» — сказал он, чувствуя себя униженным, как никогда. У него было впечатление, что многие его предали и что от него нарочно удалили самых близких друзей.

К этому добавились скандалы, касавшиеся управления фондами и займами для новой больницы.

Порой скандалы вокруг отца Пио и по поводу печати затевали как раз те люди, которым он доверял, и это как будто бы доказывало его виновность.

Если все это шокирует нас, то мы должны вспомнить о миссии, которую Господу было угодно емуверить, то есть — пережить Страсти Христовы: как Христос, отец Пио непременно должен был страдать не только по вине врагов, но, прежде всего, из-за непонимания самих его братьев и отцов в вере.

Однако кое-кому было выгодно выставлять его в качестве терпящего гонения со стороны Церкви, так что сам отец Пио в 1964 году продиктовал для печати следующее заявление, полное гордости и сделанное «перед Богом, во имя правды и справедливости, во избежание недоразумений, которые приносят вред душам и Церкви и сокрушают мой дух».

Итак, он писал: «Я пользуюсь полной свободой в моем служении и знаю, что у меня нет врагов и преследователей... я встречаю понимание, поддержку и защиту со стороны настоятелей моего ордена и церковных влас-

тей, и мне не нужно никаких других защитников, кроме Бога и Его законных представителей».

14 июня 1967 года скульптор Франческо Мессина создает рядом с храмом монументальный «Крестный путь»: в V-м стоянии Киринаеянин, несущий крест вместо Иисуса, — это отец Пио в своем простом монашеском облачении.

Пройдут еще годы, но в 1972 году Павел VI наконец-то скажет о нем: «Отец Пио был символом, отмеченным стигматами нашего Господа. Это был человек молитвы и страдания».

Ночью с 22 на 23 сентября 1968 года (он только что отметил пятьдесят лет с того момента, как получил стигматы), исповедавшись и вновь произнеся свои монашеские обеты, отец Пио, одетый в свое освященное облачение, упал в кресло и умер, сжимая в руках четки и шепча: «Иисус... Мария!»

Приготовляя к погребению его тело, собраты заметили, что пяти ран, — которые кровоточили пятьдесят лет, а в те последние дни начали закрываться, — больше не было: новое чудо заключалось не в их отсутствии, а в том обстоятельстве, что на их месте не было и следа шрамов: плоть была невредимой и мягкой. Она, так сказать, будто бы воскресла.

«Отец, — спрашивали у него, — как мы будем жить без вас?» Он отвечал: «Пойдите к дарохранительнице. В Иисусе вы найдете и меня».

Среди бесчисленных высказываний отца Пио, дошедших до нас, возможно, самым известным — и как бы напоминанием для всех — стал ответ, который он дал человеку, обратившемуся к нему: «Отец, я не верю в Бога», — и услышавшему, как отец Пио сказал ему с бесконечной добротой: «Сын мой, зато Бог верит в тебя».

Содержание

Том V

ВВЕДЕНИЕ	5
Блаженный Августин	9
Святой Франсуа де Саль [Франциск Сальский]	41
Святая Тереза Маргарита Реди	71
Зели Герэн (мать Святой Терезы Младенца Иисуса)	99
Луи Мартэн (отец Святой Терезы Младенца Иисуса)	131
Блаженный Даниэле Комбони	153
Блаженная Виктория Разоаманариво	184
Блаженный Луиджи Орионе	208
Блаженный Титус Брандсма	233

Том VI

Святой Амвросий	259
Святой Бенедикт	281
Святая Бригитта Шведская (сопокровительница Европы)	304
Святой Альфонс Мария Лигуори	331
Блаженные Франсиско и Хасинта Марто	357
Святая Фаустина Ковальска	381
Мадлен Дельбрель	407
Блаженный отец Пио из Пьетрельчины	431

Антонио Сикари
Портреты святых

Том пятый и шестой

Культурный центр
«Духовная Библиотека»

Подписано в печать 01.08.2006. Печать офсетная
Формат 84х108/32. Тираж 2.000 экз.

